

PORTLAND STATE UNIVERSITY LIBRARY



5 0110 02004481 0

Катишонок

когда уходит

ЧЕЛОВЕК

Катишонок

роман

*Елена
Катишонок*

КОГДА УХОДИТ
ЧЕЛОВЕК

роман

москва 2011



УДК 821.161.1-3

ББК 84Р7-4

К29

оформление, макет — Валерий Калныньш

Первое издание романа осуществлено в 2011 году
издательством «M-Graphics Publishers» (Boston, MA, США)

Катишонок Е. А.

К29 Когда уходит человек: Роман. — М.: Время, 2011. —
496 с. — (Серия «Самое время!»)
ISBN 978-5-9691-0665-9

На заре 30-х годов молодой коммерсант покупает новый дом и занимает одну из квартир. В другие вселяются офицер, красавица-артистка, два врача, антиквар, русский князь-эмигрант, учитель гимназии, нотариус... У каждого свои радости и печали, свои тайны, свой голос. В это многоголосье органично вплетается голос самого дома, а судьбы людей неожиданно и странно переплетаются, когда в маленькую республику входят советские танки, а через год – фашистские. За страшный короткий год одни жильцы пополнили ряды эзков, другие должны переселиться в гетто; третьим удастся спастись ценой рискованных авантюр. Рвутся любовные узы и связь прошлого и настоящего; выбирать приходится не между добром и злом, а между большим злом – и злом поменьше... Потом война кончается, но начинается другая – война власти против своего народа. Дом заселяют новые жильцы – бывший фронтовик, телеграфистка, старые большевики, шофер такси, многодетная семья... Стройная композиция, цепко схваченные детали, тонкий психологизм, легкая ирония, импрессионистская манера письма – все это отличает новый роман Е. Катишонок.

ББК 84Р7-4

ISBN 978-5-9691-0665-9



© Елена Катишонок, 2011

© «Время», 2011

Жене

СПАСИБО

*Вадиму Темкину, оказавшему мне
неоценимую помощь и поддержку
блестящей эрудицией и глубоким
знанием фактографического
материала.*

Автор

*Автор считает своим долгом предупредить,
что все без исключения герои — плод
писательского воображения, поэтому
возможные совпадения имен с реальными
случайны и непреднамеренны*

*В изольчатых чумных бокалах
Мы пьем наваждение причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит —
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.*

О. Мандельштам

*Встань и иди в дом твой,
и как скоро нога твоя ступит
в город, умрет дитя.*

3-я Книга Царств, 14

ЧАСТЬ 1

Старый дощатый забор, тянувшийся между двумя высокими каменными домами, сломали быстро и аккуратно, точно сдернули занавес. Зрителям — вернее, прохожим — открылась трава с проплешинами земли, развесистые лопухи и молодое каштановое дерево в правом дальнем углу будущего двора.

Пока шло рытье котлована, закладка фундамента и все то, что составляет процесс созидания, дом еще не знал, что вот-вот превратится в частичку Города — незаметную, но необходимую, как один из новых кирпичей, умело вплетаемых реставраторами в кладку старинного собора там, где она начала разрушаться от времени. Не знал, как не знает, что его ждет в мире, плод в утробе матери — и даже не подозревает о существовании самого мира, пока мир не огорошит его настолько, что защищаться от него придется отчаянным криком.

Появившись на свет, дом нетерпеливо выпутался из строительных лесов, в которые был укутан заботливо, как дитя в пеленки, и обнаружил себя стоящим на тихой Палисадной улице, которая отходила нешироким рукавом от Гоголевской, ведущей к вокзалу, где проходила граница Московско-

го форштадта и начиналась центральная часть Города. Кончалась Палисадная перекрестком с другой улицей, название которой дому еще предстояло выучить, но высокий костел на той улице и кладбище, которое по жизнерадостности дом принял поначалу за парк, запомнились сразу.

Родился дом в сравнительно благополучном 1927 году и в удачном, с точки зрения заселения, месте: центр находился совсем рядом, но цены на жилье были ниже, чем там. В довершение удачливости выпало ему носить номер «21», что было зафиксировано трижды: черно-золотыми цифрами на верхнем стекле парадного, блестящей эмалевой табличкой на стене и где-то в бумажных скрижалях муниципалитета. Итак, на Палисадной улице вырос дом со счастливым номером. Сама улица была скромным ручейком старинного города, который на карте выглядит, как жемчужина на дне бокала, где вместо вина — студеная и прозрачная морская вода. К сожалению, на карте не видна знаменитая Соборная башня, с верхней площадки которой виден весь Город с окрестностями, да и не удивительно, ведь башня эта — самая высокая в Европе. Город располагался на западной окраине России — такой западной, что звучала здесь, на фоне протяжной и задумчивой местной речи, привычная русская, а вперемешку с нею и немецкая, и польская, и еврейская, и белорусская, и... Звучали и перекликались слова разных языков, отчего Город иногда напоминал вавилонскую башню, строители которой не утратили еще способности понимать друг друга и с энтузиазмом продолжали класть новые и новые камни, а сам Город вот уже восьмой год являлся столицей независимой — ни от России, ни от кого бы то ни было — республики.

Внешне дом походил на корректного молодого дельца, каких в Городе было немало. Темно-серое ратиновое пальто — и гранитная облицовка такого же цвета; новая шляпа-котелок — и блестящая свежей жестью крыша, две простые и прочные, как английские ботинки, ступеньки крыльца и ясный приветливый взгляд чистых окон. Одним словом, конструктивизм: ничего лишнего.

Может быть, из-за этого (да и номер сыграл не последнюю роль) дом начал быстро заселяться: узкие белые листки словно ветром сдувало с оконных стекол. Все квартиры, кроме тех, что в первом этаже, были просторными и светлыми, не роскошными, но очень комфортабельными. Солнце пускает зайчики в сверкающие никелем новенькие краны ванн и комодов. Окна кухни, как положено, смотрят на север, потолки уходят ввысь, а входные двери тускло отсвечивают полировкой. В парадном и на лестничных площадках пол и стены выложены керамической мозаикой.

Будь хозяин обременен годами, а стало быть, брюшком и подагрой, он покрутил бы раздумчиво ус, прежде чем покупать пятиэтажный дом без лифта. Однако домовладелец был молод, легконог и безус, по каковой причине крутить ему было нечего, а дом (хоть и без лифта) настолько пришелся ему по сердцу, что он без долгих раздумий занял квартиру под номером три во втором этаже. В соседнюю, поменьше, въехала пожилая дама из какого-то благотворительного общества.

Оставалось найти дворника и привратника, а затем спокойно вернуться к своим делам. Господин Мартин Баумейстер был, как и его отец, текстильным коммерсантом, а в рантье превратился по чистой случайности: дом понравился.

Ян Майгарс был в том возрасте, который молодежь называет пожилым, а люди средних лет — зрелым: достиг сорока, однако выглядел солидней. Он оказался толковым, немногословным и вид имел чрезвычайно достойный. Дешевый костюм сидел на нем с элегантностью фрака. Звать его по имени — Ян — было как-то неловко, тем более что и внешне, и манерой поведения он смахивал на профессора античной философии, с которым молодой Баумейстер познакомился в Оксфорде, даже откашливался точь-в-точь как профессор. Профессора, кстати, звали Джон, и аналогия имен очень забавляла Мартина. Дворник Ян совсем не походил на деревенского мужика, хотя всю жизнь прожил в деревне и в город перебрался совсем недавно, оставив брата хозяйничать на хуторе. Жена его — доброжелательная улыбка, аккуратно собранные узлом волосы (то ли седеющие, то ли выгоревшие), фольклорное имя Лайма и грубошерстная шаль на плечах — сразу предалась хозяйственным хлопотам.

Между тем дом заселялся. На третий этаж въехал преподаватель гимназии с женой, двумя бледными дочками-гимназистками и крохотным, не больше детского валенка, но оглушительно громким пуделем. Этажом выше поселился молодой дантист, только что открывший свой кабинет. Он быстро взбежал на свой четвертый этаж, но в лестничном воздухе какое-то время висел тревожный, пронзительный запах, от которого сводило зубы.

Доктора известны своей коллегиальностью, и вскоре на тот же этаж въехал еще один врач — рослый молчаливый гинеколог, на вид лет тридцати, с таким же молчаливым сенбернаром. Всякий раз, когда сенбернара проводили мимо квартиры преподавателя, пудель заливался душераз-

дирающим лаем. Сенбернар поднимал на хозяина спокойный удивленный взгляд. Тот пожимал плечами и негромко, словно пудель мог услышать, говорил одно и то же слово: «Идиот»; дальше шли в молчании.

Какое-то время пустовал самый верхний, пятый этаж, пока одну квартиру не занял рыжеватый нотариус, а другую — настройщик роялей по фамилии Буртс.

Нужно сказать, что желающих вселиться было намного больше, чем квартир, однако не все кандидаты в жильцы могли представить удовлетворительные рекомендации. Бывало и так, что рекомендации — лучше некуда, но что-то заставляло хозяина медлить с ответом... Случалось и наоборот, как, например, с тем русским эмигрантом.

Эмигрант называл себя русским князем и носил сомнительно-княжескую фамилию Гортынский. Этих двух факторов, в комплекте с интеллигентным лицом и полезной дальновидностью, хватило для бегства из Советской России сюда, в тихую приморскую республику. Жил, по его словам, частными уроками: преподавал французский и английский языки. Где жил? — На взморье, снимал две комнаты; однако рекомендаций нет и не предвидится — хозяйка умерла. Надеялся устроиться, со своим нансеновским паспортом, учителем в Русскую гимназию: она в пяти минутах ходьбы; уже подал прошение. А тут увидел, что квартиры сдаются, да и дом очень понравился. Мне и самому нравится, едва не сказал хозяин, глядя в невеселые карие глаза собеседника и отметив потертое твидовое пальто, чистый воротничок и чуть опущенные, словно ретушью тронутые, уголки рта. Затянувшуюся паузу Гортынский

(князь?) понял по-своему и протянул конверт — поручительское письмо из банка.

После водворения князя Гортынского на третий этаж в квартире прямо над ним поселился старичок-антиквар, мало-помалу превративший квартиру в филиал своей лавки. Фамилия у него была такая громоздкая, что едва уместилась в списке жильцов. В последнюю свободную квартиру на пятом этаже въехал лейтенант Национальной Гвардии с женой.

Из двух квартир первого этажа одна предназначалась для дворника, а вторая, с окнами на улицу — для привратника. Да только с самого начала как-то само собой получилось, что дворник с женой успешно справлялись и с работой сторожа, так что последнего не пришлось и нанимать. Квартира, отведенная для него, стояла пустой. Даже и не квартира это была, а так, одна квадратная комната с небольшим закутком для раковины и унитаза. Она располагалась стенка к стенке с маленькой квартирой дворника, так что вскоре сделалась чем-то вроде придатка к ней. Хозяин ничуть не удивился, памятуя, что Ян не только дворник, но и сторож, сантехник и фактически управляющий всего дома за одно только жалованье дворника... Нет, господин Мартин не выразил никакого удивления, тем более что сейчас дела требовали его присутствия в Швеции, а потом он и вовсе собирался в отпуск на Итальянскую Ривьеру. В его отсутствие домом ведал, если можно так выразиться, дворник с лицом и осанкой оксфордского профессора, и справлялся с этим не хуже, чем его британский тезка с античной философией. Господин Мартин неплохо разбирался в людях.

Каждое утро дворничиха протирает пол в вестибюле, выложенный, как и лестничные площадки, восьмиугольными каменными плитками с мозаичным рисунком из бежевого, зеленого, желтого и коричневого цветов — точь-в-точь как ее собственная шаль. На стене висит большое прямоугольное зеркало и с достоинством скучает: отражать нечего, стена напротив пуста. Скучать зеркалу пришлось недолго: как только дом заполнился, на пустующую стену водрузили большую черную доску, наподобие школьной, с указанием номеров квартир и фамилий обитателей. Появление доски внесло оживление в жизнь зеркала и самого дома: интересно было примерить жильца к его фамилии — или наоборот; а потом решить, насколько они подходят друг к другу.

Против квартиры № 2 белой масляной краской выписана фамилия: Нейде. Это — дама из благотворительного общества. Изящная фамилия... Следующая строка пуста — возможно, хозяин собирался скоро съехать или просто не хотел вносить свое имя.

Учитель из четвертой квартиры носит, помимо короткой бородки, фамилию Шихов, а в гимназии его зовут Андреем Ильичом. Пожалуй, фамилия неплохо сочетается с привычкой учителя старательно вытирать ноги у парадной двери: ших-ших, перед тем как мелькнуть перед зеркалом то ли усталым, то ли озабоченным острым профилем.

Его сосед — князь Гортынский (квартира № 5). Дом сразу привык к фамилии и принял безоговорочно: она подходит ему, как слово «князь» к фамилии (даже если он не настоящий князь).

Дантист из шестой квартиры — Ганич, доктор Ганич. Внешне ничем не примечателен, кроме густой русой шевелюры и приветливой улыбки. Когда он снимает шляпу, видно, что руки у него маленькие и изящные, почти женские. Такие руки и улыбка хорошо сочетаются с романтическим именем Вадим и спокойной фамилией, тоже подобранной не без изящества; все вместе должно производить умиротворяющее впечатление на пациентов с флюсом.

Дом не знает, как зовут громоздкого сенбернара: доктору Бергману никогда не приходится его окликать, настолько это молчаливый пес. Не исключено, что его тоже зовут Бергман, но это уже домыслы зеркала. Ростом и крупным сложением доктор скорее напоминает каменщика или рыбака, и если ему безусловно подходит его фамилия — в этом зеркало с домом единодушны, — то представить его акушером-гинекологом трудно. Откуда дому знать, сколько нужно сил, чтобы помочь ребенку родиться?..

Произнести фамилию старого антиквара так же сложно, как разобраться в его редкостях: Стейнхернгляссер. Неизвестный каллиграф, расписывавший доску, не рассчитал усилий и спохватился только на втором «н», обнаружив стремительно приближающийся обрыв, поэтому «...гляссер» исполнил очень тесно и не совсем ровно, так что трудная фамилия сделалась похожей на поезд, потерпевший крушение на малой скорости.

Квартира № 9 обозначена фамилией Зильбер. Это нотариус, рыжеватый человек с овечьим профилем и в очках. Он ходит очень быстро, чуть наклоняясь вперед, будто навстречу сильному ветру. Для своих тридцати лет выглядит довольно молодо. Зильбер как Зильбер, решает дом.

В десятой квартире живет офицер Бруно Строд, и можно только удивляться проницательности судьбы, которая так метко выдала человеку фамилию, подогнала ее к походке и определила карьеру.

Надо сказать, что на пятом этаже все отличаются короткими фамилиями: пока дойдешь, много букв растеряешь... Господин Буртс живет рядом, в квартире № 12. Он занимается настройкой роялей. С такой фамилией удобно давать объявления в газеты: «Настройка роялей. Буртс» — сразу видно, что серьезный человек; ничего лишнего. Вид у него спокойный и уверенный, и если нотариус выглядит моложе своего возраста, то господин Буртс, его ровесник, наоборот, кажется солидней — может быть, из-за короткой шеи.

Тринадцатой квартиры в доме нет — и не только из-за приятной причуды хозяина. В этом, если угодно, некоторая странность дома: здесь нет и первой квартиры! Точнее, квартира-то есть — та, в которой живут дворник с женой, только вместо цифры «1» над дверью аккуратно прибиты две металлические единицы. Отчего так получилось, никто не знает. Загляделся ли слесарь на барышню, и на какую из двух, остановившихся напротив новенького дома: ту, в бархатной шапочке на курчавых волосах, или на другую, у которой никак не раскрывался зонтик? Или он заболтался с маляром — тот как раз остановился рядом, оттирая руки скипидарной тряпкой? Могло быть и так, что слесарь просто положил молоток на ступеньки да хлебнул как следует из запотевшей холодной бутылки, а на пятом этаже, допив остатки пива, добросовестно прикрепил номера к девятой, десятой и — внезапно — двенадцатой — квартире, не удивившись пропаже одиннадцатой. Как бы то ни было, нуме-

рация вышла немного сбивчивой, и дом считал себя парнем с причудами.

...К тому времени, как хозяин уехал в Швецию, весь дом напоминал рояль, настроенный умелыми руками жильца из двенадцатой квартиры (пятый этаж). Все сложности вроде засорившейся ванны, капризного замка или треснувшего стекла устранял дядюшка Ян, как стали называть дворника все, включая хозяина.

...Утром дом оживал по восходящей, снизу вверх. Дворник уже ставил в сарай лопату или метлу — по сезону, когда доктор Бергман вел на прогулку пса под истеричный лай преподавательской собачонки. Ее выносили гулять на руках в небольшой парк напротив дома, где сенбернар, похожий на теленка, обходил деревья одному ему известным маршрутом. Пуделек, раздраженно и торопливо справивший собачью нужду, рвался с поводка и хрипел, пока сенбернар, трясая сенаторскими щеками, замирал у каштана с поднятой лапой; хозяева обменивались приветливыми фразами вперебивку с зевками и почти одновременно бросали взгляд на часы: пора.

По лестнице молодцевато спускается Бруно Строд, позвякивая саблей, и на ходу снимает пушинку с рукава: пеньюары эти... Одергивает китель, кивает дворнику и легко распахивает тяжелую дверь парадного. В тот же момент наверху открывается дверь, выпуская заполющенный лай и двух бледных девочек-близнецов в гимназической форме и с портфелями. Слышны голоса: спускаются нотариус и князь Гортынский, у двери парадного задерживаются, идут вместе еще два квартала, затем приподнимают шляпы и расходятся в разные стороны.

Тетушка Лайма пьет свой второй кофе, когда на лестничной площадке появляется дантист и легко, по-мальчишески бежит вниз; сейчас от него пахнет только кофе — или дворничихе так кажется. Вслед за доктором Ганичем и его коллега, неторопливо натягивая перчатки, отправляется врачевать деликатные дамские недуги. Господин Буртс всегда выходит ровно без двадцати одиннадцать, с плоским чемоданчиком в руке; в чемоданчике инструменты для настройки. По воскресеньям он выбрит с необычайной тщательностью и покидает квартиру без чемоданчика; возвращается с дамой, неся в руках коробку из кондитерской. Дама чуть выше настройщика, немного сутулится; поэтому, должно быть, ее рыжеватые волосы сливаются с мехом горжетки. Дом привык к ее визитам, сутулости и горжетке почти так же, как к сенбернару, русскому князю, звяканью офицерской сабли, нервному пуделю и неизменной шали тетушки Лаймы. Дом привык слышать, как медленно открывается дверь старичка-антиквара — и еще медленней закрывается, что сопровождается щелканьем трех замков; привык к осторожным стариковским шагам с непременными паузами на каждой площадке — во время пауз из кармана извлекается белоснежный платок, коим промокается лоб, затем старомодные седые бакенбарды, только в таком порядке, да; платок укладывается в карман, и можно двигаться дальше.

Какое благо и для кого творило общество, к которому принадлежала дама — соседка оглушительного пуделя, не известно; в то время подобных обществ было много. Госпожа Алиса Нейде была вдовой мелкого фабриканта и имела взрослого сына, проживающего за границей. Раз в две недели она устраивала у себя скромное чаепитие, и в назначен-

ное время прохладную тишину широкой лестницы нарушали негромкие голоса благотворительных дам.

Кроме достойной вдовы, прекрасный пол был представлен женами дантиста, офицера и учителя; жена дворника в расчет не бралась.

Первой из дам просыпается Тамара Шихова, жена учителя: привычка. В юности она принадлежала к тем серьезным гимназисткам, которые старательно учат даже нелюбимые предметы. Окончив гимназию, заявила родителям, что хочет получить профессию, с каковой целью окончила курсы стенографии. Брак, а затем дети отодвинули мечты о работе в неопределенное будущее, а главной заботой оставался дом, забота о семье и о собственной внешности. Короткая шея и полное отсутствие талии — серьезные изъяны, потому и борьба с ними велась беспощадная. Жена учителя одевалась неброско, и только опытный взгляд мог оценить строгий костюм, небольшую шляпку из магазина, где продавщицы не произносят слова «шикарный», и сумку из тех, что выдвельваются за границей вручную и благополучно переживают все модные веяния: мода приходит и уходит, а сумка остается. Тамара выбирала вещи очень медленно и придирчиво, никогда не теряя терпения — случалось, терпение теряли приказчики, но с тоскливой безнадежностью продолжали улыбаться, пока миловидная дама с пышными русыми волосами и строгим маленьким ртом не натягивала перчатки. Бывало, что покупательница уже попрощалась и скрылась из виду, а они какое-то время еще откашливались, поправляли манжеты, в то время как продавщицы из дамских отделов запудривали нервный румянец.

Обыкновенно дамы встают поздно, и дом воспринимает это как нечто совершенно естественное, тем более что его бу-

дит не дворник и не собачий лай, а быстрые шаги вверх-вниз по другой, черной лестнице. Первым появляется молочник. Его лошадь привыкла останавливаться сама, и пока он выгружает бидоны и бутылки, она стоит, сонно помаргивая. Когда молочник идет вверх по лестнице, то слышны только его шаги с короткими остановками у дверей, когда он ставит бутылки на ступеньки. Обратный путь сопровождается позвякиванием пустых стекляшек, и к первому этажу аккомпанемент становится громче. Вскоре за молочником приходят кухарки. Они поднимаются медленно, одной рукой держась за перила, потому что в другой, как полагается, несут корзинки с провизией. Правда, кухарки сами весьма корпулентные особы: дом ни разу не видел тощих кухарок... Вскоре по черной лестнице поплывут запахи кофе, гренков и поджаренного бекона, и в какой-нибудь кухне непременно сбегит молоко.

Раз в три месяца на черной лестнице появляется веселый чумазый человек — это Каспар-трубочист. Его черная одежда перепоясана широким черным ремнем, а через плечо, как солдатская скатка или как кольцо планеты Сатурн, блестит упругий трос с блестящими колючими шарами. Если ему навстречу попадают кухарки (а это случается на удивление часто), трубочист приветливо улыбается очень белыми зубами и с шутливой угрозой протягивает к ним руки, норовя обнять. Кухарки вразнойбой кричат: «Ой, Боженька!..» и жмутся к перилам, а весельчак, прыгая через ступеньку, несется со всем своим адским оснащением прямо на чердак. Именно в этот день то в одной, то в другой квартире что-то подгорает, или кухарка порежет палец, или обед не готов вовремя, что уж говорить о просыпанной муке или обро-

ненном ноже, чтоб его черти взяли!.. Помянутый черт в это время чистит дымоходы и чернеет еще больше, если такое возможно, а перерыв делает для того только, чтобы съесть восхитительную ватрушку, запивая горячим кофе из большой фаянсовой кружки. Иногда это пирог с ревенем, а не ватрушка, или вообще мясной рулет, только что из духовки; но кофе присутствует всегда. Да как же можно без кофе? Город не зря называют «маленьким Парижем» — он славится своими кафе и кондитерскими, большими, маленькими и совсем крохотными.

Так; но при чем здесь трубочист, допивающий свою кружку, на которой остаются черные следы? Для какой он здесь надобности, если в доме паровое отопление? Паровое — паровое, но на каждой кухне сверкала белым кафелем плита с концентрическими чугунными кругами для кастрюль, и ни одна уважающая себя хозяйка или кухарка не могла представить что-то иное. В комнатах высились уютные кафельные печи. Если это причуда проектировщика, то он явно был очень предусмотрительным человеком. Мало ли что, в самом деле, может случиться с котлом или с трубами, не к зиме будет сказано; для такого случая и угольный погреб имеется, и сарай для дров. Люди еще спасибо скажут, хотя до сих пор никто, кроме старого антиквара, не просил дворника принести дров. Тем не менее, благодаря печке старика, дом почувствовал восхитительный запах дыма от горящих березовых поленьев, и это оказалось сродни тому наслаждению, с которым хозяин, господин Мартин, курил у себя в гостиной заморскую сигару. А значит, старания трубочиста не пропали даром, и свой кофе с ватрушкой (или с пирогом) он обрабатывал с лихвой.

Специалист по отопительной системе беспокоил черную лестницу дважды в год: осенью включал котел, а весной отключал. Проверяя трубы, извлекал из них самые диковинные звуки. Ремонтник был симпатичным голубоглазым малым с густым русым ежиком волос. На сером фирменном комбинезоне блестела нарядная блямба — значок отопительной компании. Однако ему не только никто не выносил ни ватрушки, ни пирога, ни даже просто кружки с кофе, но и кухарки в такие дни очень редко встречались на лестнице. Когда все же такое происходило, ни одна не жалась к перилам, хотя он приветливо улыбался и почтительно сдергивал серый берет. Что характерно, и на кухнях в те дни царил полный порядок: ничего не падало, не разбивалось и не чадило. Загадочные существа — женщины, в особенности кухарки!..

Вот уже просыпаются дамы и готовят себя к насыщенному дню. Между госпожой Ирмой, женой офицера, и ее подругой Ларисой, женой дантиста, разница в четыре года и один этаж, поэтому первая считает себя во всех отношениях выше. Она подробно обсуждает с кухаркой обеденное меню, в то время как соседка с нижнего этажа добавляет в кофе сливок и с интересом слушает рассказ своей кухарки, как на базаре подрались две рыбные торговки. Лариса знает, что обед, как всегда, будет вкусным, знает, какое платье она наденет к приходу мужа и как он поцелует ее, а она сморщит носик от больничного запаха; за кухаркиным сюжетом она тоже следит: а, так ты у нее купила камбалу?..

В ванной обе рассматривают себя в зеркале: одна спокойно и удовлетворенно, другая с пытливым интересом. После ванны обе, не стовариваясь, звонят кому-то по телефону, с одина-

ково требовательными лицами. Ни у одной из них нет детей; значит, можно распорядиться временем по своему желанию. Да только сколько его, этого времени? Тщательно одеться, чтобы не ударить в грязь лицом друг перед другом, и при встрече спросить, помолвлен ли настройщик роялей с той рыжей, или?.. Торопливо распрощаться, чтобы не опоздать: одна спешит на репетицию в театральную студию, второй предстоит сделать несколько визитов. А парикмахер, а демонстрация мод! — Едва хватит времени на чашечку кофе с пирожным в Старом Городе, как нужно спешить в теннисный клуб, где соседки опять встречаются, если расписание их тренировок совпадает, и потом вместе возвращаются домой, заканчивая — или, вернее, продолжая — утренний разговор: так они помолвлены?.. Внешне дамы мало похожи друг на друга, разве что одинаковыми прическами, с набегающей на пол-лица волной волос и косым пробором, но одна блондинка, и пробор у нее справа, а вторая, у которой пробор слева, называет себя светлой шатенкой. Когда Ирма говорит, что у нее длинная талия, Лариса мысленно поправляет: не талия у тебя длинная, а зад низкий, вот что. Сложением Ирма и впрямь напоминает шахматную фигуру. У ее соседки талия и все остальное на месте, зато кисти рук явно крупноваты. Она уверяет, что это от теннисной ракетки, однако приятельница с верхнего этажа имеет другое мнение: дело не в ракетке, а в маме с папой, но ничего, разумеется, не говорит, только удовлетворенно поправляет браслет на узком запястье. Странно, что при всем их несходстве дом частенько путает одну даму с другой.

На черной лестнице затишье никогда не продолжается долго. Приходят уборщицы и две прачки, пожилая и моло-

дая; открываются и закрываются двери, попискивают протираемые оконные стекла, хлопают фрамуги. Единственная квартира, чей покой никто не тревожил, это квартира под номером шесть, занимаемая князем Гортыньским. Антиквар (квартира номер девять) уборки у себя не допускал, а прачку встречал на пороге и принимал корзину с бельем. Старый чудак обратился как-то к дворнику, не согласится ли его жена... если не затруднит... немножко навести порядок? Его пугали шумные особы, орудовавшие у соседей. Тетушка Лайма согласилась. Ох и намучилась она, стирая пыль с картин в тусклых, с завитушками, рамах, разнокалиберных кувшинов и ваз, зеркал в круглых, овальных и квадратных рамах. Чтобы протереть корявые ветви оленьих рогов, ей пришлось залезать на складную лесенку. Целую ночь после этого тетушке грезились непривычные предметы из чужой жизни: старинные канделябры, хрупкие фарфоровые фигурки, тарелки с кружевными краями, висевшие прямо на стенах, одна над другой. Однако раз за разом привыкла и была готова к аналогичной просьбе русского. Просьбы не последовало, и она, преодолев робость, сама предложила свои услуги. Князь смеялся, вспыхнул лицом — и с благодарностью согласился.

Князь Гортыньский занимал небольшую квартиру из трех комнат. Одна была похожа на спальню — там стояла низкая оттоманка с пледом и прямо на полу лежали стопки книг на чужом языке. Во второй комнате стояло бюро; более ничего, кроме еще двух книжных стопок. Третья вовсе пустовала, но на стене висел закутанный в простыню костюм, а на печке, на вделанном в кафель крючке, — сорочка, бывшая некогда белой, Боженька мой!.. Плита в пустой кухне была застелена ста-

рой газетой, а сверху стояла спиртовка и жестянка из чайного магазина; на этой же газете — перевернутая вымытая чашка и блюдце. В углу у плиты — смятая коробка от папирос.

В ванной, помимо скудных бритвенных аксессуаров, дворничиха нашла несколько несвежих воротничков. С края ванны свисало влажное полотенце. Если бы не последнее обстоятельство, то можно было бы предположить, что отсюда съехал нетребовательный жилец, забыв или поленившись забрать оставшийся хлам. И уж тем более никто не мог бы вообразить, что здесь обитает не коммивояжер или страховой агент, а единственный потомок князей Гортынских, и ночами к нему приходят непрошенные гости — сны из давней петербургской жизни, где он слышит гомон улиц, давно живущих под иными названиями, вдыхает сизый туман единственного в мире города, который теперь утратил свое имя, и непрошенные эти сны — самое прочное достояние его тридцатилетней жизни, не обесценившееся в многолетних скитаниях по Европе, где он последовательно потерял родителей, молодую жену и то, что его английский гувернер называл *zest for life* и что на русский можно очень условно перевести как *вкус к жизни*.

Хозяин квартиры возвращался поздно, и к этому времени все, что подлежало стирке, было выстирано, а что требовало отбеливания — отбелено и тщательно отутюжено.

Никогда прежде тетушке Лайме не приходилось задумываться о чем-то подобном, однако странная действительность, где князь живет хуже дворника, подействовала куда сильнее, чем музейные лабиринты старого антиквара. А главное — чужбина, вот и мыкается человек. И говорить по-нашему выучился, и работа есть — плату взносит акку-

ратно; да только все ж не дома. В этом месте мысли дворничихи принимали другое направление, а взгляд обращался к окну: не показался ли почтальон. Сын в прошлом году нанялся на шведский корабль, и мать с отцом нетерпеливо ждали писем. Слава Богу, что их мальчику не придется долго скитаться по чужим странам; заработает деньжонок, вернется, а там, глядишь, и женится.

Вот и почтальон! Он звонит с парадного входа. Если окно раскрыто, то вначале слышалось легкое треньканье велосипедного звонка, после чего на крыльце возникала массивная квадратная фигура, и дворничиха спешила навстречу. Он здоровался, вручал почту и шел назад к велосипеду. Потом Ян или жена разносили письма и газеты, а дом прислушивался к привычным уютным звукам — по нисходящей, сверху вниз — как в щели почтовых ящиков с глухим стуком падают конверты, просовываются газеты и с легким шелестом оседают рекламные листки. Оба врача выписывали толстые скучные докторские журналы. Для жены дантиста приходил толстый, но вовсе не скучный модный журнал — точь-в-точь такой, как выписывала жена офицера, для которой присылали еще и каталоги модных товаров. Нотариус ежедневно получал газету, где на полях синим карандашом было надписано: «кв. № 9», а больше из газеты ничего не понять, еврейская газета. Господину Стейнх... — одним словом, антиквару — и даме-благотворительнице приходили письма с иностранными марками. Хозяин получал газеты и биржевой бюллетень, и только ящик господина Гортынского оставался пустым — русскую газету «Сегодня» он покупал сам и нес сложенную под мышкой.

Ян и Лайма раскладывали почту в привратничкой, и если глаз обжигало письмо от сына, бережно откладывали конверт в сторону. Дальнейший ритуал был неизменным: дворник торопился к почтовым ящикам, а тетушка ставила на плиту кофейник, с нетерпением поглядывая на дверь. Потом они читали письмо и пили кофе, и в эти минуты дом всей душой (если у дома есть душа) желал, чтобы этим двоим никто не мешал.

Действительно, а есть ли душа у дома? И если есть, то у всякого ли дома? Стóбит взглянуть на соседа справа: какая может быть душа у пятиэтажного доходного дома, выкрашенного в такой безнадежный желтый цвет, что сама его доходность сомнительна? В самом деле, окон с занавесками намного меньше, чем пустых и голых, украшенных лепестками белых билетиков: «сдается в наем». Дом слева, высокий и некогда кремовый, давным-давно начали ремонтировать, и он до сих пор не подает признаков жизни, как больной под наркозом, душа которого в смятении смотрит на тело, куда ей предстоит вернуться, если больной очнется. Совсем иначе выглядит здание в глубине небольшого парка напротив. Его белый трехэтажный корпус настолько загорожен деревьями, что кажется намного меньше, хотя там живут двести человек — те, кому больше жить негде. Это дом призрения, или, как называют другие, приют, основанный некогда богатым купцом. Несмотря на огромное число обитателей, почтальон там долго не задерживается, да и кто станет писать вдовам и сиротам? Душа приюта полна скорби.

...Опять звонок в парадную дверь. Нет, не гости; коммивояжер? — На этот раз страховой агент. Что-то он сюда зачастил; должно быть, в девятую, к старому антиквару. На

лестнице посторонился и приподнял шляпу: навстречу спустилась госпожа Ирма.

Дом плохо представлял себе, для чего в мире существуют страховые агенты или коммивояжеры, и ничего не знал про мировой экономический кризис, но невольно сочувствовал одиноким мужским фигурам с портфелями или небольшими чемоданчиками. Все они поправляли шляпу и кашне, все непременно откашливались, прежде чем позвонить. Палисадная улица не длинная и чуть изогнутая, домов на ней не много, но эти люди начинали именно отсюда, привлеченные счастливым номером дома. Да он и сам считал себя счастливым. Во-первых, номер: тут и объяснять нечего. Во-вторых, дела у господина Баумейстера идут хорошо, чего не скажешь о других домовладельцах. Вот ведь прямо здесь, на Палисадной, в номере восьмом повесили объявление: «ПРОДАЕТСЯ»; это для дома, как белый флаг. Приезжали, смотрели — ан вот уже № 8 в чужих руках, и как знать, что это за руки, и какво дому в них будет?.. А пока что хозяева, превратившиеся в «бывших хозяев», съезжают, и поэтому вся их мебель, цветы в глиняных горшках, разлученные с подоконниками, картины, на глазах выпадающие из рам — словом, весь многолетний уют здесь, у обочины, превращается в скарб.

Это неразрешимая загадка.

Выбросил белый флаг и недавно отстроенный двухэтажный дом (даже номер не запомнил). Владелец въехал полгода назад и собственноручно посадил у ворот березу, а теперь объявил банкротство, и всё, кроме березы, описано.

Как не хочется, однако, думать о печальном! Особенно теперь, в преддверии Рождества. Ожиданием праздника

веет от каждого хвойного венка, которые вешают на двери. У кого-то венок совсем скромный, с четырьмя алыми ленточками, у других — пышный, богатый, перевитый гирляндами лент с бантами и ветками блестящей брусники. Венки водружаются за четыре недели до Рождества — по количеству свечей на каждом из них, — и в конце каждой недели одну свечу зажигают. Дворничиха поступает так же, как остальные горожане: свечу зажигают дома в воскресенье, на столе или подоконнике; а чтобы не нарушать традицию, многие вместо свечей прикрепляют на венок... яблоки. Издали не отличить: яблоко такого же цвета, что и свеча, а черенок похож на фитиль как две капли воды. Зато пожар не страшен.

Рождество — это мерцание свечей в окнах, заснеженные улицы и крыши, белые шапочки на бидонах молочника, словно взбунтовавшаяся сметана. Рождество — это когда деревья выглядят, как на праздничных открытках, а от открыток веет холодом — так хороши на них деревья и дома в снегу. Это дамские ботиночки, оставляющие снежные следы на ступеньках, и утреннее шарканье лопаты дядюшки Яна. Рождество — это запахи. Уютный запах тепла от горячих батарей и несравненно более богатый и уютный — от холодных звонких поленьев, пылающих в печках с треском и искрами наподобие настоящего фейерверка. И, наконец, торжествующий аромат, заполняющий весь дом — ему мало черной лестницы: в каждой квартире пекут *пфэфферкухен* — аппетитные коричневые медовые пряники с перцем, имбирем и бог знает с чем еще, тем более что у каждой кухарки свой, проверенный и неповторимый, рецепт — ни много ни мало от собственной бабушки! Почти в каждой квартире, на всех пяти этажах, сильные руки, не жалея сил,

мнут тугое тяжелое маслянистое тесто, а потом, в соответствии с бабушкиным рецептом и собственной фантазией, лепят — или вырезают особыми формочками — звездочки, кружочки, даже смешных человечков, без шеи и с ногами врасстырку, и наконец выкладывают на противни.

Плита у тетушки Лаймы давно нагрелась, а сама она все еще старательно раскатывает изнывающее коричневое тесто. Потом складывает готовые пряники на большое блюдо, а часть — на отдельную тарелку, и вот уже поднимается по лестнице с этой тарелкой, накрытой льняной салфеткой, однако даже самый плотный лен не утаит аромата *пфефферкухен*. В шестой квартире никого нет, и дворничиха оставляет пряники на кухне.

Господин Гортынский зашел поблагодарить. Тетушка Лайма замечает вдруг у него седину на висках, а ведь молодой совсем!.. Ничего не изменилось, разве что на конце фамилии князя прибавилась буква «с» — он получил гражданство; из-за добавленной буквы кажется, что фамилия завивается, словно дамский локон, выбившийся из-под шляпки. Незаметно переменялись прически: дамы теперь делают перманент, от этого шляпки потеснились к макушке — и вбок. Одеваются тоже иначе. Юбки стали длиннее, зато в моду вошли короткие пелерины. Мужские шляпы... Да только ли мода поменялась, и стоит ли она серьезного обсуждения?

Промелькнуло очередное Рождество. За февральскими вьюгами нет-нет, да и весеннее солнышко о себе заявит, а это значит: капель, лед по утрам у самого крыльца. Просто посыпать песком — нет, это не дело, здесь работа для лома и лопаты, а потом уже песок.

Лето приносит свои праздники: например, 24 июня — Янов День. С утра дворник получает «именинный» конверт от господина Мартина, а после обеда наденет венок из дубовых листьев: такова уж традиция. Приедет с хутора брат Густав, привезет домашнего пива — это тоже традиция. Молодежь устремляется на взморье. Самая короткая ночь в году бесконечна, как молодость. Вдоль всего берега ярко горят бочки со смолой, и трудно поверить, что это ночь. Море темное и блестящее, как плащ под дождем. Многие приходят в национальных костюмах и все без исключения — в венках. Яны — именинники, и сегодня многие хотят называться этим именем...

Если уж говорить об именинах, то господин Мартин сделал себе отменный подарок. 11 октября к дому подкатил сияющий автомобиль, из которого выпрыгнул не менее сияющий именинник, и дворник поспешил к воротам. Машина звалась красиво, как женщина: «Олимпия». Во дворе был гараж, о наличии которого никто не задумывался, поскольку в нем не было до сегодняшнего дня ни малейшей надобности. Гараж занимал глубокую нишу прямо в каменной стене; счастливый именинник вкатил машину внутрь ловко, как шар в лузу.

Тетушка Лайма в этот день всегда покупала и ставила в привратницкой букет некрупных хризантем, они так и называются: «Мартиновы розы». А сегодня двери открывались и закрывались чаще, чем обычно, и представители мужской половины жильцов обменивались оживленными репликами. Совсем как год назад, когда они лихорадочно шуршали газетными страницами, часто произнося слова «сейм» и «президент»; сегодня слышались только «опель» и «Олимпия».

Как, уже 36-й год? Неужели так быстро пролетели годы? И если так, то как можно было этого не заметить? Ну да: прически... Да не только же прически — многое меняется! Чья это нянька тащит детскую коляску — из дантистовой квартиры или с верхнего этажа, где живут офицер с женой? Время не ждет: судя по форме, его повысили в звании, чего нельзя сказать о дантисте. В остальном же судьба к этим двоим одинаково благосклонна, ибо каждый стал отцом горластого мальчугана. Что характерно, младенцы заявляли о себе в разное время дня, но так настойчиво, что никто уже не замечал лая пуделя. Да и самого пуделя тоже, что не удивительно. Не выдержав вокальной конкуренции (или по какой-то другой причине), пудель однажды захлебнулся лаем, потом заполз глубоко под хозяйскую кровать — и больше не выполз. Сенбернар жив и в полном здравии, но отчего-то оба они — и хозяин, и пес — чувствуют себя несколько виновато, когда идут мимо квартиры, где так громко жил пудель.

Обе молодые мамы, Ирма и Лариса, теперь заняты еще больше и подолгу жалуются друг другу на няnek. Младенцы делают все, что полагается делать по их возрастному статусу: азартно прыгают на руках у няnek, грызут яркие игрушки и неуклюже встают на непривычные ножки. Няньки часто меняются; в то же время, если поменять местами детишек, вряд ли кто-нибудь это заметил бы. Они в одинаковых чепчиках и таких же платицах, и то и другое нежно-голубого цвета; даже погремушки очень похожи. Один младенец, впрочем, долго кряхтит, прежде чем заплакать, а другой заливается криком без предупреждения, вот и вся разница. Одним словом, самые обыкновенные младенцы,

каких в городе без числа. В последнее время все больше рождаются мальчишки. Старые люди качают головами: к войне. Это звучит нелепо: с кем воевать-то? Тем более что три года назад с большевиками был заключен договор о ненападении, а больше и опасаться-то некого. Да стоит ли бояться большевиков, разве у Советской России других дел нет, как нападать на маленькую мирную республику? А что мальчишки рождаются, так это правильно: больше женихов будет.

Дочки преподавателя, Аня и Ася, всегда приветливо улыбаются пухлым малышам: «О-о-о, какой сладкий!..» Из бледных подростков они превратились в очаровательных барышень; когда, скажите на милость?! Обе стройные и грациозные, а гимназический портфель носить больше не надо, потому что это с радостью делают те, кто их провожает домой. Кавалеры, подумать только! А ведь, кажется, еще на прошлой неделе сестры во дворе играли в серсо!

У кого большие дети, у кого маленькие. Только свое дитя — всегда младенец, думает тетушка Лайма. Сын вернулся после долгого отсутствия — и записался на службу в Защитный батальон. Рота, в которую он попал на ученья, стояла далеко, и в город он приезжал нечасто. Встречая в коридоре офицера, Валтер ловко шелкал каблуками, и мать любовалась: красавец. Он пошел в отца: такой же высокий, с темно-серыми глазами и густой шевелюрой, только в плечах шире. В те редкие дни, когда сын оставался в городе, он ночевал прямо здесь, в привратничкой. Скорей бы служба кончилась, мечтала тетушка Лайма, а дальше мысли вливались в привычную колею: найдет работу, женится и заживет своим домом; а не захочет в городе — уедет на хутор.

Вот женился и настройщик роялей. Да-да, на той рыженькой; дамы устали уже гадать и волноваться и едва не утратили интереса к животрепещущей теме. Чудо как хороша была молодая, с очаровательной улыбкой, в изящном веночке из белых цветов, которые удерживали легкую, как стрекозиное крылышко, фату! Господин Буртс казался помолодевшим лет на десять. Позвольте, да он не стар вовсе: сколько ему, тридцать с чем-то?.. Обвенчались — и в тот же день съехали. Оказывается, купили небольшой домик — за мостом, на левом берегу, — ведь настройщика, как и волка, ноги кормят: домой работу не возьмешь. Однако свой уголок всегда теплее. Что ж, дай им Бог счастья и благополучия, а все-таки жаль: дом так свыкся с его походкой и чемоданчиком, с ее горжеткой... Непривычно было и то, что до сих пор люди сюда только вселялись, и никто еще не съезжал.

Теперь квартира на пятом этаже освободилась, и в пустых гулких комнатах целую неделю хозяйничали маляры. После ремонта хозяин с дядюшкой Яном медленно обошли комнаты, осмотрели просторную прихожую; заглянули в девичью и на кухню. А еще через некоторое время в газете появилось объявление, и дворник приготовился к частым звонкам у парадного.

Скоро последовали звонки. Поскольку сдаваемая квартира была небольшой, то интересовались ею те, для кого она была предназначена, а именно «одинокие особы», как деликатно было сформулировано в газете: железнодорожный инспектор, стенографистка, председатель Общества трезвости... Квартира всем нравилась, но пожилых смущал высокий этаж, а тех, кто помоложе, — высокая плата. Другие кандидаты — в частности, любители кошек — выслуши-

вали извинения и разочарованно уходили. Нет, никакого личного предубеждения к древним уважаемым животным у господина Мартина не было — он просто избегал любой формы антагонизма в доме.

...Из подъехавшего таксомотора вышла пара. Дама окинула гранитную облицовку снизу вверх и сверху вниз, словно намеревалась купить весь дом; спутник терпеливо ждал. Как только дворник отпер квартиру, дама обошла ее дважды. Во время второго тура она уверенно называла комнаты: «Тут будет салон... спальня, м-м-м... кабинет», а последним словом было: «Очаровательно!» Контракт подписали без колебаний, и вскоре в доме не осталось никого, кроме младенцев и сенбернара, кто не знал бы, что в бывшей квартире настройщика поселилась Прекрасная Леонелла, или, как еще называли ее в прессе, «Фея Леонелла». Нежное, как плеск волны, имя было известно всем и каждому: два года назад она заняла первое место на конкурсе «Фея красоты». Почему-то из всего множества молодых участниц (до двадцати пяти лет) жюри единодушно выбрало именно ее. Правда, внешность Леонеллы как нельзя лучше соответствовала общепринятым канонам красоты: белокурые волосы, голубые глаза с темными, почти черными, ресницами, нежная линия губ — то ли фиалка, то ли бабочка — и безукоризненные пропорции фигуры. Это при том, что в конкурсе участвовали почти поголовно блондинки — и только одна редкого мужества голубоглазая брюнетка, — и все соискательницы были прекрасно сложены, и у всех нежнейшие линии губ... Однако побеждает только та красота, которая отмечена чем-то еще, неуловимым и не поддающимся определению: то ли это было легкое движение

губ, которым Леонелла сдувает непослушную прядку со лба, то ли крохотная ямочка на подбородке или локон, в точности повторяющий линию щеки. Что-то одно — или все в сумме — перевесило, и знаменитый портрет «Феи Леонеллы», на котором президент республики надевает ей на шею красно-бело-красную ленту, обошел все газеты, журналы и попал на страницы заграничной прессы.

«Ты хочешь сказать, что ей двадцать пять?» — Ирма была неприятно задета. Кроме нее и Ларисы, в парке никого не было. Несмотря на пролетевшее так быстро время, Лариса по-прежнему была младше подруги, поэтому ответила дипломатично и снисходительно: «Она выглядит, как дама старше своих лет, которая выглядит моложе». Ирма озадаченно замерла, расшифровывая дипломатическую формулу. По логике Ларисы выходило, что лучший способ подняться на чердак — это спуститься в подвал. «Это как если бы тебе было сорок, но тебе давали бы не больше двадцати пяти», — терпеливо объяснила Лариса. Ирма с облегчением засмеялась.

Следует отдать должное Фее Леонелле: она не собиралась покидать свой двадцатипятилетний возраст, а как давно не собиралась — это ее тайна за семью печатями. Она открыла для себя несколько бесхитростных способов, позволяющих отодвинуть, насколько возможно, цифру двадцать шесть: продолжительный сон, минимальная косметика и простая, без всяких излишеств, еда. Сюда же входил отказ от алкоголя с целью сохранить печень. Где конкретно этот орган находится и зачем он нужен вообще, фея не имела представления, но знала, что именно печень распоряжается цветом лица. Белорозовая кожа Леонеллы была прекрасной рекламой космети-

ческих кремов, поэтому агенты всех фирм присылали ей на дом флаконы и баночки, не зная, что все это она щедро разда- ривает; сама же ничем, кроме детского крема, не пользуется.

Публика пребывала в уверенности, что Прекрасная Леонелла ведет жизнь ночной бабочки: снимки красави- цы с бокалом шампанского украшали обложки журналов, и только фотографы знали, что бокал останется нетрону- тым, а снимки сделаны в студии, и не ночью, а белым днем, что публике знать было ни к чему. Сложнее было на прие- мах, однако Леонелла, зная, что смотрят не на шампанское, а на нее, усвоила привычку непринужденно позировать, обаятельно улыбаться и подносить бокал к губам; в этот момент она была чертовски хороша! Равно как и в другие моменты, отчего у многих возникал вопрос, не собирается ли Фея стать актрисой? И Национальный, и Русский театр почли бы за честь... Именно так обстояло дело: ее начали азартно приглашать.

Леонелла не торопилась. Еще до конкурса, который принес ей громкую славу, понервничав в очередях к фото- графам и присмотревшись, как ведется отбор кандидатов, будущая Фея поняла простую и беспощадную истину: кра- сота — капитал, но этот капитал должен быть застрахован обручальным кольцом. Ибо до тех пор, пока к тебе обра- щаются «барышня», это сопровождается оценивающими взглядами, намеками той или иной прозрачности и откρο- венными предложениями распорядиться твоим капиталом без процентов. Вокруг нее клубились толпы поклонников. Прекрасная и, как все были уверены, двадцатипятилетняя Фея принимала букеты, благодарила изящным книксеном, а дома пристально рассматривала и сортировала визит-

ные карточки. Конкурсному жюри было куда легче — они смотрели только на внешность; Фее приходилось из вороха маленьких картонок извлекать свое будущее. В результате образовалась скромная группка «финалистов», из которой к алтарю вырвался некий господин Роберт Эгле: в настоящий момент он как раз вешает в простенок между окнами портрет жены.

Многие недоумевали, обсуждая ее выбор. Как, ведь Леонеллу окружали не просто богатые, но очень богатые люди, среди них титулованные особы, — и перечислялись имена. Публика терялась в догадках. В самом деле: господин Эгле известен только тем, что входит в комиссию по экспорту сельскохозяйственных продуктов, женат впервые, а больше, пожалуй, ничем; что она в нем нашла?.. Фея застенчиво улыбалась и лгнула к сильному плечу мужа. Подготовка к конкурсу приучила ее к чтению газет, а читающий газеты не может не знать, что страна держится на сельском хозяйстве. Конечно, приятно было бы называться баронессой, но покажите барона, который не был бы помешан на своей родословной? Титул только помеха: стоит кому-то обронить слово «мезальянс», и расторопный газетный проныра докопается, не дай бог, до никому не нужной правды о том, чего не знал сельскохозяйственный Роберт, но узнает вся страна: что Прекрасная Фея — нагульная дочь пришедшей бабтрачки и до пятнадцати лет не только столичного города не видела, но и собственных башмаков; увольте. Возможно, поэтому Леонелла не захотела квартиру в престижном районе Кайзервальда или в Петербургском предместье, где селятся все знаменитости, а въехала сюда, на границу центра и Московского форштадта, в дом, ничем не замечательный,

кроме своего номера. Муж, как и дом, почитал себя счастливым, но стеснялся своей обыкновенности, неровных зубов и ранних залысин на висках, а также скучной для Феи специальности экономиста. Пара жила скромно, зато счет в банке неуклонно рос.

Дом такими вещами не интересовался, а привык видеть господина Роберта, который по утрам закрывал дверь очень тихо, дожидаясь поцелуйного звука замка, и даже по лестнице ступал осторожно, чтобы не разбудить Фею. По черной лестнице каждый день так же тихо поднималась кухарка, она же горничная за небольшую доплату — милая деревенская девушка с фигурой в форме виолончели и смешным диалектом, — так говорят на востоке, вблизи от России.

О знаменитостях можно рассказывать много, уж больно хочется рассмотреть их как можно более пристально. Однако рано или поздно интерес притупляется, вытесняемый внешними событиями. Например, весь дом — да что дом: весь Город, все газеты, до самой мелкой — громко заговорили о Лиге Наций. Что — Лига Наций? Почему вдруг — Лига Наций? Ведь республика вошла в состав этой самой лиги давным-давно и, стало быть, давно признана такими зубрами, как Англия, например, или Швейцария. Что-то происходит, только не с Лигой Наций, а с самими нациями, и Лига кого-то должна защитить... Или уже защитила?

Да, о нациях говорится теперь чаще всего. Нотариус обсуждает с доктором Бергманом статью «Эйнштейн против ассимиляции». Шурша газетными листами, находит цитату и читает вполголоса: «Пусть послужит примером и предостережением судьба германских евреев, — закончил Эйн-

штейн». Оба молчат. «Как, собственно, это понимать?» — озадаченно спрашивает нотариус, но сосед пожимает плечами: «Я не Эйнштейн»; в голосе раздражение и растерянность. Он медленно поднимается к себе. Сенбернар распластывается на ковре, а хозяин просматривает газеты — обычно они неделями лежат неразрезанные. В Германии евреи объявлены вне закона. Идет на кухню, где у плиты лежит стопка нечитанных газет, разворачивает: «...к вышеперечисленным признакам расовой чистоты...», «...неполноценные расы, в первую очередь евреи и цыгане...», «измерение черепа», «арийский тип». Отбрасывает в сторону, садится в кресло и закуривает. Пес поднимает свое тяжелое тело, подходит неслышно и ложится у ног. Измерение черепа... Сегодня женщина родила мальчишку, по всем этим гнусным понятиям, «нордического типа», чего никак (он усмехнулся) нельзя сказать о матери. В приемной томился отец — высокий сероглазый блондин. Что за ересь, что с людьми происходит?.. Оба вздыхают, хозяин и собака.

Однако проходит некоторое время, и доктор перестает вздыхать: некогда. Среди других нет-нет да и вспыхнет разговор о евреях в Германии, но быстро угасает, ибо никто не знает толком, что там происходит. И что значит: «вне закона», не все ведь евреи, правда? Должно быть, какие-то государственные преступники, не иначе. И вообще известно: где евреи, там вечно канитель какая-то, возьмите ту же Россию. Тому долго не муссируют, потому что есть темы более интересные. Согласитесь, приятнее говорить о телятах у нас, чем о евреях в Германии.

Господин Мартин между тем побывал в Берлине по своим текстильным делам и вернулся с беспокойной душой:

импорт в Германию явно сокращается. Известно, что рынок — верный симптом, только болезнь не всегда известна. Отец, чутко следивший за биржей, неодобрительно качал головой, хотя явного повода для тревоги не было: в Польше и Чехословакии, например, дела обстоят прекрасно.

...Один сезон сменял другой, да так быстро, что никто не замечал ровного течения времени — признак безоблачной жизни. Счастье бездумно расточает отпущенное ему время, и оно течет, как пляжный песок между пальцами. Кончается очередное лето, и 1 сентября 1939 года школьники занимают свои места за партами, а немецкие войска занимают Польшу; но ни те ни другие не знают еще, что началась Вторая мировая война.

Спустя два дня Германии объявляют войну не только Англия и Франция, но и Австралия с Новой Зеландией. Дантист узнаёт об этом по пути на работу. В памяти послушно оживает оранжевая Австралия на гимназической карте, веселые кенгуру, тоже оранжевые, и мелкие быстрые туземцы, встречающие бумерангами танки со свастикой. «Странная война, — бормочет дантист и лезет в карман за мелочью в обмен на газету, — как ветрянка».

Оказалось — чума.

ЧАСТЬ 2

Странная война, соглашаются все; странный год.

Грянул следующий — не странный уже, а — страшный; особенно лето.

Было отчего — немецкие танки в Париже.

Люди не отходят от радиоприемников, их глаза застывают неподвижно, чтобы не упустить ни слова из взволнованных разноязычных голосов.

«В Париже?.. — врывается живой голос, не из приемника, а из дверного проема. — Не в Париже, а здесь! На вокзале! И не немецкие — русские танки!..»

В те дни, когда негодовал и скорбел Париж — и с ним весь мир, во многих домах Города распахивались двери, люди вскакивали и, прежде чем метнуться... куда? — к вокзалу, конечно! — оборачивались на радиоприемник, который ни словом о русских танках в этом городе не обмолвился, а в это время веселый июньский сквозняк радостно подхватывал занавески на окнах, словно лез под юбки...

Не надо винить радиоприемник в небрежности: наверное, он все скажет, как только оправится от слова «Париж», а сейчас приходится верить невероятному: танки, зеленые

танки с красными звездами на башнях въезжают на Гоголевскую улицу. Еще немного — и из верхних окон дома № 21 станет видна вся колонна, люди, застывшие на тротуарах, и бегущие рядом с танками азартно кричащие мальчишки.

В толпе никого из жильцов дома не было; в этот понедельник все были заняты другими делами.

А именно:

Господин Мартин с любопытством смотрел в окно поезда, который подвозил его к небольшому швейцарскому городку.

Госпожа Ирма примеряла перед зеркалом новую летнюю шляпку.

Ее муж был срочно вызван в Главный штаб Национальной Гвардии.

Старый антиквар рассматривал в лупу коллекцию нэцке, приобретенную подозрительно дешево.

Господин Зильбер, вместе с обоими помощниками, ползал по полу нотариальной конторы, собирая осколки разбитого бульжником стекла.

Дантист пил кофе и ел булочку с маком в ожидании очередного пациента.

Дама-благотворительница имела чрезвычайно приятную беседу с начальницей детского приюта.

Жена дантиста, напротив, беседу имела пренеприятную с немецкой гувернанткой, заявившей о своей репатриации в Германию, и не когда-нибудь, а в следующий вторник.

Доктор Бергман угрюмо готовился к беседе с мужем пациентки, беременной вовсе не двойней, а саркомой матки.

Преподаватель гимназии сидел в кресле у парикмахера, время от времени встречаясь в зеркале взглядом с напряженным лицом усталого преподавателя гимназии.

Его жена в это время стояла в примерочной магазина дамского белья, где при ней безотлучно находилась пожилая продавщица, а вторая, молоденькая, убежала плакать в туалет. Надо отдать должное Тамаре: требовательная к себе, она была требовательна и к другим, а уж магазинных приказчиков считала лично ответственными за моду...

Обе дочери, Аня и Ася, гостили (по официальной версии) у подруги на Театральной улице, о чем подруга была предупреждена, поскольку сама — по официальной версии — была в гостях у них.

Князь Гортынский, свободный, благодаря каникулам, от уроков, читал новый роман своего соотечественника В. Сирина, недавно изданный в Париже.

Прекрасная Леонелла находилась в студии, где два фотографа снимали ее для рекламы новой пудры «Бархат».

Ее супруг подсчитывал экономические показатели по поголовью телят для правительственной комиссии.

Дворник спиливал у каштана во дворе сломанную ветку.

Тетушка Лайма, набрав в рот воды, спрыскивала пересохшее белье перед гладкой.

Многие услышали грохот, когда танки повернули на тихую Палисадную улицу, но именно Лайма увидела их первой. От испуга и неожиданности она проглотила воду, которую набрала в рот, а потом перекрестилась, как и многие женщины, особенно немолодые.

Героем дня как был, так и остался радиоприемник. Газеты не выдержали конкуренции: поместили несколько растерянных заметок, похожих друг на друга, как носки в прачечной, — и все. Поэтому приемник не выключали — ждали; все должно было как-то объясниться. И — словно свежий ветер дунул: речь президента! Сейчас будет говорить президент! В приемниках что-то потрескивает тревожно и многообещающе, как елочный бенгальский огонь, который вот-вот вспыхнет и озарит все вокруг ярким и ясным светом.

Президент никогда не был многословен — тем больше любили его выступления, как любили и его самого, солидного, основательного и спокойного. И внешне такой же: ежик волос над полнокровным лицом, корпулентная фигура и тяжелая крестьянская поступь. Все помнят, как решительно, хоть и с добродушной улыбкой, он отвел крупной своей рукой направленный на него фотоаппарат: «Я не артистка». Президент был прост и устойчив, как... как дом, и относился к своей стране, как хозяин относится к дому, выстроенному собственными — вот этими, крепкими и умелыми — руками: радея о благополучии жильцов, разогнал все политические партии, точно мусор вымел... Одним словом, президент был по-отечески строг, но справедлив. Более всего любил слово «демократия», а в речь вставлял простые афоризмы, заставлявшие граждан задуматься, например: «Что есть — то есть, чего нету — того нету». Одно дело, когда такое изречет кухарка или родственник, и совсем другое, если эти слова принадлежат президенту маленькой, но державы; они обретают некий глубинный смысл. Многие стали охотно повторять: «Что есть — то есть, чего нету — того нету», и каждый был уверен, что разгадал тайную мудрость.

Чтобы не мешал уличный шум, закрыли окна: «...ждане и гражданки! В нашу страну вступают советские войска... с ведома и согласия правительства...». Сделали громче, чтобы ни слова не пропустить. «Я вас призываю: докажите мыслями и поведением силу народной души... к вступающим воинским частям... с дружбой...»

В городе чужие танки: что есть, то есть. К танкам — «с дружбой»? — Чего нету, того нету.

Однако танки танками, но они украшены цветами. Значит, кто-то радостно встречал их, приветствовал; не из России же они эти цветы везли!

«Мое сердце с вами!» — Голос президента был проникновенным как никогда.

Произносились умиротворяющие речи. Слышались возгласы: «Да здравствует президент!» и «Долой президента!», как во всякой демократической республике. В воздухе настойчиво бурлили и носились слова о смене правительства, о больших переменах, о новых законах... Война? Революция?.. Нет; выстрелов не было слышно, как не было видно крови: президент оставался президентом, и республика оставалась республикой.

И танки оставались танками.

Умные граждане и гражданки не выказывали беспокойства. Во-первых, потому, что не беспокоился президент. Во-вторых, не следует забывать про договор о ненападении, а что танки, так ведь дружественные, не немецкие; не то что в Париже.

Глобально ничего не меняется.

Семья офицера едет на дачу.

На окраинах города проходят демонстрации рабочих.

В лавку антиквара навещаются двое русских военных. Один серьезно интересуется бронзовой Дианой, другому нравится текинский ковер; обещают зайти как-нибудь в другой раз. Оба такие любезные...

Президент оглашает состав нового правительства республики, и новое правительство сразу приступает к работе.

В конторе нотариуса появляется пишущая машинка с русским шрифтом.

Самая читаемая газета помещает на первой странице репортаж «Демонстрация дружбы с Советским Союзом».

Дворник отправляет жену в деревню: пора проведать брата.

Объявлена амнистия всем политическим заключенным.

Даме из благотворительного общества удалось организовать ткацкий кружок для приютских девушек.

Во всех газетах публикуется постановление о сдаче оружия. Отказ грозит очень весомым штрафом и тюремным заключением на год.

Из телеграммы посла Великобритании просачивается фраза: «Братание между населением и советскими войсками достигло значительных размеров».

Офицер срочно отозван со взморья в связи с тем, что Национальная Гвардия распушена; за несдачу оружия расстрел.

Традиционный национальный праздник песни проходит с большим подъемом.

Господин Роберт временно оказывается не у дел. Его очаровательную супругу постоянно приглашают на собрания деятелей культуры, и он теперь ужинает в одиночестве.

Республиканские красно-бело-красные флаги висят в непривычном соседстве со сплошь красными советскими.

Дантист смазывает отцовский парабеллум, заворачивает его в мягкое полотенце и выходит из квартиры — для того только, чтобы спуститься в подвал и закопать пистолет в куче угля. Он отродясь не держал в руках никакого оружия серьезнее зубного бора, но с этим парабеллумом отец прошел Германскую войну — Великую войну...

Июль в этом году очень жаркий.

Рано утром появляется сын дворника, одетый в парусиновые брюки и летнюю рубашку вместо, упаси бог, формы Защитного батальона. С отцом говорит недолго — спешит.

С необыкновенным успехом и такой же скоростью проходят выборы в Сейм; новый Сейм немедленно провозглашает в стране советскую власть.

Госпожа Шихова обгорела на солнце, и дочери по очереди делают ей компрессы из свежих огурцов.

Сейм единодушно голосует за присоединение республики к великому, как выразился президент, восточному союзу — Советскому Союзу. Многотысячные демонстрации приветствуют это решение.

Доктор Бергман крутит пуговицу радиоприемника, но в ответ слышится «Интернационал»; президент не выступает. Что естественно, ибо он едет в какой-то российский город не только не по своей воле, но и в принудительном сопровождении вооруженных красноармейцев.

Об этом мало кто знает. Люди больше озабочены и новым своим статусом «советских граждан», и стремительно пустеющими прилавками.

Июльское солнце палит беспощадно, поэтому ранним утром дворник поливает бугрящийся бульжник мостовой — меньше пыли оседет на окнах. Дядюшка Ян недавно встал, а в парадную дверь уже звонят. В такое время могли тревожить только женского доктора. Или... Валтер? Нет, сын зашел бы с черного хода.

Увидев красноармейскую форму, Ян перевел дух. Четверо солдатиков, молоденькие и во всем новом, но лица жесткие. У офицеров грудь гимнастеров перечеркнута ремнями, на рукавах нашивки; фуражки с красными звездами. Позади, сцепив за спиной руки, стоит худощавый мужчина в летнем чесучовом костюме. Один из офицеров потребовал список жильцов; худой перевел. «Я понимаю русский язык», — прервал Ян, после чего вежливо показал на большую черную доску, висевшую на стене. Второй офицер извлек из планшета блокнот и начал быстро писать, задавая однообразные вопросы «кто такой» и «чем занимается». Первый поинтересовался, кому принадлежит дом, и огорчился, что господина Баумейстера увидеть нельзя. «Где же он?» — спросил мягко, на что дворник ответил:

— Могу не знать.

Странная формулировка насторожила офицера, но переводчик снисходительно объяснил:

— Старик говорит: «не могу знать». Не в курсе дела.

Дядюшка Ян так досадовал на себя, что проговорился на неродном языке, что на «старика» внимания не обратил. Сам того не желая, он сказал чистую правду. Иногда господин Мартин уезжал очень спешно, и только по долгому отсутствию они с Лаймой догадывались, что хозяина нет в городе. Бывало и так, что он готовился к поездке заранее — вот

как в тот раз с Ривьерой. Дворник — не секретарь, он не обязан знать хозяйский график... Не обязан, но мог знать. Мог и не знать — вот как сейчас.

Квартиру хозяина заставили отпереть. Обошли, распахивая все двери, даже кладовку; тот, что с планшетом, вышел на балкон. Дядюшка Ян старался не выказывать растерянности и надеялся, что больше ни о чем не спросят.

— А это что за дверь во дворе? — прозвучал вопрос, и сапоги застучали вниз по лестнице.

Когда дворник отпер гараж, красавица «Олимпия», казалось, зажмурила фары от июльского солнца. Старший из офицеров повеселел. Солдатики восхищенно уставились на автомобиль. Замешательства Яна никто не заметил — недаром он был похож на оксфордского профессора. Сам он твердо приготовился к худшему и радовался, что ни жены, ни сына в городе нет.

«Худшее» называлось национализацией. Яну объявили, что дом № 21 переходит в собственность государства, а он, Майгарс Ян Янович (переводчик подмигнул), остается в прежней должности дворника.

Привыкать к отчеству, нелепому, как две шляпы на одной голове, было некогда. Следующий день ознаменовался вселением в хозяйскую квартиру вчерашнего майора, а в гараж — пожилого рябоватого шофера в солдатской форме. Отныне майор разлучался с «Олимпией» только на ночь.

Обитатели дома, особенно дамы, осаждали вопросами... нет, не майора, а дядюшку Яна. Кто-то обмолвился о переезде. Только — куда? Национализация захлестнула все дома, да и само присоединение республики к великому восточно-

му соседу было не чем иным, как национализацией. А когда национализировали банки, дворнику перестали задавать вопросы, как и он перестал репетировать грядущий разговор с хозяином, хотя не мог избавиться от чувства вины и беспомощности.

...Внешне на улице и в доме почти ничего не изменилось. Еще какие-то новые люди поселились на Палисадной улице, в конце, где стояли деревянные двухэтажные дома с заборами. В здании слева сколько-то лет назад начался ремонт, но не закончился, а как-то замер, и если раньше дом был похож на больного под наркозом, то сейчас впору было говорить о коматозном состоянии. Приют для вдовых и сирых и прежде жил шепотом, а теперь и вовсе притих. Вялый южный ветер нехотя, будто по обязанности, шевелит листву каштанов. Пышные кусты над заборами похожи на кашу, выкипающую из кастрюли. Редкие фонари горят вполне накала, и там, куда не дотягивается свет, все серое. Окна гаснут рано — не оттого, что люди стали рано ложиться спать, а чтобы не привлекать лишнего внимания. На то существуют ставни или шторы. Жарко и душно, но спокойней.

С улицы доносятся все звуки, и тревожней всего звучит тишина. Иногда проходит военный патруль: стук сапог, громкая речь, шатающийся свет карманных фонариков. Полиции больше нет; вместо полицейских группами ходят заносчивые субъекты с повязками на рукавах.

Лето тянется долго. Дядюшка Ян озабочен: нужно запастись топливом на зиму. Дворник не отвечает за власть, но должен обеспечить отопление. Которое, кстати, потребуется и для власти тоже — вот она, на втором этаже. Несколько раз он спускается в погреб; вроде бы угля должно хватить.

Проверяет сараи: дров маловато. Опять же, известно: если лето знойное, жди зимой холодов.

Разгружать уголь, пилить и складывать дрова обычно помогает Мануйла, молодой цыган. Он всегда рад подработать, особенно теперь, когда женился. Худой, как смычок, но удивительно гибкий и сильный, цыган легко таскает мешки с углем. Когда привозят дрова, они с Яном пилят. Дворничиха хлопочет на кухне и смотрит в окно на ловкого парня. Мануйла поворачивается, и тогда на левой щеке видно крупное багровое пятно. В первую минуту его хочется стереть, но у Мануйлы такое приветливое и открытое лицо, что пятно его не портит. От ровных движений пилы подрагивают завитки волос на шее.

Через несколько дней он приходит за расчетом. Хозяина все еще нет — теперь домом распоряжается какой-то комитет, но что такое этот комитет, никто не знает. Поэтому дядюшка Ян расплачивается из прежнего — хозяйского — запаса, который господин Мартин некогда завел для таких целей.

В августе почтальон приносит дворнику с женой конверт. Они читают, как прежде читали письма от сына, хотя письмо на этот раз от Густава, брата. Их лица разглаживаются: Валтер далеко. Оба знают где, но вслух не произносят: ни к чему. Какое-то время можно будет спать спокойно.

Ночи в августе гуще и темнее. Темноту протыкает свет фар — это возвращается майор. Иногда проезжают другие машины, потом все затихает.

Новый закон — закон о вредительстве — вначале появился в газетах, а потом, перепечатанный на машинке, прямо в доме на стене, под списком жильцов, так что создавалось

впечатление, будто с новой властью пришли вредители, как тараканы, которых приносят неряшливые квартиранты.

Дама из благотворительного общества твердо знает, что новый закон не имеет никакого отношения ни к ней, ни к соседям, каковой мыслью и делится на лестничной площадке со старым антикваром.

Ночью дворник просыпается от резкого звонка, но еще раньше просыпается и подбегает к двери сенбернар. Доктор тоже просыпается и, не включая света, смотрит в окно. Машина. На лестнице голоса, стук сапог; кто-то звонит в соседнюю квартиру. Доктор обнимает пса за шею и ждет.

Дядюшке Яну никогда не случалось нарушать ночной покой жильцов, тем более сопровождать вооруженных людей и, что самое скверное, присутствовать — вот как сейчас в квартире антиквара. Второпях прочитанный ордер на обыск — буквы танцевали перед глазами — ничего не прояснил.

Хозяин не успел надеть халат и стоял, завернувшись в плед. Ему предъявили ту же бумажку, но без очков он не смог прочесть и, казалось, больше озабочен был тем, чтобы плед не соскользнул. Он жмурился от яркого света, властно включенного чужой рукой, в то время как незваные гости хлопали дверьми, а чужие руки твердо и уверенно наводили хаос в его мире. Выдвижной ящик бюро был заперт, и замок взломали штыком.

— Оружие! — торжествующе и грозно воскликнул взломщик, и старик пришел в себя. Он поправил сползающий плед и мягко пояснил:

— Это французский мушкет, он...

Двое солдат схватили его за локти, и он оказался почти спеленытым пледом. Офицер вынул мушкет из ящика.

— Патроны! — потребовал он.

— Семнадцатый век, — заторопился старик, — такая редкость...

— Почему не сдали оружие?

— Это антикварная вещь! Извольте, я покажу вам... — он дернулся, подавшись вперед, и одновременно хлопнул выстрел; следом еще два.

Не из мушкета — из нагана.

Не только докторский сенбернар в ту ночь не мог уснуть. Из тех, кто был дома, никто себя дома не чувствовал. Звук выстрелов не обеспокоил разве что нового обитателя квартиры господина Мартина. Неизвестно, считал ли майор себя хозяином, но, в отличие от других, никакого неудобства не испытал.

Вздрагивают папильотки госпожи Леонеллы, и она в темноте тянется к лампе, но муж удерживает руку — он давно не спит. Снаружи, из-за окна, доносится ровный гул мотора, внутри — после выстрелов — почти тихо, если не считать невнятного эха голосов. Теперь не спят оба, и только около шести Леонелле удастся задремать.

И все-таки: как могло такое случиться? Неужели ничей голос не раздался в защиту? На полицию рассчитывать не приходится, но существует ведь Лига Наций, наконец? В самом деле, республика — член Лиги Наций, следовательно... Какая республика? Та республика, что входила в Лигу Наций, больше не существует! Так с какой стати эта Лига заступится за старого торговца барахлом, которого на том свете заждались и уже снесли, завернутого в тот же плед, вниз по ступенькам, а дворничихе кивнули: пол помыть, мол, надо?..

«Это произвол», — Андрей Ильич адресовался не к Лиге Наций, а к жене.

«Произвол, самый настоящий произвол», — беззвучно возмутилась дама из благотворительного общества и решила поставить на дверь второй замок, способный уберечь от произвола примерно так же, как Лига Наций.

«Беззаконие», — возмущенно бормотал нотариус по пути в контору.

Вопреки обыкновению, доктор вывел собаку на прогулку по черной лестнице.

Дантист вышел из дому раньше, а домой вернулся позднее обычного; в сторону погреба старался не смотреть.

Могут ли представители власти нарушить закон, маялся учитель. Он всегда немножко жалел, что бросил изучать право и занялся историей. Пожалел и сейчас, но после некоторого колебания решил все же, что поступок был правильным. Если перевести эти рассуждения в область эмоций, то он испытывал понятное человеческое облегчение — чаша сегодняшней ночи его миновала. Благоразумным был в свое время и выбор: гораздо легче преподавать историю древнего мира, чем ту, что происходит сейчас.

Строго говоря, рассуждал сам с собой нотариус, старик-то действительно нарушил закон. Приказано было сдать оружие, ведь так? Безо всяких оговорок: античное не античное, музейное не музейное — сдать. Будь оно у меня, к примеру, сдал бы — и дело с концом. Закон суров, говорили древние, но закон есть закон. Другой вопрос, что кара слишком жестока, но ведь и время жестокое... Нотариус так долго повторял суровые слова, что почти уговорил себя. Однако вечером, поднявшись на свой этаж, он в растерянно-

сти замер на площадке, остановленный простой мыслью: не может быть закона, чтобы убить человека у него в доме. Закон можно нарушить по неведению или от недопонимания; на то существует суд. Конечно, эту винтовку — или что там у него нашли? — надо было сдать.

В почтовом ящике лежала газета и письмо. Он так поспешно взрезал конверт, что уронил нож. Подняв, замер, как на лестнице: оружие. Не огнестрельное и даже не кинжал, а обыкновенный нож, каким разрезают бумаги. Ничуть, впрочем, не обыкновенный, а подарок деда на совершеннолетие. Тонкое стальное лезвие с массивной серебряной рукояткой, где было выгравировано его имя на древнем языке. Нож; холодное оружие. Но тогда пресс-папье или чугунная сковородка — тоже оружие...

День Леонеллы начался поздно, но она не торопилась. Вечером предстоял торжественный бал в честь нерушимой дружбы братских республик. Выбирая платье, она требовательно, как свойственно только женщинам, рассматривала себя в зеркале. Ничего ошарашивающего зеркало не говорило, но согласиться с привычным двадцатипятилетним возрастом отказывалось наотрез. «Антиквар, из восточной», — вполголоса произнес вошедший муж, как будто в доме жило несколько антикваров. Супруги совещались очень тихо и долго, а потом позвали в столовую кухарку. Хозяева беспокоились, что Марите — так звали девушку с виолончельной фигурой — придется поздно возвращаться, и великодушно предложили поселиться у них, в девичьей комнате. Нет-нет, никакой платы от нее не ждут, разве что со стиркой помочь, а то прачка взяла расчет. Единственное условие, которое мягко, но решительно поставила госпожа

Леонелла: никаких кавалеров. Девушка сконфузилась, хозяин опустил глаза, но этим же вечером, пока жена собиралась на бал, он сам съездил с Маритой на извозчике за ее нехитрыми пожитками.

Так и не приняв окончательного решения о замке, дама-благодетельница в тот день никуда не выходила.

...Все, что находилось в квартире старика-антиквара, подверглось описи. Мебель оставили на месте, а все остальное (в том числе злосчастный мушкет) солдаты сложили в грузовик и увезли. Пятно на полу было замыто и просохло. Дворничиха торопилась собрать осколки разбитого кувшина и вымести бумажный мусор. Что-то твердое попало под ногу, вроде ореха. Она наклонилась и подняла шахматную фигурку затейливой формы.

Вечером они с Яном рассмотрели безделушку. Фигурка оказалась вовсе не шахматной, а незнамо какой. Изображала она старика, лежащего на толстой рыбе. Неизвестный умелец выточил статуэтку из гладкого желтого материала, да так искусно и подробно выточил и отполировал, что видны были не только все пальцы лежащего и рыбы плавники, но и каждая ее чешуйка. Лицо у старика, все-то с кофейное зернышко, было живое и лукавое, а колпак надвинут на лоб. Он лежал на рыбине, обнимая ее руками и ногами, с улыбкой и выражением безмятежного покоя на счастливом лице. Так обнимают жену, с которой прожита долгая жизнь, а впереди — вечность.

Они долго крутили статуэтку в руках. У старого антиквара было много диковинных пустяков. Держать эту штуковину в руках приятно, а красоты никакой в ней нету. К тому

же кто-то ее испортил, просверлив две дырочки как раз на поясе старика, — ровные, будто жук точил. Куда такую девать? Надо бы... хоть с книгой вместе — там сам черт не найдет, но дворник медлил. Безделушка уютно легла в ладонь, и пальцы сами послушно сомкнулись.

Книгу — вернее, тетрадку в коленкоровом переплете, куда хозяин записывал жильцов, — он надежно спрятал в угольный погреб. Спрятал, движимый не какой-то особой прозорливостью, а на всякий случай. Это не освобождало жильцов от проверки документов, но облегчало дядюшкины ответы на вопросы «кто таков» и «кто такая», и о благодетельной даме он смог равнодушно обронить: «Вдова», не упоминая о покойном муже-фабриканте. О врачах майор не спрашивал, но интересовался господином Гортыньским, которого дворник отрекомендовал «учителем», ничуть не погрешив против истины.

К сентябрю вернулись дачники и остолбенели при виде печатей на двери антиквара, хотя слово «покойный» осозналось не сразу. Старенький денди с его белоснежным носовым платком и щегольской тростью... Не укладывалось. А как же лавка? Коллекции? Должны ведь объявиться наследники?..

Дворник пожимал плечами. О том, что лавка, старинные подсвечники, вазы и коллекции редкостей и были многочисленными — и единственными — наследниками старого чудака, знала черная тетрадь, а дворник «не мог знать». И хорошо, что старик был одинок, а то... долго пришлось бы Лайме пол отмывать.

Сам он сделал наконец то, что откладывал со дня на день: притащил стремянку и, залезши на верхнюю ступеньку, на-

чал оттирать с черной доски белые, чуть выпуклые буквы. Тряпка пронзительно воняла скипидаром, лесенка поскрипывала, но самая длинная фамилия не поддавалась, разве что последние буквы — хвост потерпевшего крушение поезда — побледнели. Да что я, нанимался им, подумал вдруг дворник с досадой и решительно спустился.

Сентябрь ошарашил учителя Шихова. Во-первых, гимназии больше не существовало — была «Единая общеобразовательная школа № 14». Ладно бы только это, но в кабинете сидел новый директор и несколько военных. Беседа была короткой, как и первый день преподавателя в гимн... то есть в школе. Военные назывались *комиссией*. Ему предложили «ознакомиться с предметом преподавания»; предмет назывался «История СССР». Преподаватель озадаченно раскрыл учебник, пролистал, сделал паузу на содержании — и острожно улыбнулся: «А раньше, выходит, истории не было?»

Ответной улыбки не последовало, зато ему объявили, что советским школьникам не нужна «вся эта древняя шелуха, которую наши враги выдают за науку». Он чуть не сказал, что, не будь российской истории, то и история СССР не состоялась бы, но растерялся, как двоечник, и только поймал кусок фразы про «политическую платформу, с которой в советской школе делать нечего».

Князь Гортынский потянулся к пепельнице, и в этот момент в дверь позвонили. Ничего не ощущая — ни страха, ни паники — он пошел к двери. Следом послушным мышонком покатился по паркету комочек пепла. Князь рывком толкнул дверь, едва не сбив Шихова с ног.

— Вас... тоже уволили? — выдохнул сосед вместо приветствия.

От чая отказываться не пришлось — Гортынский не собрался предложить. После третьей папиросы Андрей Ильич спросил:

— Так что же теперь?

— Не знаю, — устало ответил тот, — на биржу труда, должно быть. Если какой-нибудь пролетарской профессией владеете, — добавил горько.

— Это только начало, — жена Андрея Ильича выслушала новости неожиданно спокойно и свое замечание не объяснила.

Дом с трудом привыкал к переменам, тем более что Тамара оказалась права — перемены только начинались.

В квартиру, где жил антиквар, водворилась пара: капитан лет тридцати с женой — дамой с настороженным взглядом и в беретике, натянутом на голову плотно, как носок, так что невозможно было понять, блондинка она или брюнетка. Вещей у них было мало — два чемодана, патефон и корзина, да больше и не требовалось, ведь мебель прежнего хозяина вполне устраивала хозяев новых.

Что-то менялось: например, нарушилась симметричная жизнь парадной и черной лестниц. Перестал приезжать — исчез куда-то — молочник со своей сонной лошадью и уютным, вкусным хозяйством. Стало меньше кухарок: одна уехала в деревню, другая пропала неизвестно куда, ибо старичок-антиквар в ее услугах больше не нуждался. Давно не приходил трубочист — таинственный комитет, который теперь распорядился домом, так и не подавал признаков

жизни, а денежный фонд, остававшийся со времен господина Мартина, почти иссяк.

Дом узнает знакомые шаги и голоса, но что-то меняется и здесь. Например, князь Гортынский имеет привычку что-нибудь забывать — то бумажник, то портсигар; его дверь хлопает два раза, и только потом он идет вниз. Вот и сегодня: захлопнул дверь, помедлил; снова отпер (должно быть, решил взять зонт), опять запер и начал быстро спускаться. Когда он минует площадку, распахивается дверь майора. Князь кивает не останавливаясь, но взгляд опустить не успевает, да и зачем — что он, институтка?! Что выражает его взгляд, неизвестно, но он, словно искра, высек из майора окрик: «Документы!»

Внизу тоже открывается дверь — выходит дворник, запрокидывает голову и поднимается на второй этаж, подопев к знакомому вопросу: «Кто такой?»

— По какому праву, — низким, сдавленным голосом говорит князь, — по какому праву вы со мной так разговариваете? Или вы... или вы руководствуетесь декретами?

Майор отрывается от паспорта и внимательно смотрит на стоящего. То ли непривычно изысканный язык, то ли слово «декрет» из славного революционного прошлого, но что-то заставляет его руку потянуться к кобуре. Тот не вздрагивает и не бросается бежать, но майор лениво и угрожающе роняет:

— Стоять.

Кончалось страшное лето, но страшный год продолжался. Лето — это и есть год: летописцы повествовали не о смене сезонов — о годах. Лето кончалось, но утомленное солнце

все прощалось, прощалось с морем — и не могло проститься.

Позже всех вернулись со взморья офицер с женой и сынишкой. Видеть лейтенанта в гражданском костюме было очень непривычно. Дом не сразу распознал звук его шагов, тем более что четкая, звонкая походка никак не подходила к новому костюму — откуда же взяться звонкости в мягких, как перчатки, модных штиблетах? Не вязалась с нынешним двубортным костюмом и привычка одергивать китель, оскорблявшая пиджак. Одним словом, вопрос нового соседа «кто такой?» не заставил бы себя ждать, но еще прежде началась «чистка офицерского состава», как это теперь называлось. Повестка придет через два дня, а сейчас супруги озабочены поиском гувернера для маленького Эрика. Объявлений очень мало, а рекомендации сомнительны. Отцу приходит в голову блестящая мысль: господин Гортынский! Нет, не гувернером, разумеется; но, может быть, он согласится давать мальчику уроки?.. Нянька только рада будет остаться, а сосед знает немецкий, английский и французский. Ирма поправляет волосы, муж одергивает пиджак, и супруги спускаются на третий этаж. Увы, господина Гортынского нет дома; должно быть, еще в гимназии. Чуть помедлив на площадке, медленно идут назад, но в этот момент распахивается дверь, и они с улыбкой поворачиваются — для того только, чтобы увидеть незнакомую женщину с ведром. Голова у нее повязана косынкой, а подол юбки влажный.

— Звонили, — без вопросительной интонации говорит женщина.

— Добрый день! Если господин Гортынский... — начинает Ирма, но что-то ее останавливает.

Женщина ставит ведро, и вода плещется, как в потревоженном колодце. Она с любопытством рассматривает Ирму от прически до модных тупоносых туфелек и произносит какую-то фразу про «белогвардейскую сволочь», которой та не понимает, но понимает офицер и почти силой увлекает жену к лестнице. Дверь захлопывается.

Спустя два дня почтальон приносит ему повестку, где указано, когда и куда следует явиться, но не говорится о причине вызова. Человек военной выучки, Бруно Строд привык повиноваться. «Мне ничего не могут инкриминировать, — убеждает он жену, — оружие я сдал сразу». Притом, добавляет он про себя, я не белогвардейская сволочь.

На первом этаже спохватывается: документы! Приходится возвращаться.

— Постой, — жена вцепляется в рукав, — посмотри в зеркало, тогда иди.

Он хватает конверт с документами, кидает взгляд на зеркало, откуда на него смотрит испуганное лицо Ирмы.

— Уедем, — торопливо и почему-то шепотом говорит она, — уедем на взморье. Не иди, — но муж быстро целует ее и закрывает за собой дверь в мирную жизнь.

На обратном пути ему становится неловко за собственную сентиментальность. Вzbегает по лестнице на одном дыхании. «Ничего ужасного, — объясняет он жене и бросает на подзеркальник свернутые рулоном бумаги, — дали заполнить анкету». Ирма уверена, что все так удачно обошлось только оттого, что муж посмотрел в зеркало, и она повторяет это сначала ему, а потом жене дантиста за чашкой кофе.

Та слушает, в нужных местах недоверчиво качая головой и округляя глаза, и в ответ делится интересной новостью. «Оказывается, кухарка нашей *примадонны* — ее кузина. Ты знала?» — и поднимает глаза к потолку, что означает и расположение квартиры госпожи Леонеллы, и ее, Ларисино, отношение к примадонне.

Надо сказать, что слова «господин» и «госпожа», такие всегда привычные, становятся все более неуместными. Леонелла очаровательно улыбается, когда к ней обращаются «товарищ артистка». Второе слово ей так льстит, что она почти не замечает первого, тем более что советские офицеры ведут себя, как и полагается офицерам: подносят букеты и целуют «товарищу артистке» руку. Артисткой она никогда не была, но выступает с выразительной декламацией, поэтому ни одно торжественное собрание не обходится без нее. Как правило, торжества эти заканчиваются балом, где звучит прекрасно и тоскливо «Утомленное солнце», и выются, как осы, офицеры с перетянутыми ремнями талиями. Когда бал заканчивается, они слетаются, чтобы проводить «товарища артистку», но ее встречает супруг. Он не танцует и привык, что за Леонеллой присылают машину, но все же выглядит немного растерянным. Он давно не у дел, господин Роберт, и это мешает жить. Новое правительство несколько не интересуется ни поголовьем телят, ни экспортом сливочного масла и экономической прибылью. Солидные фирмы, которые приняли бы его с радостью, прекратили свое существование, как и счет в банке; как и сами банки. Он помнит, как жена яростно рвала газету, где сообщалось о национализации всех вкладов, рвала и терзала бумажные

ключья. Каким-то глубинным, нутряным чувством она никогда банкам не доверяла и предпочитала наличные деньги, но и это не помогло, потому что советская власть все приравнивала к своему рублю. Сейчас Роберт с изумлением наблюдал, как внешне легко его жена приняла неприемлемое. Или только ему оно казалось неприемлемым?

...Дом с трудом привыкал к новым людям: другие шаги, чужие голоса. Непонятно, например, откуда в квартире господина Гортынского оказалась странная женщина в козынке — ведь накануне, во вторник, тетюшка Лайма делала уборку. Темный скюртук и летний костюм следовало отправить в чистку, а белье уже сушилось на заднем дворе. Утром следующего дня — того самого, злосчастного — она стояла в узенькой лачужке, где в большой корзине грудой лежали платья и костюмы, ждущие своей очереди, чтобы повиснуть на штанге среди себе подобных, но прошедших уже таинство чистилища и утюжки. Полезное это заведение до сих пор не национализировали — скорее всего потому, что за мелкими тусклыми оконцами трудно было заподозрить *коммерческое предприятие*, а вывеску хозяин предусмотрительно снял. Химчистка размещалась неподалеку от приюта, в ничем не примечательном дворе, и не отличалась от других подобных лачуг. На просевшей штанге с кольцами висела ветхая гардинка позабытого цвета, за гардинкой закуток уходил вглубь загадочной темной кишкой, и что творится в ее недрах, одному Всевышнему было известно. Зато все знали, что постучать в облезлые ставни можно в любое время, и горбатый Ицик появится за прилавком, как черт из люка, примет заказ и, что особенно ценно, выполнит его

безукоризненно и в срок. Вообще говоря, никто не знал, горбат Ицик или сутул сверх всякой меры, но вид имел такой, словно провалился в собственный воротник.

Хозяин сидел за прилавком с газетой (точь-в-точь как господин нотариус выписывает, подумала тетушка Лайма) — и поднял лицо в блестящей каракулевой бороде. Кроме газеты, на прилавке лежали счета и книжечка квитанций. Сюда же дворничиха положила принесенные вещи. Ицик быстро и привычно осмотрел воротники, рукава, лацканы; встряхнул пиджак. Что-то упало со стуком на пол. Он нагнулся, еще глубже провалившись в свой горб, а встав, протянул ей плоский кусочек гальки.

Сдав костюмы, тетушка заглянула в зеленую лавку, осталась ею недовольна и отправилась на рынок, а когда вернулась, корзинка была полна провизией, а голова — тревожными слухами. Интересно, что хорошие слухи тоже иногда летают, но редко сбываются, зато скверные всегда ползут, но и сбываются тоже всегда. Однако дворничиха забыла о слухах, узнав, что господина Гортинского «увели» и он еще не возвращался. «Отпустят, — говорил Ян, покуда она стояла с полуснятой шалью, — отпустят. На что он им нужен?» Лайма повесила, наконец, шаль и вынула из кармана кошелек, ключи и плоский камешек, о котором начисто забыла: надо отдать вместе с костюмами, когда вернется.

Гладкий, без шершавинки, он походил на медальон. На отполированном серовато-сизом овале был изображен курносый девичий профиль. Очертания шеи и вьющиеся волосы переходили в естественный волнистый рисунок на камешке. На обратной стороне было написано: «Крымъ 1919». «Где-то в России. Там Черное море», — пояснил Ян, и тетуш-

ка недоверчиво покачала головой: что это за море, если так называли. Потом бережно завернула камешек в папиросную бумагу, не переставая гадать, кем кудрявая красавица приходится русскому учителю и какой умелец так расписал простую гальку.

Ответить мог бы только владелец камешка — ведь носил его зачем-то в нагрудном кармане! — но он все еще не вернулся; а больше некому. Молодая княгиня со вздернутым носиком пережила свой портрет на три года. Искусник же, юноша в гимназической тужурке, который утром набирал на черноморском берегу полные карманы плоских камешков, а днем творил над ними свои чудеса, краснея от неловкости, когда ему совали деньги, — искусник этот сгинул еще раньше, унесенный красной волной в море, которое как было, так и осталось Черным.

...Кто-то громко колотил в парадную дверь. Дворник всполошился: весь день звонок работал.

Как работал и сейчас, но шепелявая барышня с бумагами в руках просто не подозревала о его существовании. Барышня оказалась курьером загадочного комитета — *домкома*, как она его назвала. Назвав Яна «товарищем», сообщила, что в пять часов в домкоме собрание, и «явка всех дворников обязательна». Выяснилось, что комитет (слово *домком* требовало привыкания) находится совсем рядом, в подвале углового доходного дома. Поприсутствовать на обязательном собрании, однако, не удалось, потому что в квартире на втором этаже сломался кран, чему Ян был рад-радешенек, и больше получаса усмирлял фонтанирующий кран, стыдясь своей радости. Вымок до нитки. Ну, а в таком виде не идти же...

В подвальный комитет он зашел на следующий день. Барышни не оказалось, а сидел толстый мужчина, похожий на бульдога: бухгалтер. Толстый переспросил фамилию, отыскал нужную бумагу и полез в несгораемую кассу. «Получите», — только и сказал, придвинув оторопевшему дворнику деньги и велел расписаться в ведомости. Деньги оказались очень кстати.

Мысль о деньгах преследовала господина Роберта с утра, когда их кухарка (она же горничная, она же внезапная кузина Леонеллы) приносила продукты. Из кухни доносился осторожный шелест разворачиваемой бумаги и приглушенный стук посуды. Сквозь стекло гостиной он видел двигавшийся виолончельный силуэт и даже чувствовал свежий запах хвойного мыла. Чтобы не разбудить жену, пил кофе на кухне, а Марита шепотом пересказывала новости, принесенные с улицы. Он кивал, не слушая, и думал только об одном: деньги, деньги... Единственным источником дохода стали выступления Леонеллы — за помпезную декламацию «товарищу артистке» платили регулярно, но Роберт стыдился и декламации, и этих денег. Казалось, все знают, что он живет на заработки жены, знают и смеются за его спиной. И в числе смеющихся она сама, Фея Леонелла. Нет, она не выказывала своего презрения, но как же быстро стала раздражаться, как часто вспоминала про «эти твои банки», словно разорила их не новая власть, а его хозяйственная недалекость.

Перебрав все варианты, один безнадежней другого, он решил посоветоваться со старым товарищем по Коммерческому училищу. Телефон в последние недели работал из

рук вон, а если и работал, то разговор сопровождался непонятным эхом, поэтому Роберт отправился к товарищу на квартиру. Пересек вокзальную площадь и двинулся вдоль парковой ограды по бульвару. У здания на противоположной стороне стояла лестница, густо заляпанная известкой, и двое в комбинезонах только что сняли эмалевую табличку с названием бульвара. Прохожие останавливались, но молча и ненадолго, после чего продолжали свой путь уже по переименованному, хотя и прежнему, бульвару.

Город менялся как-то исподволь, но ощутимо. Поражало обилие флагов. Правда, советские флаги вывесили сразу, как только появились танки, рядом с республиканскими; теперь остались только полотнища с серпом и молотом. Красноармейцы ходили группами и поодиночке; немало было конных, все с винтовками. В памяти мелькнул старый антиквар, медленно поднимающийся по ступенькам, подагрическая рука на перилах. Так глупо погибнуть, из-за винтовки... Попадались женщины в красноармейской форме, с пилотками, сдвинутыми набок, и другие — не в форме, но все как одна с напряженными лицами и неприветливыми глазами, что объединяло их какой-то родственной общностью, как формой. Многие витрины опустели. Другие были так плотно закрыты ставнями, что никаких сомнений не оставалось: откроются нескоро.

У киоска, похожего на домик из сказки, бульвар кончался. Сюда же ровными лучами стекались еще четыре улицы; господин Роберт свернул, прошел подъездом — и стал как вкопанный перед дверью квартиры, на которой висели сургучные печати.

Леонелле ничего не сказал — не смог. Кроме того, его студенчество принадлежало другому времени, и привязан-

ности той поры остались далеко позади их общей жизни, припечатанные сургучными блябками на лохматых веревках.

Утро застало даму из благотворительного общества за укладкой летних вещей. Две объемистых стопки уже завернуты в бумагу и перетянуты бечевкой. Осталось взять извозчика и отвезти пакеты... Для чего же, подумалось вдруг ей, такая сложность — ведь до приюта рукой подать! Не все ли равно, кто из нуждающихся получит ее лепту? Да и вещи не последние — найдется что-то и для Общества. Она начала энергично собираться.

События последнего времени, помноженные на отсутствие известий от сына плюс одиночество, имели следствием стойкую бессонницу, а эта последняя, в свою очередь, обеспечивала мигрень на полдня. Вместе с тем госпожа Нейде не раз убеждалась, что лучший способ борьбы с хандрой — это работа, поэтому ее активность в Обществе так ценили.

Кухарка теперь приходила не каждое утро, а через день, но много ли нужно одинокому и, увы, пожилому человеку? Она решительно подхватила свертки и вышла.

В приюте не задерживалась: сделав доброе дело, уходи. Оказавшись на улице, вдруг ощутила странную немоту в теле. Закружилась голова, да так сильно, что она едва успела ухватиться рукой за ограду. Такое уже случалось; сейчас пройдет. Медленно двинулась дальше — за сквером улица сворачивала к дому, но взгляд упал на вывеску парикмахерской. Куафер, вот кто сейчас нужен. Признаться себе, что хотелось просто сесть и передохнуть, она не решилась.

— Ондулянсьон для госпожи?

— Да, прошу вас.

Волшебные пассы парикмахера привели к тому, что голова стала как будто меньше и не такой тяжелой, как прежде. Короткие седеющие волосы легли ровными волнами.

Надо было бы послать мальчику телеграмму — в телеграмме можно не писать о бессоннице и назойливых серых червячках, плавающих перед глазами. Но сначала домой: вдруг пришло письмо — тогда телеграмма теряет смысл. Дом обладает странной притягательной силой, думала она, подходя к парадному, — когда ты один, дом не только очаг, но и собеседник. Больше десяти лет она живет здесь, и эта лестничная прохлада, с ее особым запахом, притягивает и умиротворяет, как присутствие родного человека. «Особенно когда не с кем поговорить, — закончила вслух, обращаясь к зеркалу в полумраке прихожей, — и некому сказать, что элегантная дама с новой прической живет на свете шестьдесят четыре года, и ничего в ее жизни нет, кроме сына в Англии да благотворительной мышинной возни, совсем ничего. Обменивались вежливыми словами с соседом-коллекционером, а как его зовут, не спросила. И уже не спросишь. Вот так, — продолжала она, а дама в зеркале понытливо качала головой, — ничего не скажешь, потому что никому это не интересно».

Почтовый ящик был пуст.

Дом без хозяина все равно что ребенок без матери. Не будь у него такой заботливой няньки, как дядюшка Ян, жить бы ему сиротой — как живут те, в доме призрения. Увидев на улице знакомую фигуру, дворник высунулся в окно:

— Каспар!

— Приветствую, дядюшка!

Трубочист пересек мостовую и остановился, поставив одну ногу на крыльцо.

Как же, как же: это имя дом выучил одним из первых. Спасибо кухаркам, конечно: зазывали его наперебой: «Каспар, Каспарчик!..» — и наперебой угощали.

— ...часикам к восьми.

— Сам управишься? А то я Мануйлу позову.

— Цыгана? — улыбается Каспар, — знаю, мы с ним в карты играем. Нет, Мануйлу нельзя. С ним на крыше несподручно — высоты боится. Я сам.

— Ихний комитет вон там, — Ян показал кивком, — в подвале, как двор пройдешь.

— Э, — махнул рукой трубочист, — счет пошлю. Они бумаги любят.

«До чего же они любят бумаги», — офицер раздраженно кружил вокруг письменного стола с чертовой анкетой. Никакие муки творчества не стоили ломаного гроша по сравнению с его терзаниями. Трудности начались с первой страницы. Вот: «фамилия» — *Строд*, «имя» — *Бруно*. «Отчество»... А как будет отчество, если отца звали Густав — *Густавич* или *Густавович*? Какого черта. Остальное почти заполнено. Пустовало окошко «воинское звание», и Бруно злился на свою нерешительность. лейтенант из соседней роты написал «рядовой» — с простого солдата, мол, взятки гладки. Какого черта! Обмакнул ручку и... едва успел отвести перо с тяжелой каплей. Не хватает еще кляксу сюда поставить. Или вот: «род занятий родителей». Там, где теперь пребывают его родите-

ли, никто ничем уже не занимается. Перо опять пересохло. «Владеете ли недвижимостью». Состояние, как перед экзаменом. Говорят, у них там сначала проверяют анкеты, а потом проводят собеседование. Какого черта, я спрашиваю, взрослый семейный человек, ротный командир должен кому-то исповедоваться?! Из балконного стекла хмурился стройный мужчина с папиросой, смотрел прямо и неприветливо; потом вернулся к столу и в пустую графу «воинское звание» вписал: «Лейтенант Национальной Гвардии».

Вовремя с трубочистом сговорился, удовлетворенно думал дворник, сметая в канаву желтые листья. По-хорошему, так и водосток надо проверить, чтоб не затопило, как в 17-м доме. Громко хлопнула дверь черного хода. Он обернулся.

— Дворник!

К нему бежала перепуганная девушка с засученными рукавами и кухонным полотенцем в руках:

— Дворник! Дяденька!.. Опоздавши я сегодня; так, думаю, сырники не буду затевать, а гренки поджарю — гренки-то быстрее. А все ж думаю: дай спрошу...

Обгоняя поднимающегося по лестнице Яна, она продолжала свою невнятицу, но в квартире примолкла и боязливо отступила от приоткрытой комнаты.

Госпожа Нейде сидела в гостиной на диване, в костюме и с элегантной прической. Голова была повернута набок, словно она к чему-то прислушивалась, а сжатые кулаки были прижаты к груди — то ли исповедь, то ли клятва, которых никто уже не услышит.

Тревожно и суетно прошло утро. Доктор с четвертого этажа закрыл неподвижную фигуру простыней и вызвал по

телефону «амбуланс». Кухарка топталась и мяла в руках все то же полотенце. «Не знаю... Не знаю я ничего...» — твердила беспомощно. Лайма увела ее на кухню, да только хуже вышло: та посмотрела на дворничиху, потом на миску с потускневшими пузырями желтков, забубнила о гренках и как припозднилась, а то бы сырники затеяла, и вдруг брызнула слезами, уткнувшись лицом в кухонное полотенце.

А на следующий день черная лестница зажила прежней жизнью, разве что реже хлопали двери да слышалось меньше голосов. Внезапная кончина дамы-благотворительницы здесь ни при чем, просто кухарок стало меньше: некоторые оставили привычное дело — кто-то сказал, что в России кухарок обучают управлять государством, а здесь теперь все равно что Россия; так что ж на кухне толочься?.. Оставшиеся знали, что сегодня придет «Каспарчик», и были полны радостного нетерпения.

— Я к вам, дядюшка, уже два раза спускался, — объяснил трубочист озабоченно. — На крыше кусок жести отстает; боюсь, протекать начнет. Пока что я бульжником прижал: авось, подержит пару дней, а то и неделю. А только чинить надо, — и взмыл обратно на чердак.

В полдень сделал традиционный перерыв. Счастливица уже несла ему тяжелую, с толстыми краями, фаянсовую кружку и пышную, ароматную мясную баранку с выступившим, как роса, прозрачным жирным соком — эта баранка ей всегда удается. На тарелке — ломти свежего деревенского хлеба с тмином и еще чем-то неуловимым, от чего даже у сытого человека пробуждается аппетит. Сегодняшний кофе мало походил на всегдашний, густой и крепкий, но то уж не кухар-

кина вина. Скоро в лавках один цикорий останется — люди все расхватывают, да еще в очереди стоят. Она накладывает полную вазочку рассыпчатого печенья: десерт.

Тихонько, словно пробуя силы, начал капать мелкий дождик, вошел во вкус и зарядил совсем по-осеннему. Глядя на вымокшего трубочиста — от дождя он сделался еще чернее, если такое возможно, — горничная из четвертой квартиры заливается смехом. Каспар смеется в ответ, мокрый и белозубый, не подозревая, что по мокрой крыше скользит бульжник и падает вниз, не подозревая, в свою очередь, о том, что выскочивший из машины майор мчится к парадному: экий ливень! Иди он чуть быстрее или, наоборот, замешкайся на спасительные секунды — вот они, нужно было только отогнуть рукав гимнастерки и бросить хмурый взгляд на часы... Словом, то, что последовало, никоим образом не было предрешено, но, как всякое случайное событие, грянуло слепо и точно.

Приехала, как и вчера, «амбуланс», но еще быстрее подкатила военная санитарная машина, и почти одновременно с ней другая, с оперативной группой НКВД. Дом оцепили; несколько человек уже несутся вверх по лестнице с неотвратимостью летевшего с крыши бульжника.

Вредителя хватают, когда он, посвистывая, запирает чердак, заламывают руки и волокут к машине. Если правда, что прикосновение к трубочисту приносит удачу, то Каспар многих осчастливил в тот вечер. От черной куртки отрывается и катится по ступенькам латунная пуговица, прямо к ногам дворника.

Пока тщательно обыскивали крышу и чердак, за руль «олимпиа» сел какой-то солдат, а прежнего шофера, блед-

ного и растерянного, посадили на заднее сиденье; машина медленно тронулась с места. Почти сразу подъехал еще один автомобиль. Дядюшка Ян намного лучше разбирался в человеческих отношениях, чем в воинских званиях, и по тому, как суетились все прибывшие, кроме одного, понял, кто главный. И не ошибся, потому что был властно приглашен в свою же дворницкую квартирку и там же впервые допрошен.

Что-то следователю мешало в нестаром этом старике; например, не получилось обратиться на ты или прикрикнуть — все равно что сделать «козу» полковнику... Правда, несмотря на красноречивую фамилию, следователь Громов редко повышал голос.

— Выходит, гражданин... Майгарс, — он старался правильно выговорить непривычную фамилию, — вы знали о готовящейся диверсии?

— Как, пожалуйста?

Слова «диверсия» дворник не знал. Ваньку валяет, раздражался следователь, но уверенности не было: старик не паниковал, не суетился и неожиданно сам обратился к нему:

— Если в *вашем* доме дырявая крыша, что *вы* сделаете?

— Вызову мастера, — следователь пожал плечами.

Кто кого допрашивает, одернул он себя, но настырный дворник не унимался. Его послушать, так выходило, что трубочист не вредитель вовсе, а сущий благодетель. Хитер старик: в домкоме подтвердили, что требовал прислать кровельщика.

— Как давно знаете обвиняемого?

— Кого, пожалуйста?

Опять помог переводчик.

— В доме нельзя без трубочиста, — решительно сказал Ян, — десять лет как ходит.

Четко вырисовывался вредительский заговор. Странно, почему он не отрицает.

По лестнице обрушился грохот сапог. Вбежали двое с ценной находкой — грубой фаянсовой кружкой, на которой чернели следы пальцев. Следователь повернулся к дворнику:

— Кто носил обвиняемому кофе на чердак?

— Моя жена, — голос старика был ровным, невозмутимым, — она всегда его угощает.

— Придете по этому адресу, — процедил следователь, — а пока распишитесь вот здесь.

Дворник не заметил многозначительного «пока» и старательно подписался полным именем и фамилией.

Чертов старик. Следователь поднимался по лестнице, не касаясь перил. Дворник, а гонору... как у профессора. Посмотрим, как ты будешь мне вопросы задавать у меня в кабинете. Действительно, дворник себе на уме. Если он кого-то выгораживает, зачем втягивает жену? Почему не пытается скрыть, что знает вредителя? Станный город. И народ странный: непуганый народ.

С крыши легко было перелезть на балконы квартир верхнего этажа. У вредителя могли быть сообщники. Не верил следователь и тому, что пожилая дворничиха поднималась на чердак, чтобы покормить того негодяя. Или они все тут в сговоре? Непуганый народ, повторил про себя.

Кивнув спутникам, позвонил в двенадцатую квартиру. Дверь открыли. В полумраке прихожей видны стали белый передник и манжеты — девушка отпрянула; и правильно

сделала, иначе вошедшие просто смели бы ее с дороги. Следователь обежал взглядом гостиную, но не вобрал и не запомнил ни серебряные канделябры, ни темные полукресла с резными спинками, ни уютные симметричные козетки на косолапых ножках, так располагающие к дружеским сплетням. С потолка свисала люстра в виде гигантской виноградной кисти, но зажжена не была, зато к стенам прилепились матовые светильники, похожие на круглые бокалы, и света их вполне хватало для освещения портрета. Он висел в промежутке между плотно зашторенными окнами, и женщина улыбалась с портрета победной улыбкой. Удивительное лицо. Таких теперь не бывает.

— Простите, что заставила ждать. Вы, должно быть, к мужу?

Старший следователь военной прокуратуры Константин Сергеевич Громов провел немало обысков и привык, что люди ведут себя по-разному. Они могли держаться настороженно или испуганно, презрительно или льстиво, напряженно-вежливо или возмущенно — словом, как угодно, ведь приходилось переворачивать вверх дном дворцы и хижины и уводить из них — вверх ли, вниз ли по лестнице — врачей и спекулянтов, старых большевиков и молодых проституток, паровозных машинистов и канцелярских машинисток, инженеров, певиц и даже собственных коллег, которые внезапно становились вредителями, а значит, врагами. А сейчас военюрист второго ранга стоял в буржуйской квартире и глазел на портрет женщины, каких не бывает, и не знал, как начать обыск, потому что она улыбалась ему, Косте Громову, и не с портрета, а из дверного проема, повторяя, что вот-вот должен появиться муж.

— Присядьте же, — и первая села на узкий нелепый диванчик с выпуклым, как беременный живот, сиденьем.

Дом лихорадило.

Стало известно об обысках на пятом этаже и у дворника. Говорили, что этим не кончится. Больше всех беспокоились двое. И хотя было понятно, что вряд ли чекисты полезут прочесывать угольный погреб — камень ведь падает сверху вниз, и никак не наоборот, — доволновались до того, что столкнулись друг с другом на темной лестнице погреба, дядюшка Ян и дантист. Что ж, оно понятно: когда жена в интересном положении, в доме должно быть тепло; а что дворника не беспокоил, так его все кому не лень дергают.

И не только его. Все жильцы были вызваны и явились «для дачи показаний» в большой угловой дом на Столбовой. И странное дело: одни называли его серым, другие желтым, а кто-то вообще утверждал, что не на Столбовой, а на той улице, что раньше называлась Церковной, а теперь не то Карла Маркса, не то Карла Либкнехта, но определенно какого-то Карла.

Весь день, пока съезжал капитан с неприятливой женой в беретике, в доме шнырял сквозняк от распахнутых дверей. Отъезд длился существенно дольше, чем вселение, что понятно: появились они с двумя чемоданами, а покидали на грузовике, куда солдаты сложили мебель покойного антиквара. Высокие часы с тусклым бронзовым маятником несли, как выносят гроб: на плечах. Темный деревянный корпус покачивался, издавая на поворотах долгий глухой звон. Дом так и не успел привыкнуть к этой паре, и события последнего времени не оставляли места для удивления.

Квартиру, в которой обитал майор до роковой встречи с бульжником, никто не называл иначе, как квартирой хозяина: а теперь уже и ни к чему было. Печати повесили и на дверях князя Гортынского, а женщины с ведром никто больше не видел, так что Ирме стало казаться, будто ее не было вовсе.

Приходил еще один следователь, интересовался скоропостижной смертью жилички из квартиры № 2. По безмолвным комнатам ходили люди в форме. Потребовали присутствия дворника. Он присутствовал, не поднимая глаз, и видел, как сапоги медленно пересекли гостиную, остановились около дивана, и рука в кителе ухватила и потащила к себе толстый черный томик со столика. На ковер бесшумно упал сложенный листок.

— Библия?

Оказалось — английский словарь. От этого известия следователь необыкновенно воодушевился и начал что-то торпливо писать. Остальные рассматривали сервиз, щелкая ногтями по краям чашек. Дворник незаметно положил бумажку в карман.

«Здравствуй, мой мальчик!

Вот уже три с половиной недели от вас ни одной весточки, и я очень тревожусь. Конечно, письма нынче идут медленно. А Лондон, говорят, бомбили; нельзя верить слухам, но откуда-то же они берутся?.. Очень за вас волнуюсь.

Сейчас думаю, что ты был прав: мне следовало приехать. По крайней мере, мы были бы вместе. Признаюсь тебе по секрету, я даже стала учить английский, чтобы не конфузить

Джейн, — ведь мы так мало знаем друг о друге. Теперь легче будет найти общий язык — это будет английский!

У нас некоторые перемены; ты, верно, слышал. В “Сплендид палас”, ты не поверишь, совсем другие фильмы: “Чапаев”, “Волга-Волга”, “Человек с ружьем”. А в доме... я ведь писала про соседа-антиквара? — Он больше здесь не живет; въехали новые... Ах, сколько горя на свете! Я отнесла в приют кое-какие вещи и успела заметить, как люди их брали. Одни хватали жадно, другие деловито сортировали. Помню, отец говорил, что благотворительностью занимаются или очень добрые люди, или самые тщеславные. Мне казалось, у меня хватает доброты...

Помнишь госпожу Эльзу, которую ты в детстве называл “умная Эльза”, как в сказке? Она репатрировалась в Германию. Пригласила нас всех в кафе Шварца; так мило с ее стороны. Мне слегка нездоровилось, но как было не пойти? Как она там, приживется ли? Ни родных, ни друзей; разве кого-то из наших встретит, кто раньше уехал.

Я припишу несколько слов по-английски для Джейн. А еще карточку вложу — тебе здесь три года. Говорят, в ее положении нужно смотреть на красивых детей.

Обнимаю тебя, мой мальчик. Поцелуй Джейн. И храни вас Бог.

Мама».

Фотографии не было; конверт она тоже не успела надписать. Адрес английского сына хранился в погребке, в тетрадке под слоем угля.

Лайма плакала. Ничего-то человек не знает. Где-то в Англии должен родиться ребенок, а здесь осиротел в одиноча-

сье его отец. И вдруг с нами *что-то случится*, и Валтер знать не будет... Но об этом совсем нельзя было думать; она и не думала, только плакала едва слышно. Потом взяла корзинку для рукоделия и вынула клубок, из которого рогами торчали блестящие спицы, начатое вязанье, носки, спаренные сиамскими близнецами в ожидании штопки, тощую связку разномастных пуговиц и потускневшие от времени, но не утратившие остроты ножницы. Облупленный наперсток выкатился сам, но тетюшка успела прихлопнуть его ногой. Дно корзинки было застелено сложенной газетой не очень давнего, судя по молодцеватым заголовкам, времени. Дворничиха вынула газету и поддела ножницами плетеное дно. Под ним обнаружилась неглубокая выемка — нечто вроде двойного дна, где раньше хранились запасные иголки, пуговицы, резвый наперсток и прочая швейная дребедень, а с некоторых пор поселились странные предметы: смешная фигурка старика в обнимку с рыбой, плоский камешек с разводами и латунная пуговица. Сюда же легло неотправленное письмо. Лайма плотно закрыла плетеную переборку, сверху положила газету — края не успели распрямиться — и торопливо собрала свое рукодельное хозяйство.

В городе говорили об арестах; кто-то из говоривших и слушавших нет-нет да и пропадал из поля зрения. Все реже звонили по телефону, и не только оттого, что телефоны выходили из строя; город небольшой, можно и визит нанести.

В доме № 21 по Палисадной улице телефоны тоже часто ломались. Кроме одного: в квартире господина Роберта аппарат работал безукоризненно. Должно быть, следовательно,

который допрашивал хозяйку, сидя на пузатой банкетке, отдал распоряжение из уважения к «товарищу артистке».

Близились 23-я годовщина великого для советской страны октября, и нерушимая дружба народов, провозглашенная недавно, обязывала к солидарности. Сидя в конторе, нотариус исподлобья бросал взгляд на пустующий соседний стол и уверял себя, что великая годовщина не имеет отношения к аресту коллеги, единственным грехом которого была адвокатская известность отца. По вечерам он не спешил домой — дома стало неудобно. Следовательно в военной форме был вежлив и как будто рассеян; его молодцы протопали на балкон, светили оттуда фонариками вверх, на крышу, и перекрикивались. Его самого почти ни о чем не спрашивали и скоро ушли, но все время казалось, что вот-вот вернется.

Когда позволяла погода, нотариус бродил по городу. Осенние краски тускнели, вытесняемые мощной кумачовой лавиной: от знамен и транспарантов улицы выглядели воспаленными. Он старался огибать центр боковыми улочками и кривыми переулками. Несколько раз встречал соседа с четвертого этажа, возвращающегося домой кружным, как тот признался, путем. Потом сосед выходил с собакой на прогулку, и нотариус привычно присоединялся. Несколько лет назад доктор первым предложил:

— Давайте оставим эти церемонии: я целый день «господин Бергман». — И протянул руку. — Макс. А вас как зовут, господин Зильбер?

Нотариус с овечьим профилем носил симметричное имя Натан.

Очень скоро отпало за ненужностью и слово «господин» — теперь они обращались друг к другу просто по имени, сохранив удобное и корректное «вы».

Что сблизило этих двоих? В первую очередь, то, в чем никто из них не захотел бы признаться: холостяцкое одиночество, которое давно перестало быть выбором и превратилось в судьбу. Оба подошли к сорокалетнему рубежу. Жизнь, которая в юности представлялась нелепой, как одежда с чужого плеча, обмялась, обносилась и теперь оказалась идеально пригнанной по фигуре и характеру каждого. Они скоро нашли общих знакомых. Выяснилось, что не встретились раньше по чистой случайности: жили на параллельных улицах. В детстве трехлетняя разница в возрасте — почти пропасть; зато они читали одни и те же книги, а такое сближает быстро. Вспомнили учительницу немецкого языка, фрау Хофф, у которой оба брали уроки...

Однако похожие судьбы, книги детства и близкое соседство далеко не всегда сводят людей. Как знать, толкнуло бы их друг к другу, не случись в жизни этот страшный год?

Пребывание господина Мартина в Швейцарии затянулось, и это обстоятельство тяготило его. Тому имелось несколько причин, но главной была тревога об отце. Баумейстер-старший тоже собирался выехать и встретиться с сыном за границей, однако до сих пор они не только не встретились, но и непонятно было, удалось ли ему уехать. Телефон не отвечал. Телеграммы с беспокойным текстом терялись в пространстве, ибо невозможно было представить их лежащими на отцовском подносе с утренней почтой —

и оставленными без ответа. Отец должен был выехать за границу, но само понятие «граница» изменилось. Карта меняла цвет. В Европе появились новые коричневые пятна, словно она ржавела от свастики. Одновременно с востока наплыла розовая лужа СССР и захлестнула кусок пространства, где Мартин оставил отца. Их страна, их родной город были оккупированы. Когда военные приходят в гости, то они не берут с собой оружия; приехавшие на танках уже не гости.

Газеты звучали везде одинаково: истерично и растерянно; об оккупированных советским режимом странах писали очень скупо и невнятно. Самое главное — как стала возможной оккупация без войны, — оставалось непонятным.

И не было рядом отца.

На почте каждое утро Мартин шел к окошку *Post restante*; потом обратно, пересекая мощеную площадь, мимо кирхи. Проходил через парк, и каждое утро привычный маршрут воскресал в памяти один и тот же эпизод.

Его, тогда шестилетнего, крестные привели в большой парк и теперь сидели на скамейке, тихо переговариваясь. Мартину скучно. Он считает планки скамеек, деревья и окна в высоком каменном здании. По дорожкам быстрыми шагами ходят сестры милосердия.

Появляется отец. Отец берет его за плечи и говорит: «Ты должен знать: мамы больше нет». Крестный снимает шляпу. Мартин видит, как рука крестной вытаскивает из сумочки платок. Отец отпускает его плечи и берет за руку. Его рука теплая, твердая и сухая. Мальчик крепко сжимает руку и поднимает глаза:

— А ты? Ты всегда будешь?

— Всегда, — уверенно отвечает отец и добавляет, — всегда. Даже когда меня не будет.

В его словах не было ни рисовки, ни патетики — одна только глубокая убежденность в своей всесильности.

День, когда кончилось детство, остался в памяти теплом отцовской руки.

Безусловное отцовское «всегда» помогло Мартину быстро и безболезненно повзрослеть. Отец рано — Мартин еще был студентом — начал вовлекать его в непростое дело коммерции. Вначале Мартин сопровождал его в поездках за границу, потом случилось так, что отец был занят большим заказом, Мартин поехал в Лодзь без него и сам заключил очень выгодный контракт, а спустя еще некоторое время уже курировал большинство поставок. Он легко входил в контакт с людьми — божий дар для коммерсанта, — и чувствовал моду — вторая половина успеха. Однако сам он был уверен, что удачу приносит отцовское «всегда».

По мере того как нарастало беспокойство, начал мучить вопрос: почему отец выбрал Швейцарию? Рынком сбыта эта страна быть не могла, а заказывать здесь имеет смысл часы, к примеру, но не сукно и не шелк. Тогда зачем?

Под этот неотвязный рефрен Мартин перебрался из гостиницы в небольшой пансионат, битком набитый беженцами — из Франции, Германии, Бельгии, Венгрии...

23-го июля почтовый служащий в окошке протянул ему плотный гладкий конверт, который Мартин тут же и растерзал, едва отойдя от стойки, прочитал — и ничего не понял. Так, с письмом в руке, пересек площадь и сел на первую же скамейку парка, где несколько раз прочитал все письмо, состоящее из четырех с половиной строк, включая подпись го-

сподина Реммлера, главного управляющего одного из банков, которыми Швейцария славится так же, как часами.

В кабинете главного управляющего зашторенные окна отсекали июльское солнце. Из-за стола приподнялся сутулый пожилой человек и после нескольких вступительных фраз сначала на французском, а потом по-немецки, передал Мартину конверт — к счастью, открытый.

В конверте лежала записка:

*«Ни в коем случае не возвращайся.
Меня задерживают объективные обстоятельства.
Все полномочия у господина Реммлера.
Обнимаю, всегда тобой,
Отец».*

Твердая, острая готика отцовского почерка и в особенности эта пропущенная второпях буква так сильно тронули Мартина, что он не поднимал глаз, пока буквы не перестали двоиться. Поблагодарив затем господина Реммлера, он сразу же сбивчиво заговорил:

— Право же, я не могу понять... Вот ведь дошло это письмо! Я телеграфировал, но...

— Банк, — слово упало, как поставленная печать. — У нас свои каналы.

Пожилой человек посмотрел на ошарашенного собеседника, кашлянул и продолжил:

— Если позволите, я хотел бы...

Полномочия господина Реммлера, о которых говорилось в записке отца, заключались в том, чтобы ознакомить Мартина с его финансовым статусом. На банковский счет, не-

когда открытый отцом, регулярно поступали деньги, вплоть до самого недавнего времени, когда поступления прекратились... в силу объективных причин. На настоящий момент процент с капитала составляет...

Далее шли подробности, в которых Мартин разбирался только до той степени, чтобы осознать главное: даже если война затянется еще на год-другой, основной капитал можно не трогать.

Разрешился вопрос, почему отец выбрал Швейцарию.

Октябрь подходил к концу. Ступеньки пансионата, дорожки парка и площадь пестрели яркими листьями — рыжими, багровыми, желтыми. Над дверью почты горел фонарь. Вырезной буковый лист прилип к латунной рукоятке двери. Мартин осторожно, как бабочку, снял влажный листок и вошел.

Писем не было.

Учитель истории с сомнительной политической платформой — это пятая колонна в советской школе; он выслушал это несколько раз. Необходимость содержать жену и дочерей во внимание не принималась.

Строго говоря, жену и дочь, а не дочерей: одна сбежала с финским моряком. Нужно было привыкать к мысли, что отныне ее содержит кто-то другой. Сестра-наперсница была посвящена в тайну любви и план побега, но названия корабля не знала, как не знала и порта прописки. А если бы и знала?.. Даже под угрозой материнской истерики не могла сказать больше того, что сказала. Оставалась надежда, что беглянка даст о себе знать при первой возможности, то есть когда окажется на берегу. Какой (или, вернее, *чей*) это бу-

дет берег, уже не имело значения. Сейчас ребенок в открытом море, бог знает с кем, а попытка доброго беспомощного заклинания — мол, а вдруг это судьба, да и не ребенок уже, в двадцать-то лет, — извлекла такой яростный вопль из жены, что он первый кинулся за бромом. Капал в чайную чашку — первое, что попало под руку, — считал капли и сбился, естественно, со счета, но жена, забыв о бrome, накинулась на дочь:

— ...непростительное легкомыслие! Как ты могла, ты ведь старшая! Ты должна была...

Это было особенно несправедливо: Аня родилась на полчаса раньше сестры, и слова «старшая» и «младшая» в семье употреблялись только в ироническом контексте.

Дочь вспыхнула:

— Как старшая, — она усмехнулась, — могу за младшую только порадоваться. Если бы я... Если бы мне встретился такой же, как Эгил... я ни минуты бы не колебалась!

И продолжала, глядя прямо в лица онемевшим родителям:

— И хорошо, что так. Ася права. Что вы ее жалеете — себя жалейте, всех нас! Скоро весь дом... — оборвала внезапно и ушла к себе, оставив им додумывать недосказанную фразу.

Стало, по крайней мере, известно имя дочкиного... Кого? Соблазнителя? Любовника? Спасителя?

С улицы неслись однообразные звуки: кто-то заводил мотоциклетку, она недовольно ворчала. К влажному стеклу балконной двери прилип, как горчичник, желтый листок.

Как скоро все поменялось, думал историк, жил человек... Мысль повисла, как начатая дочкой фраза, и память с готов-

ностью подсказала: «*Был человек в земле Уц, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла...*»

Андрей Ильич Шихов жил совсем в другой земле и мало чем напоминал богобоязненного Иова, разве что «удалялся от зла» и был справедлив — по крайней мере, старался быть справедливым. Однако же вспомнились именно эти слова, чуть ли не впервые со времен воскресной школы, и эта история. Праведник, свергнутый с вершины своего благополучия, был не одинок. Вот, господин учитель, неутешительный итог вашей жизни: жена в истерике, одна дочь неизвестно где и с кем, другая завидует ей — и не скрывает зависти; а сами вы остались без работы, зато обрели *сомнительную политическую платформу*. Последнее обстоятельство угнетало больше всего.

Новый день начался, как обычно. Тщательно одевшись, он вышел из дому, на углу свернул направо и начал подниматься, слегка задыхаясь, по кривым плиткам узкого тротуара. Главное — обогнуть самый центр, флагами, транспарантами и плакатами превращенный в *политическую платформу*. Древние римляне украшали площади статуями богов — не императоров.

Немецкая гимназия, о которой говорил князь Гортынский, находилась в стороне от шумных магистралей. Не доходя до здания, историк вынул из кармана записку и задержал взгляд на подписи: Георгий Гортынский. Вот кто истинный Иов! Вышвырнут из своей земли, бежал, нашел приют на чужбине; не сломался — обрел место в новой жизни, где был не князем, а учил детей языкам. Дело свое знал

превосходно — три гимназии им дорожили, — а уничтожен был той же силой, от которой некогда бежал. Выучил чужой язык, но так и не привык писать букву «с» на конце своей фамилии. Или... не хотел?

Гимназия агонизировала. Это становилось ясно по особой пустоте и тишине здания. Коридоры выглядели так, словно учебный год кончился, а начнется ли новый — неизвестно. Двери классных комнат стояли распахнутыми настежь или полуоткрытыми, и только одна, в конце коридора, была закрыта. Второй этаж был пуст. Шихов обвел взглядом высокий сводчатый потолок и наглухо закрытые окна. Топить либо перестали, либо так и не начали.

С лестничной площадки ему навстречу вышли два мальчика и слаженно вскинули вперед правые руки:

— *Heil Hitler!*

Оторопев, учитель не сразу догадался, что приветствие относилось не к нему. За спиной эхом откликнулось еще одно «*Heil Hitler*», и обернувшись, он увидел третьего мальчика — худенького, скуластого и очень серьезного, в скаутской форме и с коробкой в руках.

Дубовая двустворчатая дверь была приоткрыта. Войдя, историк чуть не наткнулся на рояль. У рояля стоял сутулый лысый мужчина в сюртуке и протирал очки.

— Прошу прощения, — Шихов придержал рукой тяжелую дверь, — не подскажете ли, где директор?

— Да-да, — отозвался лысый, — можете забирать. Он еще долго не потребует настройки.

Кончив протирать очки, он не надел их, а сложил и опустил в карман. Оба выжидающе смотрели друг на друга. Словхватившись, историк представился.

— Осталось два класса, — объяснил директор, — и то не полные. Очень сожалею, господин Шихов, но...

Пауза казалась вполне подходящей для того, чтобы откланяться и выйти из этого каменного холода в живой, уличный. Он приготовился надеть шляпу, когда директор спросил, все еще держа в руке записку:

— Я не знал, что у господина Гортынского есть родные. Это ваш брат?

«Разве что по несчастью», — чуть не сказал Андрей Ильич, и вдруг его охватил такой мучительный стыд, что даже галстук внезапно стал тесным. Сравнил! Хорошо, хоть не вслух.

— Сосед, — историк опустил на секунду взгляд — ровно столько и понадобилось, чтобы не выговаривать слово «был», — и в Русской гимназии мы вместе преподавали.

Из-за окна донесся бой часов: полдень. Каждая школа занималась от этого звука громким шумом, как бикфордов шнур — пламенем; здесь тишина осталась почти не потревоженной.

— А я решил, что вы за роялем приехали, — директор рассеянно потер лоб, — простите, бога ради. Все немецкие гимназии закрылись, наша последняя в городе.

«Да и той уж нет», — подумал учитель. Директор продолжал:

— Вы уже не успеете научить их истории, — он кивнул в сторону двери, — поздно. Наши дети уезжают в Германию, чтобы *делать* историю, вот как... А здесь останется мерзость запустения. — И добавил вполголоса по-немецки: — *Ein Greuel der Verwüstung*. Мы говорили об этом с вашим... с господином Гортынским. И о том, что на самом деле они

едут воевать — и потому пьяны от счастья, как все мальчишки. А историю делают взрослые, в светлых и чистых кабинетах, и взрослым...

Он не договорил, потому что в дверь постучали, и в комнату настороженно заглянул, а потом вошел озабоченный человек в щегольском пальто и модной шляпе:

— Извиняюсь, я в отношении роля...

Историк торопливо попрощался.

Тот же путь, только в обратном направлении: коридор, лестница, вестибюль. На улице и вправду показалось теплее, чем в этой пустой ненастоящей Германии. Впрочем, в настоящей ему бывать не приходилось.

— Господин Шихов, подождите!..

Директор догнал его почти на углу.

— Вот... Французский лицей знаете? Там инспектор — очень отзывчивый человек, — он протянул наполовину сложенный листок и быстро пошел обратно, не слыша и не слушая растерянных слов благодарности.

Как он сказал, тот модник? *В отношении роля...* Шихов невольно усмехнулся. Ему как раз предстояло подумать *в отношении французского лицея*. Хотя думать будет скорее лицей — если им нужен преподаватель истории, то не все ли равно, какой язык в школе доминирует. В городе с незапамятных времен мирно уживаются несколько языков. Да и сам он начинал учительствовать ни много ни мало в Евангельской семинарии, где мог легко блеснуть знанием латыни, когда считал уместным, и никого не интересовала его политическая платформа, ни даже отсутствие оной.

Так, чередуя приятные воспоминания с неопределенными сомнениями, он оказался перед входом в лицей. В углах

серой гранитной лестницы валялись опаленные осенью листья, как будто нерадивая хозяйка замела их небрежно — да так и оставила.

...Меньше чем через час он спускался по этим же ступеням штатным преподавателем истории (*le professeur d'histoire*). Большая часть беседы с инспектором лицея ушла на то, чтобы добиться у нового историка любезного согласия заметить — временно, разумеется, временно! — преподавателя логики. Блестящий учитель, выпускник Сорбонны, объяснял инспектор, однако уже вторую неделю... Вероятно, нездоров. Уговорил; господин Шихов согласился. Логика была его любимым предметом, еще когда он готовился стать адвокатом, а согласился не сразу единственно по причине ошарашенности и недоверия к происходящему. В таком состоянии приятного головокружения, как от легкого наркоза, когда не совсем понимаешь реальность происходящего, он решил зайти поблагодарить немца — если бы не его записка...

И возвратил Господь потерю Иова...

Так захлестнуло внутреннее ликование, что... забыл, забыл про Асеньку!.. Более того: когда мысль о ней вернулась, она уже была пропущена через разговор со старшей дочкой, как через фильтр, от которого изнурительная боль притупилась, осела на дно, и самое главное теперь — не всколыхнуть. Что означало не думать о плохом, не рисовать всякие ужасы, а терпеливо ждать письма. Когда боишься пролить обыкновенные чернила, то чернильница наверняка перевернется; а море — не чернильница. Значит, надо верить этому Эгилу, кто бы он ни был. Хорошее скандинавское имя. Швед? Норвежец?

Дверь немецкой гимназии оказалась запертой. За толстым стеклом ничего нельзя было разглядеть, кроме алого

кленового листка, который как-то умудрился приклеиться с внутренней стороны и теперь мечтал вырваться из мерзости запустения.

Медленно и неохотно, как сытый удав, полз страшный год. Многие участники праздничной демонстрации 7 ноября вышли одетыми по-зимнему. От холодного пронзительного ветра с реки мерзли и немели до бесчувствия руки, несущие знамена, портреты и транспаранты. Порывы ветра, несмотря на усилия демонстрантов, иногда клонили портреты вниз, прямо на кепки впереди идущих, или, наоборот, запрокидывали кверху, и они высматривали просветы в тучах, но высмотреть ничего не успевали, потому что им тут же возвращали исходное положение, и они опять плыли, глядя вперед, усатые и безусые, с прищурами и в очках — в зависимости от того, как легче было увидеть будущее всего человечества. Играл духовой оркестр, но ветер, которому прискучила возня с фанерными портретами, хватал бравурные звуки в охапку и уносил их в сторону, чему тайком радовался молоденький оркестрант, снимал мундштук и переворачивал свой сверкающий тромбон; скудная прозрачная струйка — недоигранная мелодия — сбегала на бульжник. Так же безжалостно уносил ветер и пыльные слова ораторов — туда, в сторону Старого Города, где они терялись в узких улочках, мерзли, плутали — и вернулись только к вечеру, чтобы отогреться и зазвучать вновь на торжественных заседаниях в честь годовщины октября.

За «товарищем артисткой» прислали машину. Роберт, молчаливый более обычного, проводил жену до артистиче-

ской и подхватил на руки меховое манто. У зеркала в большой вазе стоял букет пунцовых роз. Вопреки царящей вокруг праздничной *кумачовости*, они были именно пунцовыми, но кто прислал цветы, разгадывать было решительно некогда: только и успевала, что поправить прическу да торопливо выдернуть из букета один цветок. Кто додумался, Боженька милосердный, посылать четное число, как на похороны?! Пересчитала; так и есть — дюжина. Леонелла торопливо выдернула лишнюю розу и заткнула за раму трюмо.

Оттремели трескучие речи, отрещали громкие аплодисменты. Кончился праздничный концерт с неизбежным хоровым пеньем, национальными костюмами и танцами с венками. После перерыва слово взял оркестр — нет, не духовой, а джаз-банд, и начался бал. Закружились в вальсе офицеры в парадных мундирах, чинно обнимая жен, а жены ревниво поглядывали искоса друг на друга, сравнивая наряды и прически.

Однако вальс — это только начало бала, разбег, прелюдия. Наконец, взмыло — взныло — долгожданное танго.

— Разрешите вас пригласить?

Леонелла сделала шаг вперед, едва не задев плечо какого-то майора, которого успел опередить следователь Громов. Опередил и на следующий танец, и еще несколько раз подряд, а когда объявили дамский, он сумасшедшим усилием воли заставил себя не смотреть в ее сторону. Посмотрев, увидел ее с мужем. Сам он выглядел настолько отстраненным, что ни одна дама пригласить его не отважилась.

Потом заиграли какой-то хитренький фокстрот, и Громов, злясь непонятно на кого, пробежал этим дурацким фокстротом с первой же дамой, попавшей в поле зрения, за-

помнив только золотой медальон на цепочке, приклеенный к влажной полной шее.

Танго он угадал еще до того, как зазвучала музыка, но угадал верно — и возник перед «товарищем артисткой» с первыми же тактами. Громче, настойчивей звучит томная и властная мелодия. Хорошо, что громко, подумала Леонелла, тогда не слышно, как колотится у меня сердце. Или это у него сердце стучит?.. Поворот — и его лицо оказалось совсем близко, щека коснулась щеки — и замерла на секунду. Или вечность?..

Музыка менялась, но как только начинало звучать танго, Громов неизменно оказывался перед нею:

— Разрешите вас пригласить?

Возвращалось танго; повторялось прикосновение и мимолетное замирание горячей щеки, которого она теперь ждала, боясь только одного: вдруг почудилось, вдруг этого не было?

Одно касание, но такой бездонной нежности, о которой Прекрасная Леонелла не подозревала, что она существует на свете. Чудо, которое хотелось спрятать от всех и баюкать, как девочка баюкает любимую куклу. Или как прекрасная фраза на чужом языке, которую хочется повторять снова и снова.

Танго изнывало, выматывало душу, и хотелось одного: чтобы оно не кончалось.

Чтобы только не кончалось танго.

Только бы не кончался год.

...не кончалось время.

Этой встрече предшествовала еще одна, когда следователь Громов специально посетил квартиру № 12, — для

уточнения, как он выразился, некоторых обстоятельств по делу трубочиста-вредителя.

Дом продолжало лихорадить, но уже по другой причине: никого больше не вызывали на улицу Карла, как его... одним словом, где допрашивают. Дом был настороже, но крышу и балконы обыскивать перестали. Все выглядело так, будто интерес к делу как-то притупился, что ли. Оставалось только гадать, как сложилась судьба *трубочистного мастера* Каспара, умельца и весельчака, приносящего удачу, и фаворита всех кухарок.

Посещение запомнилось — очень уж оно было непонятное. Следователь пришел один, держался напряженно и, как показалось Леонелле, неуверенно, хотя то и дело хмурил ровные шнурки бровей. Рот у него был решительно сжат, но верхняя губа, припухшая, как от укуса пчелы, придавала лицу какое-то детское выражение. Сколько ему, лет тридцать пять? Следователь оторвался от бумаг, поднял голову, отчего стали видны темные, словно трубочист мазнул, полукружья под глазами, и сразу постарел лет на десять. Он часто поправлял волосы, отводя со лба темно-русые рассыпающиеся пряди. Леонелла заметила желтое пятно на среднем пальце и придвинула пепельницу:

— Курите, пожалуйста.

Взглянул с признательностью и достал портсигар. Когда курил, старательно выдыхал дым в сторону, сощуривая глаза.

В десяти случаях из десяти Леонелла предложила бы гостю чашечку кофе, да только это был случай номер одиннадцать, ибо гость был не гостем вовсе, а *казенным человеком*. Если б не бумаги, так и присесть бы не пригласила. Как буд-

то эти нуждаются в приглашении, спохватилась она; в любую квартиру вваливаются и делают что хотят. Зачем он опять явился?..

Следователь докурил, оторвал взгляд от портрета и спросил:

— Отопление работает?

Не дожидаясь ответа, подошел к батарее, потрогал рукой; кивнул и посмотрел хозяйке прямо в глаза:

— Теплые. А зачем вам печка?

Почему я решила, что у него карие глаза, удивилась она; совсем не карие — зеленые.

— Печка? — переспросила. — Чтобы тепло было, когда батареи не работают. Иначе я мерзну.

Запахнула плотнее воротник платья, даже на глаз уютный и мягкий; а слова «кашемир» следователь все равно не знал.

Несуразный разговор о печке иссяк. Громов медленно закрутил колпачок авторучки.

— Вы очень хорошо говорите по-русски, — и добавил поспешно: — это не для протокола, мне просто... Вот я вашего языка не знаю, — улыбнулся виновато, — а жалко...

— Для чего вам наш язык?

То, что недоговорила — *вы ведь не навсегда сюда пришли* — отпечаталось в снисходительной, нечаянно высокомерной улыбке, но собеседник не заметил. Закурил, помахал спичкой и продолжал:

— Красивый язык! Я бы хотел выучить, да и для работы... Надо бы учителя найти, только где время взять?..

Он так долго затягивал ремешки планшета, что опять вернулась зряшная мысль о кофе. Наконец встал. Преж-

ним — *казенным* — голосом попросил извинения за беспокойство; в дверях гостиной обернулся, посмотрел на нее, потом на портрет — и вышел.

Сколько раз — но уже позднее, потом, — Леонелла вспоминала об этой не выпитой — не предложенной — чашечке кофе и мысленно возвращала в комнату усталого худого человека, ставила блестящий звонкий поднос с кофейным сервизом (тот, с темно-синей и золотой полоской) и даже зажмурилась, явственно представляя аромат свежего кофе. И щипчики на подносе, щипчики для сахара...

...Дверь закрылась. Она медленно вернулась в гостиную, где пахло табачным дымом, прислонилась к теплomu кафелю печки, но долго не могла согреться.

Нелепый день потащил за собой другие, одинаковые и бессмысленные, дни с одной-единственной, как выяснилось, целью: чтобы ветреным ноябрьским вечером Леонелла оказалась на чужом празднике и танцевала танго с *казенным* человеком, советским офицером. Ветер за окнами подвывал джаз-банду. Пианист в последний раз торопливо пересчитал пальцами клавиши и подбил итог торжествующим аккордом. Танго замерло. Зашаркали подошвы, зазвучали голоса и смех. Саксофон устало мостился в бархатное ложе футляра. Скрипач привычно потирал пятно на щеке — пятно, по которому скрипачи узнают друг друга в любой точке мира. Из коридора потянуло холодом и табачным дымом. Что-то щелкнуло наверху, под самым потолком, и яркий праздничный свет сменился обыкновенным и тусклым, как в трамвае.

Набросив мантию, «товарищ артистка» села в ожидавший автомобиль. Бал кончился; а то, что началось, названия не имело — особенно, если думать на разных языках.

Как бы ни назвать, легко ошибиться. Страсть? Любовь? Жажда? Дом и не пытался подобрать определение, ему достаточно было любоваться отражением Леонеллы в зеркале вестибюля и слышать быстрые, летящие шаги.

Роман носил сбивающее окружающих с толку название *частных уроков* и был скрыт от посторонних глаз, тем более что в такой ситуации все глаза — посторонние. Особенно для следователя, хотя его семья жила в Москве. А сотрудники зачем? Непонятно, кого следовало опасаться больше. Вернее, понятно, и для Леонеллы это не было секретом. Уже пошел слухок, переглядывания и двусмысленные ухмылки (весьма, впрочем, одобрительного характера), но Костя Громов не обращал на них внимания. Под рукой была книжка «Марта идет в школу», обернутая в газетную бумагу, а сам он продолжал выписывать столбиком новые слова (домашнее задание) и нетерпеливо смотрел на часы — ждал урока.

Автомобиль уносил их на взморье, где стояли мертвые пустые дачи — брошенные или отнятые, необитаемые в ноябрьский волчий холод. Иногда в каком-нибудь из домов мелькал неровный свет, из трубы воровато выползал дым — война есть война, даже если досюда она не докатилась, и чем больше нашивок носил на рукаве хозяин пронесившейся машины, редко разъезжавший в одиночестве, тем более непроницаемым выглядело лицо шофера за стеклом. Такими же непроницаемыми были лица у Леонеллы и Громова — оба твердо были уверены, что их пребывание здесь никто не вправе назвать двусмысленным. По взаимному негласному уговору они не упоминали о Роберте и Костиной

жене, смутно и безошибочно ощущая, что назвать тех двоих означает предать их дважды.

...В печке разгорался огонь, и чужой прирученный дом послушно нагревался. Переходя из одной темной комнаты в другую, они часто одновременно останавливались и замирали так же, как в танго, когда щека мимолетно касалась щеки, но теперь можно было продлить волшебное касание и слушать стук сердца. Если мимо проезжала машина, то окна дачного дома — мозаика разноцветных стеклянных квадратиков — превращали их в арлекинов; потом темнота снова укрывала, как одеялом. То, что не имело названия — врожденная неразделимость целого, рассеченная неведомой волей и вновь соединенная страшным временем, — люди привыкли называть любовью, словно половинки разрезанного яблока знают слово «любовь». Человеческий язык не все умеет назвать. Как описать магию прикосновения и *одноприродность* ощущений, не вернувшись к половинкам рассеченного яблока? Это, в свою очередь, вызовет в памяти Эдем, и тоже не случайно: на исходе 1940 года от Рождества Христова два человека открыли для себя то, что было известно Адаму и Еве: в любимом теле нет ничего запретного или стыдного, оно бесконечно желанно... У них не было только будущего, и это обостряло сиюминутность откровения — тем более что ни в одном из двух языков не находилось слова для этой бесконечной изнурительной нежности...

По-прежнему говорили друг другу «вы», и это помогло вернуться к реальности, то есть к занятиям. На службе Костю спрашивали, за каким чертом он взялся учить этот язык — говорят, будто полный рот сгущенки набрали. Ис-

тинную причину он никому, конечно, объяснять не стал, а для начальства придумал отговорку: «в интересах следствия». Заниматься начал на следующий день после судьбоносного танго — и взялся всерьез: искренне радовался, находя слова, похожие на русские, а неизвестные выписывал в тетрадку и повторял на уроке, стараясь правильно выговаривать.

В безветренные вечера они гуляли по пляжу. В темноте море дышало холодом, волн не было слышно. Ноги ступали по твердому, рифленому от ветра, песку. Костя хотел сказать, что волосы Леонеллы, волнистый песок и сами волны — все это называется ее именем: Леонелла, но не умел; легче было повторять вслух слова чужого языка. Тяжелее всего давались долгие гласные, меняющие смысл слов, и действующие с ними заодно мягкие согласные, поэтому он, как ни старался, путал козу и свадьбу, клюкву и журавля; лестницу называл кладбищем, а растительное масло — преисподней.

Бывало так, что звонил по телефону и отменял урок: служебные дела, пояснял кратко, и даже по голосу становилось понятно, что круги у него под глазами потемнели еще сильнее. Служебные дела, для которых уроки языка были так же необходимы, как козе свадьба, наваливались внезапно и вычеркивали акварельные вечера на взморье густыми черными мазками, однако о них тоже никогда не говорилось. Вместе с тем, как все на свете связано, так и журавль навсегда соединился в сознании следователя Громова с клюквой — хотя бы на основании прописки в одном и том же болоте; и ступеньки нередко вели к кладбищу, и преисподняя была немыслима без масла. Несмотря на то, что на работе он запрещал себе думать о постороннем, оно часто оказывалось

сильнее, и главное было — ни с кем не встречаться глазами, когда в нем начинало звучать его новое имя: «Косточка!».

Леонелла по-прежнему вставала поздно. Во время завтрака листала записную книжечку, готовясь занять день до вечера. Парикмахер. Встреча с пионерами (она подавила зевок и налила вторую чашку кофе). Придется немножко поскучать — голенастые хриплые пионеры в красных галстуках были ей не более интересны, чем такие же голенастые скауты в синих галстуках. Куда, кстати, подевались скауты?.. Репетиция рождественского... Нет, не рождественского — новогоднего концерта. Как у *них* странно: Новый год празднуют, а Рождество — как корова языком слизнула, точно и не было никогда.

В глубине квартиры мелькнуло личико Мариты, неизменно почему-то испуганное, а из зеркала смотрело ее собственное лицо — молодое, веселое, дерзкое.

Роберта в это время дома теперь не было — он неожиданно обрел работу. Этому предшествовали ежедневные очереди на бирже труда. Он привык к регулярным отказам, привык понуро возвращаться домой окольными переулками — лишь бы подальше и подольше, — как вдруг его упорство было вознаграждено, и чиновник глянул на него с каким-то новым острым интересом. Ему на руки была выдана шершавая бумажка с нечитаемым треугольным штампом и пятиконечной звездой, к масонам, однако же, отношения не имеющая ни малейшего, потому как, несмотря на свою шершавость, обладала необычайной силой воздействия: через несколько дней изумленный товарищ Эгле уже

сидел в просторном кабинете, дверь которого украшала табличка с его именем и должностным статусом. Если закрыть глаза и потрясти головой, то на минуту может показаться, что ничего не изменилось, ибо он и прежде был консультантом по сельскохозяйственным вопросам, только теперь призван консультировать аналогичный комитет, но совсем при другом — новом — правительстве...

А теперь нужно каждое утро спешить на службу и в непроходящем состоянии ошеломленности составлять «Проект об экономических показателях молочного хозяйства».

Лихорадка недоверия к происходящему сменилась эйфорией, а когда улетучилась эйфория, Роберт достал не очень пыльную папку с докладом для канувшего в небытие правительства, бегло перелистал и потребовал новейшие сведения; в ожидании таковых начал переписывать доклад заново.

Пошел снег. Близилось Рождество, и на многих дверях в городе появились традиционные венки, сплетенные из хвойных веток.

Раньше всех утром по лестнице спускался учитель — до Французского лица путь неблизкий. Вскоре после него выходил доктор Бергман. Держа одной рукой полуоткрытую дверь, он всегда чуть мешкал, прощаясь с собакой, которая провожала его до порога. Роберт открывает дверь с привычной осторожностью и так тихо захлопывает, что щелчка почти не слышно. Зато одновременно распаивается дверь напротив, из которой, споткнувшись о коврик, вываливается, как кукла из коробки, сосед-нотариус, и чудом не падает. Спускаются вместе, вполголоса разговаривая о самом безопасном предмете — переменчивой погоде.

Не идет, а сбегает такими же легкими шагами, как и десять лет назад, дантист. Он и внешне мало изменился, разве что несколько посolidнел фигурой, как многие благополучно женатые мужчины, да наметился просвет в волосах. Однако походка по-прежнему легка — дело не в возрасте, а в жизненном тоне. В достатке и в самые лучшие времена не принято признаваться, а сейчас просто неприлично. Доктор Ганич и прежде охотно скупал золото для коронок, но люди не спешили с ним расставаться, а теперь... На лестничной площадке он разминулся с военным, чье лицо показалось откуда-то знакомым; дантист машинально кивнул. Только в конце дня, поймав обрывок разговора в приемной, где мелькнуло слово «обыск», он вспомнил дождливый вечер, переполох на лестнице и этого худощавого офицера. Вспомнил — и тут же забыл, как заставлял себя забыть — или почти забыть — о многом, даже о зарытом в кучу угля отцовском пистолете, потому что в кресле ждала пациентка, нервно постукивая ногой в зимнем ботике. Надо поменьше думать о прошлом, особенно теперь, когда нельзя не думать о грядущих событиях. Например: мальчик или девочка? Странно чувствовать себя будущим отцом, думал доктор Ганич, утрамбовывая очередную пломбу в очередном зубе; ведь во мне ничего не меняется. Другое дело — жена. Внешне еще ничего не заметно, но какая грандиозная ломка идет внутри! Ломка для созидания...

Да, с недавних пор Лариса всему предпочитает кислую капусту с клюквой; кухарка уверяет, что будет девочка. Вот если бы госпожу Ларису потянуло на огурчики... Тема волнующая, рассуждать очень увлекательно. Ей не терпится

поделиться секретом с подругой, и она приглашает Ирму выпить... какао. «Доктор говорит, что кофе сейчас вреден», а Ирма слушает не очень внимательно, точно все равно, что пить. Приходится повторить фразу про вредность кофе. «С каких это пор?» — звучит долгожданный вопрос, и беседа принимает нужное направление.

Дом любил час утреннего затишья, когда оставались одни женщины и в каждой квартире слышны были негромкие голоса, позвякивание чашек, звук льющейся из крана воды. Снизу летит звонкий стук топора и такой аппетитный хруст раскалываемых поленьев, что хочется щелкать орехи. Колет цыган Мануйла, а дворник собирает колотые дрова и скручивает веревкой в вязанки. Мануйла подхватывает из кучи шершавый обрубок, ставит его на колоду и не примериваясь опускает топор. Полено легко распадается на две половинки. Мануйла смотрит оценивающим портновским взглядом, властно берет полено за сучок, опять ставит и, придерживая левой рукой, опускает — как отпускает на волю — топор. Он совсем не устал, только разругался, даже потемнело уродливое пятно на смуглой покрасневшей щеке. Наблюдать за цыганом одно удовольствие, которое никто не упускает: замершие фигуры за кухонными окнами похожи на половинки игральных карт, только вместо цветка у дамы в руке ложка...

Заскрипел снег под ногами — радость детишек, проклятье дворников.

Дом любил зимние звуки и запахи. Он просыпался вместе с дядюшкой Яном и слушал равномерное шорканье его

лопаты. На полоске тротуара появляются широкие темные полосы, вдоль мостовой вырастают горки снега, а дворник топает у черного хода, отряхивая валенки. Скоро запахнет дымом, и в печках начнут щелкать и постреливать поленья, так аппетитно хрустевшие под топором Мануйлы.

Рядом, во дворе доходного дома, есть горка. Там свой, хоть и маленький, Вавилон. Главенствуют, конечно, хозяйева двора, а общепризнанный начальник горки — Фелек-второгодник, который может без церемоний прогнать чужака. Мальчики из двадцать первого дома таковыми не считаются — они милостиво допущены Фелеком на горку и уж, конечно, не потому, что приводит их гувернантка или Ирма с Ларисой. Дети горбатого Ицика приходят без гувернантки, сами по себе, и старший мальчик тащит большие тяжелые санки, где умещается все потомство Ицика: то ли четверо, то ли даже шестеро ребятишек. Фелек хмуро наблюдает за ними, раздумывая: не прогнать ли? Практические соображения одерживают верх — у хозяина горки своих санок нет... Он бомбардирует ближайший сугроб длинными плевками, потом препирается о чем-то со старшим. Тот кивает, и счастливый Фелек, улегшись животом на обретенные сани — это слово им больше подходит, — несется вниз — не по снегу, а по коварной ледовой полосе, подкатывает на огромной скорости прямо к двери домкома и умелым рывком тормозит с разворотом в снежном вихре. Наследники Ицика рассыпались, как горошек из стручка, наверху, около сараев, в компании таких же круглых укутанных разнокалиберных детишек, и лепят снежную бабу — свой, совсем уже миниатюрный Вавилон, но лепят самозабвенно. Куцый зимний день спешит закуклиться, и в сером холодном свете

все Янки, Йоськи, Фелеки и Варьки выглядят совсем одинаково.

Вечера похожи один на другой, как бочонки лото, которые по очереди вынимают из мешочка учитель Шихов с женой. На столе остатки праздничного ужина и бутылка с мадерой; у Тамары рюмка не допита, но лицо горит, словно обветренное. Она берет конверт и в который раз рассматривает почтовый штемпель. UPPSALA; точно кто-то икнул. На марке изображен замок с острыми башнями. «Мы с Эгилом поженились, — пишет Ася, — тут очень красиво, почти как у нас. Родители передают вам привет. А язык похож на немецкий». Шиховы гордо заключают, что неизвестным родителям неизвестного Эгила их дочка понравилась. В честь этого (а точнее, в ознаменование письма) и празднуют. Там же, в кладовке, где ждала своего часа мадера, пылилась с бог знает каких времен коробка с лото. Жена стерла пыль, открыла. На крышке изнутри было написано: «Ты дура», а рядом оранжевым карандашом почему-то нарисовано сердце. Авторство уже не установить; Шиховы сидели, играли в лото и смеялись, как в давние времена.

За плотно задернутыми шторами стоит жесткая холодная темнота. Ночной патруль медленно обходит город, слегка замедляя шаги там, где падает свет от редких фонарей. Кто-то закуривает. Молоденький солдат прячет пальцы в рукава шинели и кивает на хвойный венок на воротах: помер кто-то. Ему объясняют снисходительно, что никто не помер вовсе, а у них так всегда на Новый год, вроде как Рождество. Хорошо, что ветер в спину. Дует он с нешуточной силой,

словно хочет выгнать чужих солдат, да не только солдат, но и страшный год, который они принесли; гонит вместе с самим годом туда, в конец декабря.

На фоне долгожданного Рождества, с праздничной толчеей на улицах, елочными базарами и радостным колокольным звоном Новый год наступает как-то незаметно. Несмотря на упорные слухи, что рождественскую ярмарку запретят, она все же открылась, хотя прилавки не по-праздничному пустоваты и скудны. Такая же метаморфоза произошла с годом: опали круглые бока последней цифры — ноль втянул живот, усох и превратился в единицу.

Может быть, от этого и *пфефферкухен* несколько суховаты и не такие ароматные; а все равно вкусно! Некурящий солдатик из ночного патруля достает из кармана печенье и откусывает. «Сухарь?» — интересуется напарник. «Не-а, — отвечает тот с полным ртом, — пряники ихние. На ярмарке купил». Теперь жуют оба. Второй в недоумении округляет глаза: «Они что, перец туда кладут? Аж язык жжет!..» — и закуривает.

Для борьбы с религиозными настроениями (а попросту говоря, с Рождеством) было выпущено несколько партийных директив, направленных на противостояние этим самым настроениям. В течение двух недель, от западного Рождества до русского, в библиотеках запланированы интереснейшие читательские конференции об армянском эпосе «Давид Сасунский» и «500 лет со дня рождения Алишера Навои», что должно было вызвать бурный интерес к литературе братских республик. Афиши сообщали о новых фильмах: «Петр Первый», «Щорс», «Истребители». В клубах проводи-

лись встречи с бывшими политзаключенными. Комсомольцев обязали раздавать верующим в церквях «Спутник агитатора», а на фабриках каждый член ячейки должен был вести разъяснительную работу среди несознательных.

Однако эти полезные мероприятия либо игнорировались, либо встречены были молчаливым протестом населения — главным образом потому, что трудящиеся массы — как сознательные, так и несознательные — отродясь в этих краях не работали в Рождество, и никакие директивы не помогли. Пустовали библиотеки — ни гениальный узбекский поэт, ни герой древней Армении не привлекли читательские массы. Несмотря на пригласительную надпись: «Вход свободный», на встречу с бывшими политзаключенными тоже не спешили: вход-то свободный, а как там пойдет встреча, еще не известно; да и о чем говорить с недавними арестантами! Многие, впрочем, останавливались, привлеченные названием: «Призрак бродит по Европе», но прочитав пояснение мелкокалиберным шрифтом, что это лекция о мировом коммунистическом движении, а не новое кино, разочарованно отходили.

Это было не сопротивление, а молчаливое упрямство, помноженное на равнодушие к чужому. Спокойное достоинство людей, проживших целых двадцать лет без починов, индустриализации, пятилетних планов, гонок и чисток, больших и малых, — а стало быть, не понимавших ровным счетом ничего, — раздражало новую власть, которая уже и не была новой, но продолжала набирать разгон и силу.

После Нового года Громов то и дело отменяет уроки. Поездки на взморье прекратились — и не из-за снегопадов

даже, а просто он поселился в одном из особняков Кайзервальда, благо особняков этих стало предостаточно, когда участились аресты «буржуазных элементов».

Чужой этот дом стоял неподалеку от озера, сейчас полностью скрытого под снегом. Занесен был и сад, и крыльцо, однако дверь оказалась не заперта. Косте показалось, что в доме холоднее, чем снаружи, но поразил его не холод, а белый рояль посреди гостиной, раскрытый и с поднятой крышкой — то ли маленький аэроплан, то ли гигантское насекомое. Комната выглядела не так, как гостиная Леонеллы, но Громов сразу же представил ее хозяйкой этого дома. Под креслом-качалкой валялась дохлая мышь. Костя носком сапога отбросил дрянной комочек, и в воздух взлетела, слышно упав под рояль, дамская перчатка.

Когда приехала Леонелла, дом был чисто убран и почти прогрелся. Теперь из-за громовской работы они виделись не часто. Возвращаться домой только для того, чтобы ждать телефонного звонка, не имело смысла, и Леонелла тоже стала брать уроки: занялась вокалом. Ее голоса — не сильного, но приятного — хватало на популярные народные песенки. Пожилая оперная певица учила ее извлекать максимальные возможности из незначительного достояния, и делала это со всей пылкостью человека, которому нечего есть вследствие «буржуазного происхождения». Новая ученица, случалось, пропускала уроки, но платила исправно.

Уроки пения пришлось как нельзя кстати — о них можно было рассказывать дома. Не потому, что интересный предмет, а чтобы не молчать: с Робертом стало не о чем говорить. По вечерам он сам встречал Леонеллу в прихожей,

снимал шубку, пахнущую морозом, духами и табачным дымом. Говорила в основном жена, а он изредка вставлял однообразные реплики и улыбался какой-то извиняющейся улыбкой.

— Вообрази: руку вот сюда, — Леонелла прижимала ладонь к диафрагме, — потом говорит: вдохните. Я вдыхаю, но, оказывается, неправильно, надо совсем не так...

Муж смотрел с той же виноватой улыбкой, как она пьет молоко, и слушал о незнакомой ему даме («она пела в “Травиате”, в “Кармен”... еще много где»), о белом рояле посреди гостиной, и что до Дня Красной Армии меньше недели, поэтому репетиции каждый день. Потом с утомленным зевком отставляла чашку и желала мужу доброй ночи так же непринужденно и приветливо, как если бы это был сосед.

Их соседа, бывшего лейтенанта бывшей Национальной Гвардии, несколько раз вызывали в строгое учреждение на улице какого-то из Карлов, бывшей Столбовой. Называлось это *собеседованием* и являлось ханжеским псевдонимом допроса. Бруно Строд привык носить гражданскую одежду, но походку изменить не смог, как не смог или не счит нужным что-то изменить в анкете. Вызывали его несколько раз, причем последнее «собеседование» затянулось на четыре месяца. Он вернулся домой, одетый слишком легко для зимы, и совсем не военной походкой. Левая нога слушалась очень плохо, и дом не сразу узнал бравого офицера. Держась за перила, чего раньше никогда не делал, он дотащил себя до пятого этажа — ни одна дверь, к счастью, не открылась, — и позвонил в квартиру. В передней жестом остановил Ирму, бережно снял шляпу, открыв заплывший желтым висок и со-

чащеется ухо, и прислонился к стене. Все неопишуемые четыре месяца, допросы, ответ лампы на бритой голове следователя, собственная подпись в низу каждой страницы — все это начало извергаться из него страшными, уродливыми мужскими рыданиями.

...Кто-то позвонил в дверь. Доктор Бергман бесшумно опустил вилку. Пес чуть приподнял массивную голову, но тревоги не выказал. Звонок повторился, и доктор встал.

— Вы?

Нотариус был без пальто, а в руках держал газету.

— Если я, — он с яростью воздел газету над головой, — если мне еще раз принесут...

Доктор быстро закрыл входную дверь и начал подталкивать приятеля к гостинной:

— Зайдите же и объясните спокойно... — но Зильбер перебил:

— Спокойно?! Вот это, — он затряс газетой, — разве об этом можно спокойно?.. Вот, читайте, — и ткнул пальцем в рисунок.

На карикатуре веселый мускулистый парень вез тачку с большой лоханью, из которой выглядывали унылые еврейские головы с бородами, пейсами и утрированно-вислыми носами. Чтобы у читателя не оставалось сомнений, головы сидящих были увенчаны традиционными шляпами и ермолками. Бравый пролетарий весело направлялся со своим грузом прямо к помойной яме.

— Завтра же откажусь от подписки, — голос у нотариуса выдохся от усталости, — экая мерзость.

Он швырнул газету на стол.

— Просто неумная шутка, — пожал плечами доктор, — перестаньте убиваться. Люди религиозные такое не читают, а молодые не обратят внимания. Или посмеются.

— Я не знаю, что хуже, — вспыхнул Натан, но доктор перебил:

— Что здесь написано, под этой дрянью? Я не читаю на идиш. Так, два-три слова знаю.

— Вот здесь, — нотариус ткнул пальцем, — они пишут: «Зададим хорошую баню!» А на бочке написано: «миква». Все понятно?..

Тот кивнул.

Они молча сидели перед горячей печкой, но думали о разном. Принадлежность к евреям доктора не тяготила — он попросту ее не ощущал, но сейчас внезапно вспомнилось измерение черепа, вычитанное из другой газеты; как же давно это было, давно и не здесь, а в Германии. Неужто просочилось?.. Он пристально взгляделся в рисунок. Н-да, пропорции соответствуют, ничего не скажешь. Огуречные головы евреев наглядно демонстрировали вырождение. Или там не умеют рисовать, или у меня паранойя. Но по вскипающей ярости понял: нет, не паранойя. Докатилось. Доползло. Мерить, может, и не будут, но что-то меняется.

Нотариус, склонив унылый овечий профиль, курил, смотрел в окно на темный февральский сумрак и думал, как хорошо было бы вернуться назад, в морозный декабрь — или еще раньше, в детство, и с ним — в любимый праздник хануку, когда мама жарила золотистые вкусные латкес, а дед всегда приносил ему самую новую монетку. Подумал, что больше помнить об этом некому: других действующих лиц уже нет на свете. И хорошо; иначе эта газета попала бы им

на глаза, отец достал бы из футляра очки и сделался бы точь-в-точь как один из сидящих на этой картинке. Мелькнула безнадежная мысль и о том, что ему некому подарить новую монетку — детей, а стало быть, и внуков, он не нажил.

Давно сгорела в печке газетная пакость, и чрево печки очистилось от нее огнем, как от чумы. Почтальон исправно продолжал носить газетные бандероли. Почта сослалась на то, что годовая доставка оплачена; в редакции с разъяренным Зильбером объясняться отказались. Тетушка Лайма оказалась нечаянной свидетельницей громкого разговора с почтальоном. Вечером Ян позвонил в девятую квартиру: если у господина нотариуса имеются ненужные бумаги, то нельзя ли попросить для растопки?.. С этого дня дворничиха скармливала печке газеты с диковинными, похожими на обгоревшие спички, буквами. Частенько выпадали дни, когда требовалось топить дважды — дворничиха располагалась прямо над угольным погребом, отчего зимой там царил промозглый холод, а летом было прохладно, но сыро. Одна стенка была обезображена большим темным пятном плесени. Если постоянно топить, пятно бледнело, но полностью не исчезало, хотя каждое лето дворник чистил и красил стену. В конце концов к этой стене поставили буфет, и тетушка повеселела.

Да-да, и в страшный год — второй по счету — иногда было весело. Вот и господин Зильбер уже не смотрит так возмущенно: с глаз долой, из сердца вон. Печки больше не топят — весна греет не хуже печки, но дворничиха привычно складывает в угол еврейские газеты.

Раздвинуты шторы, и дом с любопытством смотрит, что сделала весна. Между промытыми бульжниками пробивается трава. Серьезный человек в комбинезоне подстригает кусты около приюта. Р-раз! — проехал автомобиль, и помятые травинки упрямо распрямляются. А вот дом слева так и стоит замерший — неужто навсегда? Каждую весну дом наблюдает, как на улицах появляются беременные; где они зимой прятались? Вот и жена дантиста, легка на помине: хоть и в модных туфельках, а идет, как ходят все беременные, вперевалочку. Из парка идет, а голубенькие цветочки на углу купила. Дама из второй квартиры тоже часто возвращалась с букетиком.

Не хочется весной размышлять о грустном, но что делать. Уж на что дантист с четвертого этажа жизнерадостный человек, но где найти силы для оптимизма, когда у тебя только что реквизирован кабинет, а дома жена, на восьмом месяце, ставит в вазу голубые цветочки? С нею такими новостями делиться ни к чему, а с коллегой — в самый раз.

— ...Без предупреждения, в том-то и дело. Иначе я бы хоть часть оборудования вывез. Недавно выписал из Германии... Хоть в девичью поставил бы временно, честное слово. Я и протезы уже стал делать. Клиника в миниатюре, можно сказать. Взял ассистентку; толковая барышня. А как военных увидела — хлоп в обморок: у нее брат в Защитном батальоне служил. Спасибо, секретарша не растерялась. Сунула под мышку регистрационный журнал и — «Прощайте, господин доктор!» Умница: обзвонила всех пациентов.

Макс Бергман не прерывал. Сенбернар, натягивая поводок, неподвижно стоял у большого каштана и смотрел,

как несколько кобелей носились вокруг невзрачной пегой собачонки. Та сначала затравленно озиралась, словно не была уверена в целях собачьего хора, а потом равнодушно уселась на траву и с наслаждением начала чесаться, быстро-быстро теребя лапой за ухом. Оба эскулапа стали невольными зрителями собачьей жизни. Сенбернар по-прежнему стоял не двигаясь, и только хвост нещадно лупил по бокам, выдавая его волнение. Наклонив тяжелую голову, словно готовился бодаться, пес начал возбужденно рыть лапой землю. Остановился и долго нюхал ствол, потом отвернулся — так откладывают скучный журнал, — и потрусил к хозяину.

— Так оборудование, вы говорите, оставили? — Бергман ласково потрепал его по массивной голове. — Это хорошо.

Пегая шавка взвизгнула, прорвала цепь поклонников и бросилась к дереву; на сенбернара она не смотрела.

— Сидеть, — негромко сказал хозяин.

Пес покосился, но не двинулся с места, только хвост еще быстрее заходил из стороны в сторону. Собачонка деликатно присела на несколько секунд; когда вскочила, к ней опять кинулись ухажеры. Доктор похлопал сенбернара по бычьей шее и отстегнул поводок с напутствием:

— Марш; дама заждалась. Только быстро!..

При виде сенбернара цепочка кобелей с визгом распалась и исчезла за кустами.

Бергман вытащил портсигар:

— Ваш кабинет сейчас — вот как эта собачонка: хотят все, а подход знает только один.

Он затянулся душистой папиросой и продолжал, не замечая вытянувшегося лица собеседника:

— Первым делом — профсоюз, а там видно будет. Кстати, кто курирует вашу жену?..

При всей циничности сравнения доктор Бергман оказался прав. Помогла традиционная коллегиальность врачебного цеха, и Лариса доживала последние недели, когда новоиспеченный член профсоюза медицинских работников товарищ Ганич был назначен врачом в собственный кабинет. Строго говоря, и не кабинет уже, а зубоврачебную клинику, и уж, конечно, не его собственную, а перешедшую в собственность государства.

Странное чувство он испытал перед опечатанной дверью, задумавшись о непостижимом времени, когда вот эти затвердевшие плоские плевки сургуча охраняют его от вторжения в собственный кабинет надежней, чем патентованные замки. Никто за это время не пытался проникнуть сюда — сургуч, как Соломонова печать, уберет и дорогую зубоврачебную технику, и добротные кожаные кресла приемной. Местный управдом сверил предъявленную бумагу с профсоюзным билетом: «Вы и будете товарищ Ганич? Ну, располагайтесь», — и потянул за печати. Сургуч рассыпался коричневыми крошками, но веревка осталась висеть. «Дерни за веревочку — дверь и откроется», весело подумал доктор и, ухватив лохматую петлю маленькой, почти женской рукой, выдернул ее одним рывком, как гнилой зуб.

В воскресенье у гувернантки был выходной, Лариса уютно ленилась в кресле у балкона, а доктор Ганич с сынишкой гуляли по летнему городу. Обычно в это время они были

уже на взморье, но в этом году из-за суеты с кабинетом дачу снять не успели.

— Я хочу еще малинового, — Юлик быстро, пока отец не сделал замечания, втянул растаявшую жижицу мороженого.

— А кто обедать будет? — доктор пытался быть строгим.

— Ну последний шарик, папа! И я не хлюпал, да?

— Ладно, — с удовольствием сдался отец, — последний.

Решай: малиновый или шоколадный?

Любовь к мороженому кончается с детством, подумал доктор. Я тоже так хлюпал. Теперь люблю смотреть, как он ест мороженое. А скоро их будет двое: две вазочки с мороженым, две рожницы, две салфетки...

— Папа. Ну пап!

— Да, сынок?

— Малиновый.

Маленькая ладошка чуть-чуть липла. Когда они дошли до второго этажа, мальчик спросил:

— Кто там живет, папа?

«Жил», хотел поправить отец, но сказал иначе:

— Никто не живет. Пустые квартиры.

Такие же сургучные блямбы висели на бывшей квартире Гортынского (говорили, что он князь), и на двери их площадки, где жил старенький господин с невыговариваемой фамилией.

— Эрик говорит, что там живут призраки, — мальчик показал пальцем наверх, то ли напоминая о товарище, то ли из уважения к призракам. — А я не боюсь призраков. Вот подними меня — я дерну за эти штуки!.. Ты сердисься, папа?

— Пойдем скорее, мама ждет.

Да, доктор Ганич сердился. Сердился за то, что пробегал каждое утро мимо — раз, два... — мимо четырех сургучных клякс, не обращая на них внимания. И по-настоящему злился при недавнем воспоминании, как яростно сорвал такую же печать. Четыре человека сгнули — четверых *припечатали* — а я... а мы... Да много ли мы знаем друг о друге?!

Почти ничего — взять хотя бы семью учителя. Раньше, например, дочери всюду появлялись вдвоем, а теперь поодиночке. Дом сообразил намного быстрее дантиста, что близнецов больше нет, из двух сестер осталась одна — он различал девушек по голосам. Дом всегда дома, в отличие от жильцов...

Бруно Строд, бывший офицер, часто курил на балконе. Он тоже заметил, что сестры перестали ходить вместе, но нашел вполне резонное объяснение: одну барышню каждый вечер провожает кавалер. Естественно, что вторая ретировалась. Какая из сестер принимала ухаживания, Аня или Ася, он не задумывался, если вообще знал их имена.

Никто не заметил, когда исчезла вторая дочка, а учитель с женой превратились в пожилую пару, которых так любят авторы романов — для того только, чтобы заполнить их появлением вынужденные пустоты и добродушно посмеяться над ними вместе с читателем. Для этого достаточно придать им несколько анекдотичную внешность, нарядить во что-то нелепое и заставить изречь несколько благоглупостей.

Шиховы категорически не вписывались в романый шаблон. Тамара одевалась с прежней элгантностью, поскольку ничего нового купить было невозможно, да и не нужно. Возраст примирил ее со стремительно несущейся вперед модой, а безукоризненно подобранные дорогие вещи были рассчитаны надолго. Андрей Ильич с некоторых пор стал носить бородку — точь-в-точь как его прежний сосед князь Гортынский — и если раньше морщины вокруг губ делали его старше, то теперь аккуратная бородка с легкой сединой достойно соответствовала его сорока пяти годам.

Они часто отлучались из дому. Не в кино и не к друзьям, а по одному и тому же маршруту: на другой конец города, к отцу Андрея, который не только был его отцом, но и другом обоих. Когда-то Тамара, любимая ученица старого ботаника, была приглашена посмотреть редкую коллекцию горной флоры. «*Leontopodium, эдельвейс благородный*», прочла она.

— Цветок влюбленных, — дополнил надпись профессор.

Девушка недоверчиво рассматривала белую матовую звездочку. Снаружи слышались громкие шаги, дверь распахнулась —

— Совсем другой вид: это мой вертопрах, будущий адвокат, — профессор ласково улыбнулся. — К моим коллекциям он, увы, равнодушен.

Однако будущий адвокат тоже наклонился над застеленным ящиком, внимательно вглядываясь в отражение блестящих глаз, белого воротничка и маленького, плотно сжатого рта.

...Шиховы всегда жили очень замкнуто — не по нелюдимости характеров, а из-за самодостаточности друг другом, которая редко выдерживает испытание временем.

Получив известие от младшей дочери, они почти успокоились, тем более что отец Андрея принял новость на редкость невозмутимо, но тут же забеспокоился: «А как же Аня?..»

Старшая дочка возвращалась по вечерам в сопровождении давнего, еще с гимназических времен, приятеля, то приближаемого до друга и наперсника, то отталкиваемого, с категорическим запретом не только появляться, но и звонить по телефону. Эрнст был терпелив, послушно переносил все причуды возлюбленной, как переносят явления природы. Ни Тамара, ни Андрей Ильич не вмешивались в сердечные дела дочерей, хотя оба сочувствовали «подружке», как они называли Эрнста.

Этой весной провозаания подошли к концу, потому что пастор обвенчал фройляйн *Анна Schikhoff* с трепещущим от радости Эрнстом Крюгером, а в конце марта Шиховы, пожилые как никогда, стояли в порту, провозая последний пароход с немецкими репатриантами. От ветра слезились глаза. Сердце ныло от тоски и съеживалось от непонятного страха: зачем здесь так много солдат?..

Теперь они ждали почтальона с удвоенным нетерпением. Когда пришла открытка из портового города Данцига, дышать стало немного легче, хотя в лото играть не садились, да и некогда стало: начал прихварывать старый профессор.

Весна перетекла в лето, бывший офицер подолгу сидел на балконе, но едва ли он заметил исчезновение барышни Шиховой. В самом деле, что мы знаем друг о друге?..

В вазе на белом рояле стояла белая сирень — Леонелла выбрала самые пышные ветки. За окном, в саду, росла

аметистово-лиловая, с крупными, набухшими цветками. Стоя перед зеркалом, Леонелла окунула лицо в ароматную кипячень — точь-в-точь, как Лоретта Юнг в фильме «Тайный брак», она еще потом поднимала на любовника сияющие от счастья глаза.

Костя начал какой-то нелепый разговор и почему-то не в доме, а на берегу озера; она так и вышла, с букетом в руках. Сирень очень подходила к кремовому платью. Когда он несколько раз повторил фразу про «всякий случай», стало тревожно, а главное — непонятно. Нужно было для чего-то писать письма — нет, лучше открытки, простые открытки — сразу повсюду. «До востребования».

— Кому?

— Мне, на мое имя. На всякий случай.

Очень медленно и четко, не сбиваясь, объяснил, что его могут в любой момент «отозвать» или «перевести». Нет, он сам не знает, куда.

— Когда угодно. Может быть, завтра. Или через неделю. Ничего не известно.

— Смотрите: я нашла «счастье»! Это вам. Его надо съесть.

Костя обхватил ее руки, сжимающие букет, и негромко повторил:

— Запомни, пожалуйста: город, главпочтамт, до востребования, мне, — впервые перейдя на ты. — Каждый город на карте.

И понес какую-то околесицу, как надо карту линейкой делить на квадратики, а после каждый квадратик зачеркивать...

— Зачем, Косточка?

Так же ровно и негромко Громов ответил:

— Чтобы не потеряться.

Для того и нужен букет, чтобы спрятать лицо в прохладные равнодушные цветы, а потом поднять глаза, полные слез.

Старший следователь Громов действительно не знал, что предстоит именно ему, да и никто толком ничего не знал, однако по многим признакам, которые знакомы опытному военному, понял, что перемены грядут нешуточные. А тут и секретная директива о депортации подошла; подготовка шла вовсю. Некогда было задумываться, почему первая его мысль была не о жене, а об этой женщине, которую и знал-то без году неделю, но всю эту «неделю без году» жил только ею. Кто кидает кости нашей судьбы, определяя ее с точностью бульжника, катящегося по мокрому крыше?.. По справедливости, так Костя Громов должен был Бога молить за *трубочистного мастера* Каспара как-его-там, но это ему и в голову не приходит, и не потому что он атеист, а просто забыл о трубочисте начисто, словно того вовсе не было.

Чтобы как-то унять смятение и сосущую тревогу, Леонелла отпустила такси у вокзала и остаток пути шла пешком. На углу у сквера поравнялась с беременной женой дантиста. Как же она подурнела, бедняжка!

Бедняжка улыбнулась и восхищенно прижала руки к груди: «Боже, что за сирень!»

Когда ты стройна, красива и несешь такой букет, приятно быть великодушной.

— Это мне?! Что вы, что вы... Мне так неудобно!

— Берите, берите. И сразу поставьте в горячую воду!

Лариса ахала, закатывала глаза и зарывалась лицом в пахучие ветки. Нет, ты не Лоретта Юнг.

Из парадного выбежал доктор Ганич, кивнул соседке, потом бережно повел жену под руку, выговаривая за долгую прогулку. Леонелла быстро пошла наверх. На секунду увидела себя такой же: отечной, с развившимися волосами, гигантским брюхом... И как Костя кидается навстречу, обнимает: где ты ходишь так поздно?.. Картинка мелькнула кадром из фильма, которого никто никогда не увидит, и сильно-сильно заколотилось сердце. Нет уж; пусть эта гусыня рождает детей с такими же маленькими, как у ее мужа, ручками. Каждому свое.

— Так прямо и ставить в горячую? — беспокоится на лестничной площадке Лариса.

— Чем горячее, тем лучше, — устало бросает Леонелла.

Дверь открыла Марита и на вопрос о Роберте пролепетала что-то невнятное.

— Включи свет.

Девушка повернула выключатель и протопала на кухню. Ходит, как слон.

Раздражение не ушло, а, наоборот, усилилось при виде мужа. Он стоял, склонившись над картой. Славный июньский день уперся в головоломку из каких-то открыток, разлинованной карты и счастливой беременной с четвертого этажа, а потому грозил кончиться мигренью: в виске уже дергало.

Роберт снял очки и аккуратно сложил карту. Улыбнулся и начал что-то говорить, но в этот момент Марита внесла чашку с горячим молоком. Закатный луч окатил оранжевым светом комнату, сверкнул на кафеле печки и высветил румяное девичье лицо и рельефную фигуру.

— Подожди, — Леонелла прижала пальцем висок, — постой-ка.

Марита остановилась и обреченно повернулась к хозяйке.

— Тебя предупреждали: никаких кавалеров, — негромко заговорила Леонелла, — так или нет?

Девушка кивнула, не сводя глаз с чашки на столе.

— Выметайся. У меня не дом свиданий.

Кухарка сложила руки на груди — точь-в-точь как дантистова жена, — но Леонелла продолжала:

— Или вот что. Собирайся, — она помассировала висок, — и отправляйся к своим, на хутор. Кто там у тебя, тетка?

Испуганно слотнув, девушка кивнула. Леонелла продолжала, не отрывая пальцев от виска:

— Когда избавишься, приезжай обратно. Если нет — через неделю место будет занято.

Марита смотрела не понимая.

— Найдешь бабку какую-нибудь, — объяснила хозяйка сквозь зубы, — вернешься как новенькая. Но если опять собираешься шашни заводить, лучше оставайся в деревне.

— Я никого... У меня... — Марита захлебнулась плачем.

— А это, — Леонелла кивнула на круглящийся живот, — ветром надуло?..

Брезгливо отодвинула нетронутую чашку, словно та имела отношение к происшедшему, и встала.

Роберт тоже поднялся и отчетливо произнес:

— Это мой ребенок.

Вот так рушится мир. Сначала собирается исчезнуть любовник, потом собственный муж делает ребенка служанке.

На Мариту она злилась куда меньше, чем на мужа. Больше всего задевало, с какой легкостью он променял ее, Фею, на деревенскую девку. На прислугу. И где? — В моем доме! Бесила не сама измена, а измена здесь.

С тех пор как Леонелла стала Феей Леонеллой, она цепко держалась за все, что отвоевывала: мой успех, мой муж, мой репертуар, мой дом. Она выбрала Роберта; сам он способен был только благоговейно глазеть и присылать цветы. Эту квартиру тоже выбирала она, и все шло к тому, чтобы купить свой дом не хуже того, с белым роялем, если бы не большевики. Все, что принадлежало ей, Фея держала не выпуская и метила с упорством кошек, которые метят свою территорию, и умела эту территорию расширить — вот как теперь, готовя вокальное выступление. Никогда не обрести только то, на что способна одаренная сиренью соседка да собственная кухарка, никогда; но о том знает лишь одна из деревенских бабок, к которым она посылала Мариту, да и та давным-давно забыла.

А солнце всходит, как ни в чем не бывало, и заливает благодатным светом спальню, будит сонное зеркало, которое тут же вспыхивает и освещает сидящую женщину. Каждому свое, повторяет она. Собрать самое ценное — и в Кайзервальд; появиться, ничего не объясняя, — он поймет. Тот, кто боится потерять, умеет любить. Все, что раньше она знала о любви, — это романы Мориса Декобры; их печатали с продолжением в газете, из номера в номер. Там жена убегает из дому, оставив все драгоценности и торопливую записку.

Леонелла медленно сняла обручальное кольцо. Рука стала голой и словно чужой. Недоуменно сверкнул — как моргнул — бриллиант. Опять надела кольцо и перевела взгляд

на подзеркальный столик. Английский туалетный набор: гребенка, щетка для волос и зеркало, оправленные в серебро, — подарок Роберта. Говорят: не подарок дорог — дорога любовь. Однако любовь обесценивается, в отличие от подарков. Все, что здесь — мой дом. Это и есть самое ценное. Оставить, уйти? И куда — в Кайзервальд? В чужой — она всегда это помнила — дом, с чужим роялем и чужой сиренью?

Рушится мир, но дом стоит на месте. Изящная записная книжечка с золотым обрезом предупредила: пятница, 13-е июня.

Хуже быть не может.

День волшебный, и похоже, что многие бросили вызов суевериям. В Кайзервальде много гуляющих. Леонелла взбегает на крыльцо. Дом пуст. На рояле стоит вчерашний букет. Рядом лежит потрепанная книжка для начального чтения «Марта идет в школу».

Зачем она принесла домой эту книжку, сама не понимала: ни записки, ни единого слова, обращенного к ней, там не было. Сохранился лишь запах крепкого табака да что-то неуловимо родное, отчего люди часто держат дома ненужные, потерявшие смысл вещи.

Отсутствие мужа не удивило, как не удивило опухшее от слез лицо Мариты. Глаза у нее были красные, но сухие. Силоватым голосом спросила, будет ли хозяйка обедать.

— Только бульон.

Теперь осталось задернуть в спальне шторы и лечь. Если зазвонит телефон, она услышит.

Телефон не звонил, и это даже хорошо, потому что сон пришел сразу — и все объяснил! Оказывается, Роберт здесь ни при чем, он просто выгораживал девчонку. Леонелла с Робертом сидят за столиком в кафе и пьют кюммель. И ликер необыкновенно вкусен, и все так чудесно разрешилось, что хочется смеяться. К столику подходит Громов: «Разрешите вас пригласить?». Муж встает и подает Громову руку. Они молча танцуют, и это тоже смешно, а потом Громов приглашает ее. Теперь не смешно, а тревожно: сейчас, сейчас... Его лицо все ближе, звучит музыка, какой раньше она никогда не слышала. Костя ведет ее, огибая столики, и в тот момент, когда щека касается щеки, произносит: «Это мой ребенок».

Оказывается, может быть хуже: вот оно. Сон вдребезги рассыпается от телефонного звонка, длинного и резкого. Звон пропиливает тишину квартиры в самое сонное время, которое римляне называли часом третьей стражи.

Роберт не случайно вспоминает о римлянах, потому что это не телефонный звонок, а дверной, и кого-кого, а стражи здесь предостаточно.

Все тайное становится явным — вот как секретная директива по недремлющему ведомству стала явной и расплодилось множеством одинаковых бумажек под названием «Ордер на обыск и арест». Кто-то позаботился и заполнил ордера именами, одним и тем же способом пометив бывших преступников и стражей закона, монахинь и проституток, офицеров и рядовых, а также бывших фабрикантов, помещиков, домовладельцев, торговцев (не важно, мебелью или укропом), ученых — короче, всех бывших, а заодно и многих будущих, ибо под директиву попадали не

только перечисленные лица, но и члены их семей, независимо от возраста последних. Неполных четыреста лет отделяют ночь 14-го июня от Варфоломеевской, а насколько она гуманней! Ни резни, ни кровопролития, ни пьяных от счастья католиков: списки с фамилиями, ордера, распахнутые двери — сначала квартир, потом вагонов. Не говоря о том, что каждый депортируемый мог взять с собой деньги, драгоценности и багаж — «до ста килограммов», как сообщалось в приказе.

В доме № 21 были помечены три фамилии, как заботливый пастух метит овец: то ли для стрижки, то ли на убой. Помечены были не на доске, нет, хотя вошедшие первым делом сверили свой список с доской, после чего и начался отнюдь не телефонный трезвон.

Офицер удивился не аресту, а дозволенному багажу: предстояло что-то долгое и далекое. Ирма лихорадочно хватывала из шкафа зимние вещи. Сонный Эрик собирал драгоценности: толстый синий карандаш с непонятым заклиниванием «*Goldfaber 871 Germany*», вытисненным на грани, любимый конструктор и раскрашенного деревянного индейца, на днях назначенного, несмотря на отсутствие формы, главным артиллеристом при оловянной пушке чуть больше спичечного коробка.

Неизвестно, почему, но Роберта тоже арест не удивил. Он только досадовал на себя, что ничего не успел объяснить жене, и первым делом взялся укладывать бювар: напишу *оттуда*. Никогда не умел действовать быстро; даже сейчас вопрос задал не он, а Леонелла:

— На каком основании?

Голос товарища артистки прозвучал уверенно и требовательно, и лейтенант подробно, хоть без особого задора, отчеканил:

— Служебная деятельность при буржуазном правительстве, статья 58-я.

— Куда вы отправляете моего мужа?

Ох, как лейтенанту хотелось отбрить дамочку: сами, дескать, увидите — вместе отправим; однако жены в списке не было, он убедился дважды.

— В деревню, — ответил, как требовалось отвечать по инструкции, — в столице таким, как он, делать нечего.

Мечена была и квартира Шиховых — вся семья подлежала аресту, но избежала его по причине отсутствия. Половина семьи, как известно, была вне пределов досягаемости ветвистой 58-й статьи; а Тамара с Андреем уже двое суток не отходили от отца. О том, чтобы оставить его одного, не было и речи.

Дом не был знаком с директором немецкой гимназии, который говорил Андрею Ильичу о мерзости запустения, да и слов таких не знал до прошедшей ночи; а сегодня сам ощутил нечто очень похожее. Стало понятно, чем неосознанно пугал неживой дом слева, где мерзость запустения поселилась давно и прочно, и даже табличка с номером «19» была покрыта ржавчиной, из-под которой едва виднелась сутулая спина девятки.

Ночь была на исходе, но начинающийся день ничего не прояснил. Сколько дом себя помнил, только молочник появлялся в это время на Палисадной улице. Сегодня взбудо-

раженные, растерянные люди, одетые по-дорожному — то ли беженцы, то ли погорельцы — выходили из парадных и останавливались в нерешительности, опуская на тротуар корзинки и чемоданы, словно сами не знали, зачем они оказались на улице в такой час. Деловито сновали военные. В каждом подъезде стояло по два солдата — откуда они взялись? Бодрые милиционеры с повязками на рукавах построили оторопевших людей в колонну. Колонна медленно двинулась в сторону сквера, и возникло откуда-то слово «Сосны», которое люди перебрасывали друг другу, как мячик: дачный поезд всегда останавливается в том предместье.

Начиналась колонна раньше, где-то на соседних улицах, а здесь пополнилась знакомыми издавна лицами. Лица отразились в стеклах первого этажа и промелькнули мимо дома, чтобы остаться в памяти.

Первым шагнул на мостовую Бруно Строд, бывший командир бывшей роты. Ирма крепко держала за руку сынишку. Роберт оглянулся, как оглядывались все уходящие, начиная с жены Лота. Именно о ней подумал Роберт, потому что понял вдруг: соляной столп — не наказание и не метафора, а квинтэссенция ее слез — больно оставлять свой дом. Он поднял глаза на пятый этаж, но в этот момент солнце загло все стекла, ослепив до слез.

Но мы вернемся.

Как удивился бы князь Гортинский, если бы вернулся домой! Вот он берет за латунную ручку и распахивает парадную дверь, с готовностью приподнимает шляпу, здороваясь с тетушкой Лаймой, — в этот момент из-под мышки выскальзывает и чуть не падает газета «Сегодня», и он ло-

вит ее, чуть прижав локтем; зеркало успеваает отразить профиль с бородкой, шляпу, хлопок по газете.

Газета «Сегодня» осталась в далеком вчера: уже год как она прекратила свое существование, не намного опередив своего читателя. А то господин Гортынский уже доставал бы из кармана ключ и только сейчас, подняв глаза, увидел бы на двери печать. Как же не заметил бы он печати этажом ниже, на дверях хозяина и дамы-благотворительницы? Очень просто: смотрел в газету, а ноги послушно вели бы по знакомой лестнице: двенадцать ступенек, поворот, беглый взгляд в окно на каштан во дворе. Теперь князю осталось бы повернуться медленно и ошеломленно, чтобы увидеть сургучные печати на квартире Шихова, а потом вспомнить, что первой была опечатана дверь старого антиквара этажом выше. На пятый он уже не станет подыматься и не посмотрит на квартиру, где жил упрямый офицер с женой и сыном.

Дворничиха заботливо обернула костюм господина Гортынского в старенькую простыню, скрепила английскими булавками и повесила обратно в шкаф.

Ян утрюмо обходил свое хозяйство: двор с двумя рядами сараев, подъезд, запертый пустой гараж (машина сгнула «до выяснения особых обстоятельств» по делу трубочиста-вредителя), угольный погреб. Усмехнулся: закопал тетрадку, как мальчишка. Спалить в печке — и дело с концом; хозяин поймет. Уверенность, что поймет, была так же непоколебима, как то, что он вернется, и приди от господина Мартина какое-нибудь распоряжение по хозяйственной части, дворник ничуть бы не удивился. Только вот печати... что с ними прикажете делать? И как посмотреть людям в глаза, когда они вернутся — вдруг что-то пропало из квартир, пока там

чужие орудовали? В четвертой квартире все вверх дном перевернули: хорошо бы господин учитель не спешил домой — ведь эти могут опять нагряться.

Нет, господин учитель не спешил. У отца почти отнялась левая рука, он часто погружался в сон, и эти погружения на полуслове вселяли страх, что отец не проснется. Андрей не отлучался. Тамара нашла врача, который констатировал небольшой удар, прописал лекарства и предупредил, что весьма вероятен повторный. Помимо этого, рекомендовал медицинскую сестру, «очень ответственную особу».

С тех пор как умерла родами жена, отец Андрея жил один, от всех недомоганий лечился единственным средством: работой, поэтому болезнь застала его врасплох. Видя рядом сына и невестку, радовался: жить в одиночестве можно, умирать — не дай Бог... На плечи Тамары легло хозяйство, магазинные очереди и переговоры с очень ответственной особой; спали по очереди.

Только через неделю она добралась до дому и увидела опечатанную квартиру. Счастливая участь, обретенная столь дорогой ценой, пронзила не радостью, а горечью с привкусом непонятной вины, и на лице отразилось смятение. «А почты вам не было, — продолжала торопливо шептать тетушка Лайма, — я придержу, потом разом и заберете».

Счастливым дом, подумала Тамара и зачем-то обернулась на выписанный золотом номер: сытенскую круглую двойку с головкой, склоненной к лебединой шее, и уверенную носатую единицу следом; счастливый дом. Для нас, поспешно поправились; но ведь мы ни в чем не виновны. В чем обвинили других и куда их отправили, можно было только га-

дать, тем более что о событиях такого свойства люди привыкли говорить иносказательно. Но есть понятия, которые невозможно выразить в завуалированной форме: боль, рождение, смерть...

Отец дремал после укола. Андрей обнял ее за плечи и назвал еще одно слово: война.

Когда радио сообщило о войне, обитатели дома № 21 были заняты своими делами.

Дворник с женой возвращались из костела после воскресной мессы.

Учитель Шихов в ожидании жены то и дело подходил к окну отцовской спальни.

Его жена колебалась, занимать ли очередь в бакалею — очередь была длинной, а раскаты грома обещали дождь.

Младшая дочка Шиховых, Ася, примеряла в магазине новые туфли и никак не умела объяснить продавщице-шведке, что жмут в подъеме.

Аня, ее сестра, ссорилась с мужем, который шел на любые уступки, отчего конфликт грозил затянуться.

Доктор Ганич, зубных дел мастер, четвертый раз звонил в клинику.

Его жена находилась в той самой клинике по причине начавшихся родов.

Их сосед, доктор Бергман, пинцетом вытаскивал клеща из уха сенбернара.

Нотариус Зильбер сидел на скамейке кладбища, как делал всегда в день смерти кого-то из родителей.

Леонелла собиралась в Кайзервальд и раздумывала, брать ли зонтик: небо было ясное, но где-то погромыхивало.

Осужденный Роберт и семья офицера ехали в телячьем вагоне в такую несусветную даль, куда Макар телят не гонял.

Марита увязывала корзинку, чтобы ехать в деревню.

Господин Мартин, сидя на скамейке парка, закурил, развернул свежую газету, увидел заголовок — и выронил сигарету.

В тот же день в городе было объявлено военное положение. Совсем недавно дом выучил новое слово: *депортация*, а сегодня можно поделиться с зеркалом новым: *мобилизация*. Кого мобилизуют, нечего и гадать, разве что поспорить об учителе истории: можно ли призвать в действующую армию жильца, если дверь его опечатана? Спор затягивается — зеркало легко отражает любой аргумент...

Из-за военного положения доктор Бергман торопится выйти с собакой не позже семи вечера. Зильбер сегодня как-то особенно уныл и в то же время возбужден, поэтому ничего не стоит подслушать их разговор.

— Одного не понимаю, — горячится нотариус, — откуда эта беспардонность? Сказали бы просто: мол, левша для армии не подходит, и дело с концом.

Доктор чуть отпускает поводок и вполголоса добавляет:

— Натан, там ведь сейчас... — но не заканчивает, а перескакивает на другое. — Хорошо хоть, анкету не проверяли, а то у меня спросили: «Это немецкое, что ли, фамилие?» и, конечно, где я жил до 40-го года. Да здесь и жил, в этом доме! — он неожиданно повышает голос, и собака недоуменно оглядывается.

Гуляют недолго, и разговор продолжается на обратном пути.

— ...пускай, — доктор придерживает дверь и медленно отпускает, — пускай рабочий батальон, я не возражаю. Хотя не вижу смысла орудовать лопатой или ломом — война войной, а я оперировать должен.

— При чем тут лопата? — удивляется сосед. — Вам винтовку выдадут, а не лом. И не лопату.

— Не знаю, — голос доктора звучит устало, — а только за рекой ведь бомбят всюю. Вот и пошлют раскапывать, в то время как...

Продолжения беседы, к сожалению, не расслышать — они уже поднимаются по лестнице.

К новым словам, таким образом, прибавилась непонятная эта *бомбежка*. Да еще *воздушная тревога*. Приходила барышня из домкома и прилепила на стену, прямо напротив зеркала, разъяснение про воздушную тревогу. Коли следовать всем правилам, то и жить было бы некогда, однако зеркало растрогалось, узнав о необходимости «укрыть бьющиеся предметы», и начало ревниво ждать, когда же дворничиха позаботится о главном из них. Как выглядит бомбежка, о которой столько говорят и поглядывают при этом на небо?..

Два дня спустя взвыл где-то близко фабричный гудок и ревел грозно, как разгоняющийся локомотив; а может, то и был локомотив. Радио заговорило громко и хладнокровно, ритмично повторяя одни и те же слова: «Воздушная тревога». В седьмой квартире метался и подбегал к запертой двери пес. Через несколько минут — сирена продолжала выть — что-то грохнуло так близко и страшно, что дом задрожал и так стоял, охваченный ужасом и дымом, который милосердно скрыл от него то, что называлось бомбежкой.

Когда начала оседать пыль и грязные слои удушливого дыма чуть поредели, стало непривычно тепло справа, где стоял доходный дом.

Которого больше не было.

Место в пространстве, где он стоял, горело ярким огнем, несмотря на яркое июньское солнце, которое, напротив, предпочло скрыться в дыму. Успели ли спрятаться в бомбоубежище люди, если они следовали предписаниям домкома, и сам домком, это еще предстоит узнать, а тротуар перед домом № 21 щедро засыпан стеклами. В самом деле: кто же клеит бумажными полосками окна опечатанных квартир?

Странно и страшно было ступать по этому незримому льду из стекла, и дядюшка Ян, надев старые брезентовые рукавицы, принялся осторожно убирать самые крупные осколки. Он первым и обнаружил, что нижняя ступенька парадного крыльца раскололась пополам, и долго качал головой, боясь посмотреть туда, где догорал огонь. Внутри дома, на лестнице и в коридорах, все осталось целым, даже зеркало, хотя оно частично пострадало от бомбежки: в углу толстого стекла появилась косая трещина, как гримаса на обиженном лице.

Возвращаясь домой, Натан Зильбер увидел, что Палисадная улица перекрыта. Чуть ли не бегом он кинулся вокруг, пересек сквер, обогнул приют, вышел к дому — да так и застыл.

Дом был сдвинут с места. Вернее, казался сдвинутым, потому что соседнего, углового, дома больше не было: на его развалинах суетились люди с лопатами (он вспомнил разговор с Максом), кто-то тащил носилки. *«И разверзлась земля, и поглотила Кору, Датан и Абирам...»* Кому принадле-

жали эти странные, нездешние имена? Дед ответил бы, но деда давно нет, а земля разверзлась и поглотила целый дом. И Кору, Датан и Абирам, кем бы они ни были.

А наш стоит. Ступенька раскололась, повывлетели стекла... Как если бы человек во время землетрясения отделался треснувшими очками и лопнувшей губой, думал потрясенный нотариус, протирая собственные запорошенные пылью очки; невероятно.

...В день, когда началась война, Леонелла в Кайзервальд не попала: патруль пропускал только военные машины. Как-то удалось дожидаться завтрашнего дня.

Должна быть записка, твердила она себе. Непременно должна быть, убеждала она дома и деревья, проносящиеся за окном такси. Не может быть, чтобы ничего не оставил, внушала шелестящим кустам. Шоферу велела подождать, и это прозвучало с такой привычной уверенностью, что тот и не подумал возражать, а лишь кивнул, уселся поудобнее и сдвинул на затылок фуражку.

Она решила еще раз обойти весь дом, но сначала нужно было выбросить сирень. Великолепный букет съезжился, листья стали грязно-серыми и повисли по краям, грозди сморщились и заржавели. Гнусная зеленая жижка стояла в вазе, как испорченный бульон, и Леонелла с омерзением выплеснула все содержимое.

Медленно открывала двери — и закрывала, все еще не веря, что ничего не найдет.

Не было. Ничего не было.

Всю неделю она убеждала себя, что просто небрежно искала; потому и рвалась сюда снова. Покружив по комнатам,

вернулась в гостиную и остановилась, опершись локтями на рояль. Зачем-то приподняла крышку. Под крышкой тихо скучали неподвижные рояльные внутренности. Она подняла тяжелое белое крыло выше — и отпустила с яростным наслаждением. Крышка упала, и тревожный гул разбудил дремавшего за рулем шофера.

Дамочка вышла из дома совсем не так, как вошла: шляпка у ней съехала набок, а дверь швырнула и не обернулась. Правду сказать, так и провожать никто не провожал. Не иначе, как разругавши вдрызг: она, небось, посуду там колотила. Шофер поправил фуражку и завел мотор.

ЧАСТЬ 3

Из тех, кто помнит первый день Страшного лета, когда танки прошли перед домом, а на них лежали свежие цветы, не успевшие проявиться на горячем металле, — из тех, кто помнит этот день, иных уж нет, только какие-то бирюльки хранятся у дворничихи в рукодельной корзинке.

Сегодня опять идут танки, но в другую сторону и без цветов. Не только танки: машины с военным начальством, пыльные грузовики с молчаливыми и пыльными, точно глиняными, красноармейцами; пехота. Их никто не напутствует, но все провожают — глазами. По выражению глаз трудно понять, какие слова не сказаны.

Оставаться всегда трудней, чем уходить.

Взрывы бухают то вдали, то пугающе близко. Колонна сворачивает к Московской, но там затор, и движение приостанавливается как раз на уровне дома № 21. Красноармеец в потной гимнастерке просит воды. Безошибочно обращается к старухе в платке, стоящей в воротах напротив, где никто никогда не стоит. Она возвращается еще с двумя старухами, которые несут ведро и кружку. Солдаты прилипают к ведру и пьют через край, отталкивая локтями один

другого. Первый с сожалением протягивает хозяйке пустую кружку: «Спасибо». У ворот появляется, стуча палкой, лысый старик с седыми усами и спрашивает очень громко, почти кричит:

— Что, германец догнал?

Лейтенант, которому надоело вытягивать голову: что там впереди, чего стоим, — отзывается важным голосом:

— Передислокация, папаша.

— Я говорю: германец гонит? — не слышит старик, покалеченный в окопах 1914-го и ничьим отцом не ставший, и лейтенант уныло повторяет про передислокацию, в которую так хочется верить.

Старухи уносят ведро. Старик с палкой пытается еще что-то сказать, но колонна начинает двигаться вперед.

Вернее — назад: к Москве.

А в доме народу прибыло! — Если считать народом крохотную плотную личинку, закрученную во что-то розовое. Ее очень бережно несет какой-то красноармеец. Прежде чем ступить на расколотое крыльцо, он отводит в сторону руки с розовым батончиком и смотрит вниз, чтобы не оступиться. Рядом с ним идет жена дантиста и тоже ступает очень осторожно. Позвольте, да этот с батончиком никак доктор Ганич! Ну да: только в форме. Как эти, которые уходили. Что, тоже уйдет? Зачем? Ведь там, в конце пыльной улицы, скрылись чужие, пришлые, а доктор Ганич всю жизнь прожил в этом городе; зачем?..

Дантист сам не знает, чего ждать. Необмятая гимнастерка и широкие, как юбка, галифе означают, что он принад-

лежит не себе, а некоему «территориальному стрелковому корпусу». Сегодня корпус еще в городе, а завтра может быть переброшен на фронт: передислокация. Как объяснить это жене, чтобы она не плакала? Лариса устроена так же, как большинство женщин: они думают одновременно о разном и на несколько ходов вперед. Вадима заберут на фронт, а там сразу убьют; надо искать новое жилье, потому что дом могут бомбить, вот как соседний; как назвать дочку, и как жить дальше?..

Счастливым отец виновато молчит и старается не смотреть на часы, хотя знает: времени осталось всего ничего. Нужно собрать вещи и сделать самое трудное: проститься.

Сбор вещей — на дачу, в путешествие или, как сейчас, на фронт — всегда отвлекает женщин. Лариса больше не плачет — нет времени. Дождался своего часа замечательный австрийский рюкзак, купленный еще в свадебном путешествии. А какой вместительный! Но перед купальным халатом австрийский подарок все же пасует. Когда жена разочарованно уносит халат, доктор воровато выхватывает из рюкзака шелковую пижаму и торопливо сует скользкий комок обратно в шкаф.

— Несессер, — возвращается Лариса, — ты забыл несессер.

Ганич колеблется: не забрать ли отцовский револьвер? Однако решает не он, а часы. Некогда идти вниз, раскапывать угольную кучу, потом умываться...

Юлик не отходит от кровати с малышкой: ждет, когда она проснется. Жалко, что Эрик не видит: у него есть живая сестричка, а папа теперь тоже носит форму. Отец его целует, и мальчик глубоко вдыхает запах мыла, новой ткани

и давний-давний, родной лекарственный, которым пахнет папа, даже когда он выходит из моря.

— Давай назовем Ирмой, — внезапно говорит жена. После той ночи она в первый раз упоминает имя подруги.

Остается помолчать — возможно, в последний раз помолчать вместе. Первой нарушает молчание маленькая Ирма, и доктор встает.

Кто знает, что труднее — уходить или оставаться?

Кончался июнь и одновременно кончалась — уже кончилась — жизнь без войны. Кончалась советская власть, и какие-то голоса заговорили ни много ни мало как о национальном возрождении страны, проглоченной этой властью. Кто-то видел, как где-то вывесили родной красно-бело-красный флаг. Нет, не сам видел, но тем, кто видели своими глазами, можно верить. Теперь — вот увидите — им покажут. Хватит, попили нашей крови. Кто покажет, кому?.. Немцы, вот кто; им и покажут, всем этим жидобольшевикам.

Несмотря на мощный гражданский запал, голоса звучали не так громко, как бомбежка. Очевидно было одно: в городе что-то менялось.

Раненых везли в больницы. Доктор Бергман не помнил в клинике такой тесноты. После утренней пятиминутки главный хирург его задержал. Суть просьбы — работа в «большой хирургии».

— Иначе никак, — объяснил главный, по прозвищу Старый Шульц, — сами видите, что творится. Больных все больше, а врачей... Знаю, знаю, — остановил он Бергмана, — и ваше отделение остается на вас. Но я включаю вас в график дежурств; собственно, уже включил.

Он беспомощно развел руками и продолжал:

— Я отлично их понимаю: кому же спастись, как не евреям? Вчера прислали автобус: эвакуировать только семейных. Один смеется, другой плачет, а у доктора Хейфеца дети на даче. На взморье не попасть — взорвали мост...

Помолчал и закончил:

— Рабочий день — в зависимости от загрузки. Не исключая, что придется раз-другой заночевать в ординаторской на кушетке. Да, чуть не забыл: пропуск получите прямо сегодня. А лучше сейчас, — и озабоченно посмотрел в окно, в горячее июньское небо.

Пропуск, спасающий от кар комендантского часа, был уже выписан, и доктор Бергман рассеянно положил узкую, похожую на квитанцию, бумажку в карман.

От разговора осталось состояние легкого оцепенения, словно заснул в неудобной позе, и тело плохо слушается. Во время работы это ощущение исчезло, но сохранилась память о нем, как о не решенной у доски задаче. Время ушло, решения нет; но имеет ли решение задача деления людей? В детстве мир делится на мать и отца. Ты становишься старше, и разрастающийся мир распадается на своих и чужих, но это меркнет, когда осознаешь себя мужчиной и понимаешь, что прежний, привычный мир состоит из двух половин, где вторая — если верить трепещущему сердцу — лучшая и бесконечно желанная. Возраст и жизненный опыт обогащают множеством добавочных разветвлений: свои — и не очень свои; чужие, но почти свои; нюни и хулиганы; отличники и двоечники; любимые и любящие; блондины и брюнеты; простаки и хитрецы; атеисты и верующие; подвижники и карьеристы... Мир дробится бесконечно, и если продол-

жать думать об этом, то захочется вернуться в безопасное, теплое детство, где были только свои — Каин и Авель, и где *восстал Каин на Авеля... и убил его.*

Детство человечества кончилось делением на палача и жертву.

Когда потребна жертва, она всегда рядом.

Тренированная медицинская память послушно развернула газетные страницы шестилетней давности: *измерение черепа, нордический тип, Эйнштейн против ассимиляции...* Вспомнил тоскливое лицо Зильбера и собственную смутную вину за то, что он не чувствовал этой тоски, а только раздражение.

Собственное еврейство не тяготило и не заботило Бергмана. Выросший в ассимилированной семье, он учился в немецкой гимназии, затем на медицинском факультете. Мать была поглощена музыкой и книгами, отец к религии относился скептически, но Библию знал и ценил как фольклорный памятник...

Откуда же сегодня этот ступор — ведь не от слов Старого Шульца: «Я отлично их понимаю»? Сказал сочувственно, но отсек эвакуирующихся евреев как чужих, не своих, которых можно, конечно, понять... И его, Бергмана, тем самым пригласил в свои, четко разделив людей еще раз.

Вместе с теми, кто измеряет черепа.

Из-за этих пропусков у патрульных солдат прибавилось работы: первая фабричная смена начинается в пятом часу, а последняя заканчивается после полуночи. Стандартный лаконичный текст, напечатанный на машинке, разбавлен был старательной рукой кадровика, который проставил

время и виньетку подписи под числом — кто черными, кто фиолетовыми чернилами. Тонкая бумага от частого прикосновения быстро мнется, под влажными пальцами слезится чернильная подпись, но патруль смотрит на печать: «Можете идти».

Нотариусу пропуск не нужен. Контора работает днем и представлена одной штатной единицей — Натаном Зильбером. Машинистка, тихое создание с кондитерским запахом парфюмерии и всегда удивленным взглядом — два дня назад вышла замуж. Сейчас Зильбер готов был смириться с конфетными духами — одному было тоскливо, тем более при полном отсутствии деятельности. Купля-продажа, оформление завещаний, тяжбы наследников и увлекательные имущественные иски — все потеряло актуальность. Исчезла собственность, и нечего стало продавать, покупать и завещать. Изредка кто-то приходил снять копию с документа или сделать выписку, заверить подпись — одним словом, вялые всплески рутинной суеты, которые едва ли заслуживали названия юридического действия. Барышня привычно снимала по утрам чехол с пишущей машинки, хотя могла бы и не снимать.

В шесть часов он запирает контору. Дорога домой занимает около получаса. Опаленная голая стена дома появляется перед глазами слишком внезапно, и никак не привыкнуть, что он так одинок и не защищен. Невозможно смотреть на то, что было совсем недавно доходным домом, но и взгляд отвести трудно. Дом жил, как живет дерево, но когда *разверзлась земля*, она не поглотила дом, а расшвыряла его искореженные останки — и оставила. Когда-нибудь кончится война, так уродливо начавшаяся, и люди забудут,

что здесь стоял дом, в нем жили люди, лиц которых я сам не знаю и потому не помню, а на этом месте разобьют сквер. Проложат кирпичные дорожки, поставят скамейки. Старики, вроде нас с Бергманом (а мы будем почти стариками), сядут читать газеты и, когда не смотрят дамы, будут тихонько снимать шляпы и вытирать вспотевшие лысины. Няньки покатают коляски, переговариваясь на ходу. Черный ожог на стене к тому времени зарубцуется, перестанет болеть, а то и вовсе исчезнет под какой-нибудь бойкой рекламой пива или — что там рекламируют? — бриолина. Няньки будут приостанавливаться и мечтательно глазеть на красавца с бодливо наклоненной, чтобы показать набриолиненные волосы, головой. По траве будет бегать собака Макса и... стоп: собака может не дожить до конца войны.

А мы — доживем?..

Передислокация стрелкового корпуса, в который Вадим Ганич был зачислен рядовым, назначена на последний день июня. Накануне приходит приказ сверху о частичном его расформировании, а приказы не обсуждают. Да и что там обсуждать, коли ясно сказано: отчислить всех, кто призван после 22-го июня. Оно и понятно — местный народ ненадежен. Одно слово: пятая колонна.

Пока одни солдаты гадали, куда отправят, другим было приказано сдать обмундирование, что бывший рядовой Ганич и выполнил незамедлительно.

Ему стоило огромного труда не припустить бегом, как только часть скрылась из виду. Скорей, скорей; неужели так бывает?.. Счастливый дом, улыбнулся дантист, подмигнув благосклонно кивнувшей двойке и спесивой единице;

счастливый дом. Он так стремительно взлетел на свой четвертый этаж, что зеркало не успело отразить улыбку.

Со дня прощания прошло всего несколько дней. Больше всех был разочарован сынишка — на папе не было формы. Не понятно, почему они с мамой то молчат, то смеются.

Лариса наотрез отказывалась оставаться в доме, каким бы счастливым он ни был. Более того, она уже нашла маклера, маклер нашел — ну, почти нашел — квартиру, вот завтра поедем вместе смотреть.

Только что избежавший фронта, вернувшийся в милый и родной мир, Вадим не сразу постиг смысл сказанного. А его непрактичная, всегда далекая от жизни жена упорно продолжала:

— Они придут опять, как приходили тогда, но придут за нами. Или за тобой. Заберут на фронт, а я... а мы останемся.

— А немцы? Немцы лучше? — Ганич уже понял, что она права, что в вопросах жизни и смерти женщины всегда правы — они воспринимают мир иначе, и бессмысленно стараться это постичь, нужно просто поверить — и послушаться.

— Когда здесь будут немцы, — резонно ответила Лариса, — тогда и пойдем. А большевиков мы уже знаем.

Трудно было поверить, что календарь никто не менял и в июне по-прежнему тридцать дней — так много событий упихано в этот долгий месяц с куцыми ночами. Сказать, что июнь тянется как резина — ничего не сказать. Он безразмерен, как сундук старой девы; бесконечен, как стариковская жалоба. Не месяц, аместилище потерь. Только-только советская власть успела арестовать и выслать тысячи людей,

как подоспела другая — и вытеснила советскую. Депортация — война — передислокация. Вот и флаги — родные, красно-бело-красные — вытесняют ненавистные советские, с серпом и молотом.

Но ничто не длится бесконечно: наступил июль, спокойно и уверенно, как положено, сразу за июнем.

В городе опять чужие солдаты — теперь немецкие. Сорван листок календаря — перелистана страница истории.

Первого июля в доме было тихо и почти пусто.

Тетушка Лайма села в кресло с вязаньем — и задремала.

Дворник чинил балконный замок на площадке третьего этажа.

Зильбер смотрел из окна нотариальной конторы, как патриоты с красно-бело-красными повязками на рукавах сбивают с углового здания табличку «улица Ленина».

Доктор Ганич с женой собирали вещи для переезда на новую квартиру.

Одна в пустой квартире, Леонелла сидела за письменным столом мужа и медленно и бездумно вела полированным ногтем по карте, довольно верно прослеживая, хоть сама о том не подозревала, путь Роберта в том поезде, который названия не имел, а только номер.

Роберт только что скомкал очередное письмо к ней и начал писать новое, такое же длинное и сбивчивое, в безнадежной попытке что-то объяснить.

Ирма и Бруно Строд по очереди держали на руках сынишку, который держал в кулаке волшебный карандаш, а все вместе, как и бывший их сосед, уезжали все дальше и дальше от дома.

Андрей Ильич Шихов выходил из газетного киоска, едва не споткнувшись о приставную лестницу, которую держал какой-то мужчина, в то время как второй, стоя на верхней ступеньке, водружал национальный трехполосный флаг.

Его жена готовила обед.

Господин Мартин сидел за столиком ресторана с господином Реммлером, управляющим банка.

Доктор Бергман мыл аммиачным раствором руки, готовясь к операции.

Солдаты как солдаты, размышляет дом, а все же... другие. Ничего угрожающего в них не видно, и сами они спокойны. Не смотрят настороженно в небо, как те, в пропотевших гимнастерках. Да, эти солдаты другие. И дело не в форме, хотя форма не похожа на красноармейскую, а скорее напоминает ту, что носила Национальная Гвардия. Зеркало безоговорочно соглашается. Неужели они совсем серые, спрашивает оно у доски. Колонна проходит так, что зеркалу видны только спины, освещенные солнцем, отчего они выглядят совсем обесцвеченными. Серые, подтверждает доска; серые как мыши.

Они прошагали мимо серого дома, уверенные и деловые, точно на работу пришли.

Из приюта никто не вышел, как не вышла из дома и тетюшка Лайма, хотя стук сапог по брусчатке ее разбудил. Она постояла у окна, пока серые солдаты не скрылись из виду, и вернулась к вязанью, однако петля то и дело соскакивала со спицы.

...В любой войне, помимо воюющих сторон, существует третья категория: мирные жители. Эпитет «мирные» определяет не их безмятежный характер, а неучастие в военных

действиях. Мирные жители встречают солдат-завоевателей по-разному — достаточно вспомнить приход советских танков: настороженные взгляды одних — и букеты, брошенные другими.

Первого июля 41-го года в городе появились немецкие танки. Бóльшая часть мирного населения ликовала так, словно война не началась, а кончилась. Не желающие ликовать хмуриться тоже избегали, что можно понять: солдаты приходят и уходят, а мирные жители остаются лицом к лицу друг с другом. Солдаты приветливо улыбаются — особенно, когда их приветствуют женщины, все как одна симпатичные, и бросают изящные букетики: одна белая гвоздика и две пунцовые. Люди торопливо вывешивают родные национальные флаги — две пунцовые полосы и одна белая — и оживленно спорят, кто войдет в новое правительство, которое вот-вот будет сформировано, а как же иначе? Никто не подозревает, что уже назначен рейхскомиссариат для управления оккупированной территорией, а в *рейхскомиссариат* никому из мирного населения, будь он хоть семи пядей во лбу, хода нет. Политическая самостоятельность местных жителей, гласит берлинский меморандум, должна быть сведена к нулю.

В принципе Третий Рейх рассматривает местное население благосклонно: будучи «нордическим типом», оно является подходящим материалом для онемечивания. Процесс это сложный и длительный, и пока он не доведен до конца, немцы должны держать местных жителей на расстоянии от себя; об этом тоже говорится в меморандуме.

Политика творится в высших эшелонах; что касается солдат, то им будет чертовски трудно держать на расстоянии такое хорошенькое местное население.

Перемены не заставили себя ждать. Бывшая улица Ленина, не успев или не осмелившись вернуть себе прежнее название улицы Свободы, переименовывается в улицу Адольфа Гитлера. Флаги, вывешенные вчера, сегодня приказано снять. На всех главных зданиях, где размещается немецкая администрация, развеваются ненавистные местному населению красные, но вместо серпа и молота на них свастика. Повсюду расклеиваются приказы, которые надлежит читать внимательно, ибо в них сформулированы правила игры новой власти с мирным населением. Кто не выучил, новая власть не виновата, и наказывает виновных по законам военного времени.

Бумаги с корявым пауком свастики появляются в доме прямо под доской с фамилиями жильцов. Шепелявая барышня из домкома не приходит — и никогда больше не придет, о чем сообщил свисающий с каштана горелый лоскут в горошек, недавно бывший ее платьем, — поэтому дворник вывешивает сам и читает вслух, чтобы слышно было жене. В приказах перечисляются все нарушения, которые караются смертной казнью. Такое уже было год назад, припоминает дом, когда оглашались приказы и казни *приводились в исполнение*. Гранитная облицовка дома становится похожа на кожу, покрытую мурашками.

А вот и учитель! Он по привычке шаркает у парадного сухими подошвами: *ших-ших*, останавливается и тоже читает, но про себя, и недоверчиво покачивает головой. По-видимому, его совершенно не смущают слова вроде *гебитскомиссариат*. Он стучится к дворнику, и они о чем-то разговаривают.

— Вот как, — грустно удивляется Андрей Ильич, узнав, что семья дантиста съехала, — скоро дом совсем опустеет.

Дом не согласен. Как — «опустеет», ведь дядюшка Ян куда не собирается? И доктор с собакой, и дама с пятого эта-

жа, и Зильбер с завивающей походкой — они еще здесь! Вот ведь и Шихов вернулся!..

Учитель посмотрел на опечатанную дверь, перевел взгляд на дворника и, прежде чем тот успел протянуть нож, рванул сургуч.

Он не может задерживаться надолго — Тамара просила взять кое-что из вещей и возвращаться, однако торопиться не хочется. В квартире все еще июнь. Повсюду следы поспешного обыска; почему-то сорвана портьера в гостиной. Учитель распахивает окна, балкон и торопливо собирает с полу разбросанные книги. Что они искали? И грустно усмехается: нас. Уличный шум долетает до третьего этажа. Что там, народные гулянья? Он рассеянно поднимает с пола толстый том: «Курс лекций по римскому праву». Очень актуально: кто-то из коммунистов две недели назад интересовался римским правом, а сегодня все коммунисты и евреи объявлены вне закона. Каждая власть приносит свое право, в котором вечно не хватает места для кого-то неудобного, и этот неудобный объявляется вне всякого права, даже и римского; для простоты. Немцам не угодны большевики и евреи, а большевики ни для кого не делали предпочтений: вне закона мог оказаться любой, что и было доказано не раз.

На улицах много энергичных веселых мужчин с национальными повязками на рукавах; кто-то пьян. Андрей Ильич бросает взгляд на бывшую гимназию. Откроют ли? И что здесь будет — немецкая гимназия?

...Теперь по ночам ходит немецкий патруль. Солдаты никаких пропусков не спрашивают и никого не останавливают: идут почти прогулочным шагом и неторопливо осма-

триваются — привыкают. На оживленных местных жителей посматривают снисходительно, негромко переговариваясь между собой.

Пьяных действительно много — не только от обретенной свободы, но и от водки, хотя это еще вопрос, что действует сильнее. Двое идут по Палисадной и останавливаются напротив бывшего доходного дома.

— Жалко, фонарей мало, — озабоченно говорит один и закуривает.

— Тебе темно? — удивляется спутник. — Газету собрался читать?

— Я бы на каждом фонаре повесил жида, — мечтательно продолжает первый, — пускай висит и светится...

— Фонарей не хватит, — товарищ пожал плечами. — Вот как надо, — он показал рукой с папиросой на развалины, — бац! Всех сразу. А фонари и без жидов хорошо светят.

Увидев приближающийся патруль, оба бросили, как по команде, папиросы и подтянулись. Один приветливо вскинул руку. Крайний солдат чуть повернул голову и лениво скользнул взглядом. Улица опустела.

Настроение у мирных жителей приподнятое, деловое и воинственное, как и полагается в военное время. Совсем юная (когда только успели напечатать?), но бойкая газетка выступила с пылким лозунгом: «НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В СВОЕМ ДОМЕ!» Организованные, а также стихийно вспыхивающие митинги призывали к тому же, что и газета. Ораторы с горящими от энтузиазма и июльского солнца лицами взывали к национальному достоинству. Плакаты разной степени аляповатости наглядно демонстрировали, как избавиться от *жидобольшевицкой*

заразы. В магазинах, на улицах и в трамваях самым популярным стало слово «долой», за которым последовало другое — страшное, как обвал, и сладкое, как объятие: «облава».

Жидобольшевики — слово неудобное; где искать этот гибрид? Тем более что большевиков прогнали немцы-освободители. Осталось засучить рукава и взяться за жидов — и проще, и короче: навести порядок в своем доме.

А не общий ли это дом? Не все ли вместе строили город, эту вавилонскую башню? Вместе таскали бревна, передавали друг другу кирпичи и раствор, делились папиросами и городскими сплетнями, говорили на разных языках, но всегда понимали один другого, потому что работали с любовью — строили свой город, как строят дом.

Строили?! Не строили — взорвали! Подожгли! Башня полыхала огнем, исходила черным дымом, да не какая-то вавилонская, а Соборная башня Старого Города.

В последние дни июня, когда бомбы сыпались на город, как картошка из рваного мешка, когда рухнул мост, многие здания разделили участь доходного дома. Старый Город, изящный городок в табакерке, — покойный антиквар охотно приобщил бы его к своей коллекции диковинок, — пострадал при первых же артобстрелах. Тридцатого июня несколькими снарядами была разрушена Соборная башня, самая высокая в Европе.

Позвольте, но ведь это же немцы, немецкая бомбежка! — Не-е-ет, немцы здесь ни при чем; жидобольшевики подожгли. Жиды то есть. Как, кто сказал?.. — В газете написано, а газеты врать не будут.

Газетную новость растиражировали листовки: «Улепетывающие жидобольшевики пустили своего последнего крас-

ного петуха, надругавшись над самым дорогим для каждого из нас. Наша христианская святыня — Соборная башня — взывает к мщению...»

Так мать, войдя в комнату и увидев осколки любимой чашки, гневно поворачивается к детям: «Кто?!» Уже не так важна сама чашка — или башня, — как поиски виновного.

А жертва, как известно, всегда рядом.

И восстал брат на брата... У библейского брата были какие-то колебания — не зря *поникло лицо его*. Братья из местного населения были избавлены от сомнений, тем более что они являли собой «нордический тип», и вопрос о братстве с жидами отпадал сам собой. Это окончательно развязало руки, которые давно чесались отомстить ненавистному племени за все; получай.

За башню — сначала вавилонскую, теперь Соборную.

За то, что картавишь.

За большевистскую власть.

За швейцарские часы у тебя на руке.

За то, что говоришь на нашем языке.

За то, что живешь в одном доме с нами.

За то, что живешь.

...что смеешь жить.

Дома так же, как и люди, привыкают видеть вокруг одни и те же фасады и торцы — лица и профили других домов. Дом прекрасно знал своих соседей. Теперь трудно было привыкнуть, что справа пустота. Строго говоря, груды развалин нельзя назвать пустотой: не пустота — останки. Могила дома, который принимал на себя резкий ветер и февральскую пургу. Слева — вечно пустующий, а значит, тоже мерт-

вый дом. Приют для сырых и убогих, слава богу, на месте, но так скрыт за буйной июльской зеленью, что о его присутствии можно только догадываться. Вот пролился дождь, и заблестела крыша: жив курилка! Веселый, хохочущий июльский дождь оживил сонные улицы, облил стены, крыши и уже под прищуренным солнцем продолжал рассеянно клевать бульжник мостовой.

Внизу, где Палисадная упирается в начало Гоголевской, стоит широкоплечий четырехэтажный верзила. Розовая краска цвета дамского белья совсем ему не к лицу; дом конфузится. Дождь на время затушеввал неприличную розовость. Весь первый этаж тесно засижен лавками: тут бакалея, хлеб, деликатесы и вино. На самом углу, почти напротив сквера, независимо раскачивается вывеска парикмахерской. Дверь приоткрыта. На пороге стоит парикмахер в полурасстегнутом халате и ковыряет в зубах расколотой спичкой. От сквера широкой дугой идет длинная Романовская улица, где находится Русская гимназия. Ее светло-сизые стены потемнели от дождя. Водосточные желоба фыркают, выплевывая воду. Солнечные зайчики прыгают по мокрым блестящим карнизам.

Больше всего народу на Гоголевской, у синагоги. Это серое здание, строгое и элегантно: высокие окна, у входа колонны; несколько входных дверей, а под крышей тоже окна, только круглые; зачем бы? Что такое синагога, дом толком не знает, но не признаваться же... С деликатесами проще — оттуда несутся запахи, а у дверей теперь всегда очереди. Около синагоги очереди нет, просто все заходят внутрь, а зачем — неизвестно; и кто там живет, тоже неведомо...

Соборная башня, о которой так много говорят в последнее время, отсюда тоже видна, хоть для этого нужно было

привстать на цыпочки; зато башня видела все дома! Если бы четвертого июля она высилась над городом, как прежде, то увидела бы молодцеватых веселых парней, которые устроили вокруг синагоги импровизированный хоровод. Парни перебрасывались шутками и гранатами. От шуток громко смеялись, а гранаты бережно ловили и ловко швыряли прямо в высокие окна. Но башня не видела того, что видел дом, не отводила глаза от зловещих факелов, не слышала взрывов гранат и нечеловеческих людских криков. Чисто прополосканное небо заволокло тяжелым дымом, и звуки стрельбы не могли заглушить криков.

В тот день Каин опять убил брата своего Авеля.

Убил, но не ограничился этим, как тогда, в поле, на заре человечества, а превратил акт в процесс.

Оккупационные власти были довольны и процессу не мешали — внутренняя борьба, как они деликатно назвали охоту на людей, надежно отвлекала население от болезненных вопросов самоуправления и прочих наивностей, что и предусмотрел заранее известный берлинский меморандум. Кроме того, у немцев было достаточно забот с расселением солдат и организацией их досуга, с советскими военнопленными, устройством концлагерей и со строгим учетом всего мирного населения. Ибо все должны работать на великую Германию — война, господа.

В таких хлопотах разменяли июль, проветрили город от дыма, выгтерли кровь.

А кровь продолжала литься.

Царственный август, самый звездный месяц, зажег первые звезды не на небе и даже не на земле, а на людях. Дом не отли-

чал евреев от других людей, пока у них на одежде не появились желтые звезды. Крупные — куда там небу! Одна на груди, одна на спине. Звездные люди вели себя странно: например, ходили не по тротуару, а прямо по мостовой. Не удивительно, что раньше евреев не было видно. Оказалось, горбатый Ицик тоже звездный, тоже еврей! Желтая звезда забралась ему на самую верхушку горба. А у нас ни одного еврея нет, подумал дом.

Ну-ну, скептически покосилась доска с фамилиями жильцов; мне видней. Вот зеркало свидетель. Но зеркало не спешило с выводами, потому что привыкло видеть все слова не так, как они написаны, а совсем иначе, и никто, даже дядюшка Ян, этим похвастаться не мог. Солнечный луч скользнул, преломился в трещине, и невозможно было сказать, сморщилось зеркало или улыбнулось.

На Палисадной оживление. Немцы пригнали грязных осунувшихся красноармейцев в гимнастерках без ремней, и они разгребают развалины доходного дома.

Странно, что доктор теперь выводит собаку в несусветную рань, а по вечерам совсем поздно, и все больше один, без Зильбера. Этот долго не показывается — уж не съехал ли, как дантист? Нет; вот он. Не самый лучший вечер он выбрал для прогулки — такой дождь зарядил, что только держись, недаром и шляпу натянул на самый нос! Опять эти двое спорят, но так тихо, что ничегошеньки не слышно. Когда они идут к парадному, доска многозначительно посматривает на зеркало, на дверь с цифрой «21» и тяжелой латунной пружиной, но посплетничать не с кем — дом спит.

В квартире у Бергмана разговор продолжается не намного громче. Говорят на эту тему не в первый раз, все еще надеясь переубедить друг друга.

— Если это сельтерская, то я Наполеон, — хозяин ставит бутылку, стаканы и раскрытую пачку галет фанерного вида. — Или хотите чего-нибудь покрепче? Могу развести спирт. Почти трофей, между прочим, — добавляет с усмешкой, но не объясняет, хотя есть что...

Когда вся деловая жизнь города замерла, а потом распалась, словно карточная колода в неумелых руках, закрылась и клиника, где работал Бергман. Говорили — временно. Дескать, немцам тоже нужны врачи, но сколько продлится неопределенная «временность» и что будет дальше, никто не знал. Послеоперационных больных родные забрали домой. Коридоры стали необычно просторными от распахнутых настежь дверей палат и солнца, льющегося сразу из всех окон.

Макс Бергман обвел взглядом кабинет. Очень непривычно было уходить — не на обед, не в отпуск, а на неопределенное время. Или навсегда? Он протянул руку к шляпе, и в этот момент в дверь постучали.

— Хорошо, что я вас застал, — начал главный хирург, — у меня к вам разговор.

Выглянув в коридор, вернулся, плотно закрыл дверь и продолжал:

— Коллега, там трое после бомбежки... Скажем так: никому не востребованные. Что с ними делать, ума не приложу.

Макс терпеливо подождал — не пришел же, в самом деле, Старый Шульц советовать, — потом спросил:

— А что они говорят?

— В том-то и клюква, что ничего не говорят, — главный снял очки и держал их за сведенные дужки, пальцами мас-

сируя переносицу, — одна черепно-мозговая и две контузии. Если они заговорят, то уже с немцами.

— Так это?.. — начал догадываться Бергман.

— Они, — Шульц ритмично покачивал рукой, и солнечный луч прыгал по стеклянной восьмерке очков, — те самые. Откуда родным-то взяться. Если не ошибаюсь, вы живете где-то поблизости от дома призрения — или что там, приют? Туда немцы навряд ли сунутся, а если даже и... Мало ли где ранило: формы на них нет.

— У нас соседний дом разбомбило, — подхватил Макс, — скажем, они из пострадавших. Думаю, администрация не станет возражать. Хотя документы...

— Лишь бы выкарабкались, — махнул рукой хирург, — документы покойникам не нужны. Как-нибудь... Вот с парнишкой там осложнение.

Последние слова главный произнес уже встав. Надел очки, точно в седло вскочил; на ходу обернулся и кратко пояснил:

— Они в семнадцатой, сестра перевязку сделала перед уходом. Тут еще одна клюква, доктор: все это на добровольных началах, сразу вас предупреждаю.

Застегивая халат, Бергман спросил:

— Серьезное осложнение?

Шульц кашлянул:

— Увидите, — и легко, как молодой, устремился к двери.

Еще неделю-другую назад Макс ничего бы не увидел, но сейчас не увидеть было невозможно — осложнение было налицо. Вернее, на лице: на койке лежал молодой еврей, вчерашний боец Красной Армии, а сегодня личность вне закона. Он равномерно мотал по подушке головой, но глаз

не открывал. Его сосед тоже лежал с закрытыми глазами — точнее, глазом, потому что второй был полностью скрыт пухлой повязкой; одна нога была в гипсе. На третьей кровати плашмя лежал худой мужчина с забинтованной головой и мелко дрожал, будто кровать трясло. Рот у него был скошен и приоткрыт, верхняя губа чуть припухла.

Старый Шульц наклонился, приподнял веко лежащего и отвел руку:

— Без изменений. На звук тоже не реагирует. Однако пареза нет. А вот что с внутренними органами... Они в машине ехали, а улицу бомбили. Этому больше всех досталось. Суть вам ясна?

Суть заключалась в том, что все трое были не транспортными, приют далеко, дом самого Шульца рядом, а носилки, слава богу, есть. Бергман вызвался поискать кого-то из санитаров, но главный жестко остановил его:

— Для носилок нужно четыре руки, а лишние уши и глаза ни к чему. Да и разошлись все. Сделаем так...

Небольшой одноэтажный дом, где жил доктор Шульц, находился совсем неподалеку от клиники, на той же стороне улицы. Самое сложное было идти шаг в шаг, не перекашивая носилки и не делая резких остановок. Первым шел главный, а Макс смотрел то на носилки, то на его затылок, припорошенный короткой редкой сединой, и на шею со вздувшимися венами.

Когда отнесли больного в гипсе, Шульц ответил на незадаанный вопрос:

— Вы за меня, коллега, не бойтесь, я крепкий. И мне всего пятьдесят восемь, а это скорее мало, чем много; такая вот клюква.

Медленно переложили на носилки вибрирующего от дрожи третьего. Шульц промокнул полотенцем лоб, увесистый патрицианский нос и шею, вытер очки:

— Ну, с Богом, доктор!

Странное зрелище, должно быть, они являли со стороны, медленно, как во сне, пересекающие с носилками неестественно пустой больничный двор, залитый солнцем, и выходящие со своей ношей на улицу, чтобы в таком же замедленном темпе, шаг в шаг, будто копируя один другого, пронести носилки в неприметную дверь столь же неприметного дома.

После того как Бергман помог уложить раненых, главный отправил его обратно в клинику, в результате чего в домике появился запас перевязочного материала. Часть принесенного, в том числе двухлитровую бутылку со спиртом, Старый Шульц отдал ему:

— Если удастся их там пристроить, вам это может понадобиться.

Бергман про себя усмехнулся: жид будет хлопотать за большевиков.

Они ни о чем не договаривались, но как-то само собой получилось, что на следующее утро Макс стоял у дверей домика. Спустя несколько дней он поймал себя на ощущении, что работа не кончилась — просто в импровизированной клинике количество пациентов свелось к трем, а сам он теперь совмещает обязанности хирурга, невропатолога, перевязочной сестры и сиделки; дома увлеченно листал пособие по травматологии.

Отчасти поэтому его тяготили постоянная суета и паника приятеля. Даже сейчас рука Зильбера со стаканом слегка дрожала, что невольно вернуло мысли к третьему ранено-

му. Я где-то его встречал, опять подумал Бергман; наверное, муж кого-то из пациенток.

— В конце концов, — Зильбер говорил медленно, старательно подбирая формулировку, — в конце концов, это открытая конфронтация власти. Мне как юристу...

— Вам как юристу, — от возмущения Бергман заговорил громче, — должно быть ясно, что отправлять на тот свет законопослушных людей есть преступление. Если евреи в чем-то виноваты, то единственно в своем еврействе. Это что, нарушение закона?

— Всегда находятся люди, не угодные властям. Немцам не угодны не только евреи — цыгане тоже. Я уже не говорю о коммунистах любых кровей.

— Коммунистов не обязывают носить звезды! — Огонек спички испуганно отшатнулся от сердитого голоса и погас. — Заметьте: только евреев! Почему на большевиков не вешают красные звезды?

— Их самих вешают, — упрямо отозвался нотариус.

— Да! А евреев метят. Как скот.

Слово упало, как камень падает на песок. После паузы Зильбер спросил:

— Макс... Почему вы говорите: «евреи», «евреев»... Отчего не «мы», «нас»? Разве вы сами не чувствуете принадлежности к...

— Нет! — яростный шепот прозвучал криком, — Нет! Если носить клеймо означает быть евреем, то я — турок! Китаец, швед... Тех, по крайней мере, не метят.

— Да, — нотариус медлил, зная, что может потерять единственного близкого человека, но все же закончил, — сейчас многие пошли бы... в шведы, да нос не пускает.

И добавил очень тихо:

— Мы изначально мечены.

Уголок рта у него чуть подрагивал, предвещая не то улыбку, не то плач.

— Давайте выпьем, — предложил хозяин примирительно, но Натан не успел ответить — кто-то позвонил в дверь, и оба застыли, как в живой картине. Сенбернар без спешки приподнял верхнюю часть тела, повернув голову к прихожей, и лег опять, уложив на лапы тяжелую голову. Бергман зачем-то пригладил волосы и пошел к двери.

— Господин доктор, там внизу дама из 12-й квартиры, — торопливо заговорил дворник, — крыльцо починки требует, да мастера не найти. Неровен час, можно шею...

— Сейчас спущусь, — кивнул Макс и прикрыл дверь.

Зильбер стоял в спальне у окна, прижавшись к стене и пытаясь что-то высмотреть в окно.

— Натан, я сейчас вернусь. Там певичка эта... ногу повредила, кажется.

Перепуганная Лайма суетилась вокруг узенькой кушетки, на которой полусидела Леонелла. Левая нога лежала на подушке; лодыжка заплыла толстым отеком.

Бергман тщательно осмотрел и пропальпировал щиколотку. На перелом не похоже. Связки? Связки могла порвать; проверим.

— Встать на ногу можете? Осторожно: я помогу. Вот так. Нет-нет, опирайтесь на здоровую. Теперь на обе, потихоньку... Не отпускайте мою руку, держитесь! Где больно? Боль тупая или режущая? Ну, это не страшно. Стоять можете?

Леонелла могла стоять и даже сделать шаг-другой, но не отрывала пальцев от доктора плеча. Однако взобраться

на пятый этаж нечего было и думать. Оказывается, лифт может потребоваться не только старым и немощным, но откуда было знать господину Мартину, что война оставит на крыльце штрих-трещину, да и что случится война, что сам он уедет в Швейцарию не на две недели вовсе, как предполагалось, и уж тем более не мог он знать, каким диковинным образом все эти случайные факторы приведут к тому, что дворник его дома, двойник оксфордского профессора, на пару с одним из жильцов несут сейчас на пятый этаж Прекрасную Леонеллу, сидящую с опухшей ногой на венском стуле.

Бергман обмотал щиколотку бинтом крест-накрест и предупредил:

— Повязку на ночь не снимайте. Если будет давить, можно чуть ослабить: вот так, — показал. — И позовите горничную, я научу ее делать спиртовой компресс.

Повязка ладно обвила щиколотку и немного усмирила боль, а главное, почти скрыла безобразную опухоль. На платье — любимом, кремовом — темнело грязное пятно.

Леонелла достала из сумочки зеркальце и ахнула:

— Перемазалась, как чумичка!

— Так это же чудесно, — неожиданно обрадовался доктор, — значит, про ногу забыли, раз в зеркало смотрите.

Наткнувшись на недоуменный взгляд, не смутился:

— Я замечал много раз: если дама требует пудреницу, это знак выздоровления. В особенности красивая дама, — он улыбнулся обеим Леонеллам — сидящей напротив него и портрету на стене. — И вот что, — щелкнул замком саквояжа, похожего на футляр музыкального инструмента, — не бойтесь меня потревожить. Если станет болеть сильнее

и пульсировать, сразу посылайте за мной. А что с компрессом, где ваша камеристка?

— Спит.

Не пускаться же в объяснения с посторонним человеком.

Уходя, Бергман протянул хозяйке листок:

— Мой номер; звоните в любое время. Телефон у вас работает?

Телефон работал — спасибо, Громов позаботился. На миг мелькнуло: позаботился — значит, позвонит. Потом бесконечно долго шла в спальню — и сразу увидела утреннее письмо, о котором почти забыла. Марита.

Писала не она, а тетка. Злобно перечисляла, как много сделала для племянницы, а теперь наказана за свою доброту: *«люди надсмеаются и пальцем показывают. Мое вдовье дело горе мыкать, а тут страму не оберешься»*, — и дальше в том же духе. Леонеллу упрекала намеками, острожно, что могла бы, как дама замужняя, остеречь девчонку. О хозяине в письме ни слова, из чего следовало: тетке виновник не известен.

...От сомнений самой Леонеллы, в первый момент признанию мужа не поверившей, давно ничего не осталось. После того дня Марита перестала затягивать раздавшуюся талию, а в остальном была, как всегда, исполнительна, молчалива и незаметна. Несколько раз надолго исчезала. В один из таких дней вернулась изможденная, но глаза были сухими. Остановилась в дверях гостиной: *«Увезли их. Сегодня. Люди говорят, в Сибирь»*. Повернулась и ушла в свою комнату, где начала собирать корзинку, задавливая всхлипы, похожие на икоту. В тот вечер Леонелла ей почти завидова-

ла: если бы она сама там, в кайзервальдском доме, сумела заплакать, стало бы... А что стало бы? Что, девчонке от слез полегчало? — Ничуть; да не из-за слез позавидовала ей. Это она, Леонелла, должна была проводить мужа, а не служанка; она сама должна была проститься с ним у вагона. Проститься — и простить, хотя прощать было нечего: девчонка влюблена в Роберта, как... как она сама влюблена в чужого мужа. Девчонка хоть простилась...

Жалостный тон письма не обманул Леонеллу. О появлении на свет внучатой племянницы старуха сообщала только к концу письма, торопливо присовокупив, что кормить «всю ораву» она не намерена, зато в большом городе ублюдков много, в приюте место сыщется. «...*А мне лишний рот без надобности, и от других стыдоба*». Для того и было отправлено ей это письмо. Леонелла перечитала и подивилась: ни одного теплого слова ни о племяннице, ни о малютке; даже не пишет, когда родилась.

Под тугим бинтом пульсировала боль и не давала заснуть. Невозможно было представить, что сегодня утром она ездила в Кайзервальд — почему-то была уверена, что если будет известие от Громова, то — там. Проветрила комнаты, посидела в кресле-качалке. Потом аккуратно замкнула дверь и под проливным дождем вернулась из одного пустого дома в другой. Из-за ливня и оступилась.

За ночным окном ровно шелестел дождь. Уже в полусне успела подумать: почти осень...

Сентябрь принес на Палисадную небывалые перемены: соседний дом, пребывавший в многолетней спячке, начали

ремонтировать. Зеркало едва не выпрыгнуло из рамы, сиюсья рассмотреть солдат в привычной уже немецкой форме, деловито спующих по обновленным лесам, и только трещина — боевое ранение от бомбежки — заставила образумиться.

Ворота знали куда больше, потому что находились ближе к ремонтной жизни. Прикрывая каменный зев, ведущий с улицы во двор, ворота могли наблюдать за событиями с двух сторон — больной дом находился так близко, что со двора была видна стена с пустыми, мертвыми окнами. Да, ворота могли бы рассказать немало интересного, но каменный мешок подъезда, двор и сами ворота как-то не вписывались в узкий кружок парадной двери, зеркала и доски. Не разбираясь в сословных различиях, дом, однако, твердо знал разницу между парадной лестницей и черной. Представить трубочиста или прачку на парадной лестнице так же трудно, как госпожу Леонеллу или офицера на черной. Вот ведь люди со звездами на одежде не ходят по тротуару, а только по мостовой; может, черная лестница придумана для евреев?..

А на улице трещали грузовики, нагруженные кирпичами и досками; на блестящих легковых машинах проезжали офицеры.

Из одной такой машины вышли два офицера и направились к дому № 21. Их сопровождали двое солдат с автоматами. Понимая, что власть не должна ждать на крыльце, Ян предусмотрительно распахнул парадное. Немцы осмотрели вестибюль и двор, поднялись по лестнице наверх; потом, оживленно переговариваясь, сели в машину и укатили.

Когда спустя два дня Леонелла в первый раз вышла из квартиры, внизу толпилось несколько человек: немецкий

офицер, учитель с третьего этажа, дядюшка Ян и незнакомец в летнем плаще, оказавшийся переводчиком. На стене висела бумажка с крупно напечатанным «ACHTUNG»; Леонелла медленно приблизилась.

Все жильцы дома, медленно говорил переводчик, обязаны освободить квартиры. Немецкое командование предоставляет срок в десять дней для того, чтобы «обитатели имели возможность найти другие квартиры, переехать и перевезти собственное имущество». Переводчик торопился донести смысл и не очень заботился о подборе слов.

— А что будет с домом? — раздался голос дворника, когда все смолкло. — Кто за домом следить будет?

Человек в плаще слегка пожал плечами: не мое, мол, дело, но Ян настойчиво повторил, добавив:

— Хозяин оставил дом на меня, — и посмотрел прямо на офицера.

Выслушав переводчика, немец энергично закивал и улыбнулся.

— Дворник может остаться в доме, — сухо сообщил переводчик.

Выйдя из парадного, Леонелла заметила, что трещина на крыльце залеплена чем-то серым, но нижняя ступенька оставалась скошенной. Нога почти не болела, поэтому решено было сходить в приют напротив и навести справки про младенцев — должны же там знать? Однако направилась она вовсе не к приюту, а в противоположную сторону.

Доктор Бергман налил собаке свежей воды и как раз собирался выходить, когда неожиданно в дверях появился Натан и с извиняющейся улыбкой протянул ключи:

— Я вчера хотел попросить вас... Сейчас *они* по квартирам ходят — и здесь, и в центре. Страшно сказать, что делают... Словом, узаконенные погромы. Не звоните в дверь, Макс: отоприте сами, когда хотите заглянуть ко мне.

Он протянул колечко, на котором висели два ключа: один длинный, с бородкой, а второй маленький и плоский, от английского замка.

В домике Шульца осталось только двое раненых. Третий расстался с гипсом и с кровоподтеками на лице, зато обрел документ на имя Федора Шаповалова и густую бороду с обильной проседью, которая делала его намного старше. Последнее обстоятельство было очень кстати, поскольку Федор Шаповалов, вдовец, от роду имел пятьдесят восемь лет, тогда как раненому было слегка за сорок. Достоверности помогла палка, без которой Старый Шулец ходить ему не позволял.

Предварительный визит Бергмана в приют не очень обнадежил. Во-первых, строго поправил его небольшой старик в рабочем халате поверх костюма, у нас не приют, а дом призрения; а во-вторых, что, никому до человека дела нет? где его родные? Макс объяснил ситуацию: человек попал под бомбежку, был привезен в клинику; теперь ни кола ни двора — деваться некуда. Ходит еще с палкой, после множества переломов, но скоро совсем оправится, так что сможет помогать по хозяйству.

В продолжение разговора старик смотрел прямо на доктора темными блестящими глазами. Закатное солнце серебрило редкие короткие седые волоски на загорелой лысине. Как шипы, подумал Макс. Однако через два дня Бергман,

придерживая под локоть «Федора Шаповалова», снова постучал в дверь с табличкой «КОНТОРА».

Тот же старик (в этот раз без халата) окинул требовательным взглядом настороженное лицо, бороду, крепкую руку на палке; помолчал. Потом деловито сообщил, что работы много: грядки, сад и ремонт в доме. У нас все заняты, кроме калек, добавил таким голосом, что было ясно: новенького он к калекам не относит.

Макс незаметно перевел дух, а старик легко сполз со стула и, подойдя к нему, проговорил:

— Могу я рассчитывать на вас, доктор, в случае необходимости? — и не было вопроса в этом вопросе.

Человек не мигая смотрел ему в глаза снизу вверх. На щеке под глазом чуть подрагивала старческая чечевичная родинка. Бергман кивнул, а говорить ничего и не пришлось — старик протянул ему маленькую твердую ладошку с такой же россыпью чечевицы и крепко пожал, не отводя взгляда. Забрав ладошку обратно, взял за рукав нового обитателя и медленно повел по коридору.

С остальными ранеными было намного сложнее. Молодой парнишка почти оправился, но перенесенная контузия не давала о себе забыть — часто мучили головные боли. И все же с головной болью жить было можно, однако дело было не в ней, а в том «осложнении», о котором Старый Шульц беспокоился с самого начала. О том, чтобы устроить еврея в дом призрения, нечего было и думать — немцы карали не только евреев, но и укрывателей евреев.

Положение осложнялось тем, что Йося — так звали парня — изо всех сил рвался искать «наших». На все уговоры

Шульца и даже на вырвавшиеся в досаде слова: «Ты пулю себе в лоб найдешь, мальчик!» он упрямо молчал. Макс тоже пробовал с ним поговорить, что оказалось нелегко, но объяснялось просто: Йося стеснялся своего белорусского выговора, квартиры старого хирурга, которая представлялась ему верхом роскоши, и конечно, обоих врачей, то и дело переходивших на чужой язык. А больше всего он смущался из-за своего юного возраста, тугих завитков отросших волос и того, что не только не успел совершить подвиг, но и воевать-то толком не начал; оттого и рвался к «нашим» и злился, что Шульц не разрешает ему даже выходить в сад, опасаясь чужих окон, а значит, чужих глаз. На вопрос о его спутниках Йося неохотно ответил, что получил приказ везти начальство, и несколько оживился, произнеся слова: «псковское направление» и «передислокация».

Хмурая застенчивость и немногословность молодого солдата обоим врачам была понятна, и ни один не заметил враждебной настороженности, с которой Йося все чаще прислушивался к их диалогам. Оба легко соскальзывали с русского на немецкий, особенно когда говорили о состоянии раненых, вкрапляя латынь, или обсуждали ситуацию в городе. В такие моменты Йося затихал и посматривал исподлобья либо отворачивался лицом к стене, оставаясь один на один с догадками, которые терзали его не окрепшую после контузии голову. Если бы можно было с кем-то ими поделиться! О других раненых он не знал ничего, и сейчас, глядя на лежащего в беспамятстве соседа, напряженно пытался вспомнить, одна шпала у него была или две? Тогда, в машине, яркое солнце било прямо в глаза, надо было смотреть на дорогу; потому и не запомнил. Кажется, две было не у него, а у второго, толстого, с бритой головой, который... которо-

го здесь нет. Однако Йося точно помнил, что в «газик» сели трое: эти и бритоголовый, но толстяка с бритой головой он в больнице не видел. Во что бы то ни стало надо прорваться к нашим, твердил он себе. Не могут его здесь держать против воли. Еще неизвестно, кто они такие: может, шпионы.

Этой мыслью он поделился со вторым раненым, но понимания не встретил — тот больше всего беспокоился, правильно ли срастаются поломанные кости. Правда, выслушал не перебивая, а потом обидно хмыкнул, ощупывая отросшую бороду: «У-хм: будут шпионы с тобой нянчиться, лечить да кормить», хотя нянчились гораздо больше не с Йосей, а с ним, а теперь отправили куда-то с чужими документами. Это случилось несколько дней назад. Лишившись единственного собеседника, Йося продолжал мысленно с ним спорить, только все аргументы расшибались об это хмыканье и слово «лечить». Если не шпионы, то почему они говорят по-немецки?

Новая догадка оказалась так ошеломительно проста, что у Йоси перехватило дыхание. Немцы, вот кто они; потому и говорят... на своем языке. Дальше все выстраивалось настолько логично, что можно было только изумиться, как ему сразу не пришло это в голову. Конечно, они в руках у немцев; форму и документы у них отобрали, а их самих лечат, чтобы... Дальше воображение отказывало. Ясно было, что одного немцы уже завербовали; на очереди они; потому-то старый доктор — фашист! — не разрешает ему выходить, держит их в плену, под видом лечения... А он, дурак, еще говорил при них, что пойдет к нашим!

Теперь Йося неистово ждал, когда выздоровеет его сосед — нужно было бежать из этого фашистского логова, бежать вместе и как можно скорее.

Несколько раз он подходил к лежащему: «Товарищ майор, разрешите обратиться!», — но тот не отвечал. Не отвечал он и фашистам, только поворачивался на звук голоса и смотрел без интереса, как смотрят на стену или закрытую дверь. Повязки на голове у него больше не было, волосы отрасли темнорусым ежиком. Он уже вставал и бесцельно двигался по комнатам, беря в руки то статуэтку, то пепельницу, то чашку; вертел и ставил обратно. Каждый день ему задавали одни и те же вопросы, стучали особым молоточком по коленкам и светили фонариком в глаза; раненый напряженно хмурил ровные, как шнуры, брови, но ничего не отвечал. Спятил, сообразил Йося, и не удержался от вопроса:

— Он... всегда такой будет?

— Не думаю, — ответил старик, но без особой уверенности. — Это последствие травмы: он ничего не помнит. Не помнит, как его зовут, кто он такой. Не знает, что с ним случилось. Постепенно... со временем регенерация возможна, но мы не знаем, когда это произойдет.

И произойдет ли, добавил про себя Макс. Однако его не покидала уверенность, что он где-то встречался с этим человеком. У кого из нас амнезия, злился он, у него или у меня?.. А тут еще выселение, необходимость искать жилье, что неизбежно сводится к паспорту, благодаря которому он вне закона так же, как этот мальчуган. Да, мир опять разделился: в этот раз на тех, кто знает о его еврействе, и тех, кто не знает. К тем, кто не знает, относилось зеркало и все человечество; знали же немногие: брат отца, дядя Маврик, давно уехавший в Америку, Зильбер и дядюшка Ян, поскольку имел дело с его паспортом, а паспорт был первым из посвященных; выше его только префектура. Если паспорт «потерять», префектура вы-

даст новый, с теми же данными, если людям вне закона еще выдают паспорта... Паспорт не память, которой лишился этот несчастный. Сейчас не было даже возможности узнать, кто он — гимнастерка и планшет, по словам Шульца, были залиты кровью; сожгли, конечно. Так и подмывало спросить, откуда у старика взялся паспорт Федора Шаповалова, но все выяснилось случайно, когда Бергман вновь и вновь возвращался мыслями к собственному паспорту.

— Предположим, — хоть Йося находился в соседней комнате, старый хирург привычно заговорил по-немецки, — у этого неугомонного будет паспорт. Что дальше?

— Если б я не знал вас как врача, я бы решил, что вы граф Калиостро, — усмехнулся Бергман, — или начальник префектуры, не меньше.

— Врач, только врач. Год назад оперировал я почку одному... вот вроде нашего, — Шульц кивнул на дверь, — и до сих пор не знаю, как он удержался на этом свете. Может, и моя доля в этом была... — Помолчал, раскурил потухшую папироску и продолжал: — Парень поднялся, и ко мне явился его родитель: «отблагодарить», так сказать. Человек он непонятный и темный, но большой авторитет в своем мире, как выяснилось. Потом объявился снова — внезапно — в июле: доктор, что я могу для вас сделать, сейчас трудно?.. Трудно!.. У меня в клинике — вы помните — раненые, да в советской форме; ну, вылечить, а потом что с ними будет, в городе немцы? Короче, принес он мне документы, спросил только: хватит? Я тогда прямо затрясся: откуда?! Он смеется: не сомневайтесь, говорит, господин доктор, мы не мокрушники; паспорта — он как-то иначе назвал, — чистые. Вот такая клюква...

Из соседней комнаты тянуло табачным дымом и доносились куски разговора, из которого Йося понимал не много, но несколько раз отчетливо прозвучало слово «собака». Потом громко заговорили по-русски, и тут уж сомнений не оставалось: Бергман будет жить здесь, и не один, а с собакой!

Оставаться было нельзя.

Как бежать и куда, он представлял себе слабо, поэтому было решено провести рекогносцировку. Ночью, естественно, когда старик спит. Помогло и то, что он избавился, наконец, от больничной пижамы — Шульц дал ему надеть рубашку из странной, шершавой на ощупь, материи и брюки, которые пришлись как раз впору, разве что чуть длинноваты, но можно было завернуть края штанин. «Удобно? — с показной заботливостью спрашивал старик. — Ходи по дому, набирайся сил, а как закружится голова — баста: ложись». Теперь-то Йося видел его насквозь! Фашист ни о чем не подозревал. По утрам он дожидался Бергмана, «сдавал дежурство», по его собственному выражению, и уходил на полдня. Йося был уверен: в штаб; на самом же деле на работу, в больницу Красного Креста. В его отсутствие Макс приглядывал за вторым раненым, курил, читал, время от времени поднимал глаза на Йосю, улыбался и говорил что-то ободряющее. Тот вспыхивал, хмурился и брал с полки первую попавшуюся книгу, вот как сегодня. В глазах зарябило от узеньких колючих букв, в два ряда на каждой странице, но для Йоси это не имело значения: толстенная книжка была к тому же на непонятном языке. Сразу ставить обратно он постеснялся и начал листать, а потом ставить расхотелось — такие диковинные картинки попадались. Каждая проложена тоненькой прозрачной бумагой, которая плотно льнула к картинке, и нужно

было осторожно отлепить невесомый листок, чтобы увидеть изображение. Какой-то младенец в люльке плывет по реке; наверно, неглубоко — по обеим сторонам трава колышется, а в небе тучи с крыльями... Нет, ангелы. На другой картинке опять ангел. Идет по ступенькам, а сзади женщины с малышами; один совсем слабый, сползает с лестницы. Религиозная книга какая-то, старался он разозлиться, всюду ангелы. Отлистал назад и хотел закрыть, но попала картинка без папиросной бумаги и без ангелов: просто песок, а на песке лежал человек, раскинув руки и ноги. Второй, с палкой в руках, стоял у валуна и смотрел на лежащего. И небо зловещее, с молнией и тучами. Рассматривая, он не заметил, как приблизился Бергман, взглянул мельком:

— Гравюры Доре. Нравится?

— Очень мрачно, — неожиданно для себя произнес Йося.

— Что ж веселого, — отозвался тот, — брат убил брата.

Какое мне дело до ваших братьев и ангелов, рассердился Йося и представил, как он бросает эти слова Бергману в лицо. Я не ребенок; оставьте ваши книжки с картинками для других.

Теперь, в нормальной одежде, легче было обдумывать уход. В каком месте города он сейчас находится, Йося не знал. Несколько раз, встав в уборной на стульчак, дотягивался до окошка, откуда был виден истертый кирпич тротуара, булыжная мостовая, высокий каменный дом напротив, а за ним какая-то будка. Один раз из того же окошка он увидел настоящего живого немца. Тот шел с девушкой, приобняв ее за плечи. Они миновали дом Шульца, и рука солдата оказалась уже на талии. Девушка прильнула ближе. Они остановились, и Йося увидел, как рука немца поползла

вниз. Сердце заколотилось так сильно, что Йося спрыгнул с унитаза и прислонился лбом к холодной трубе.

Выйти ночью, когда все спят; фонарь далеко, на самом углу. Он твердо решил держаться как можно дальше от центра. Только где он, центр?.. Остальные окна выходили в маленький садик, что никак не помогало. Так или иначе, ночью никто не заметит, что он еврей.

Андрей Ильич Шихов получил от дворничихи целых два письма: из Германии и Швеции, а впридачу новость о выселении, и воспринял ее почти с облегчением — жить на два дома утомительно. Особенно сейчас, когда Французский лицей закрылся и нужно было искать работу.

Стало известно, что квартиры будут заняты офицерами. Почему немецкое командование облюбовало именно этот дом, никто не знал, да и не задумывался, ибо переезд всегда сопряжен с другими, более насущными и хлопотными, мыслями. Учитель принялся паковать книги, избегая думать о мебели и о том, что придется, вероятно, оставить самые громоздкие вещи здесь, где поселятся чужие равнодушные люди, и если ему случится оказаться на Палисадной, он не станет смотреть на свой балкон и окна, ни в коем случае... Нет, он просто не будет появляться тут, пока... пока жизнью правит война.

Андрей Ильич посмотрел на опустевший шкаф, больше не похожий на книжный, прибавил к последней стопке надорванную коробку с выгоревшей надписью «ЛОТО» и сердито затянул веревку.

...Туалетный столик взять непременно. Шифоньер и трюмо; так. Кровать есть, но... кровать тоже перевезти, благо,

здесь просторно, а две комнаты в конце коридора почти не заполнены мебелью.

Леонелла распахнула балконную дверь. Осень подошла: крохотные астры раскрылись острыми звездочками, но листопад еще не начался.

Решение пришло просто и естественно: если переезжать, то почему не сюда? Белый рояль сегодня выглядел добрым старым знакомцем. Возвращение хозяев ее не пугало и не смущало — хозяева, кто бы они ни были, будут только благодарны, что кто-то следил за особняком в их отсутствие. Мало ли вокруг разграбленных квартир и домов, с изуродованными, испакощенными стенами, выбитыми стеклами? Жутко представить, что творят внутри... Рано или поздно законные хозяева (или хозяин) вернутся и найдут свой дом в полном порядке.

Мебель лучше зачехлить и сдвинуть, скажем, в столовую, а ее собственную разместить в гостиной, как в квартире на Палисадной. На эту стену повесить портрет. Зимой надо будет хорошо протапливать; значит, предстоит покупать дрова, уголь... Мысли перескочили к дому, где о таких вещах заботился дворник; вот с ним и посоветоваться. Повесить плотные гардины — она давно отвыкла жить на первом этаже. И проследить, чтобы аккуратно упаковали светильники. Впрочем, света здесь хватает: люстра, как в театре; так не оставлять же чужим людям свои бра. Упаковать хотя бы в ящик, а там видно будет. И старинное бюро, которое так любит Роберт, пусть перевозят с осторожностью.

Перед тем как уйти, обвела дом уже другим — хозяйским глазом; проверила, закрыты ли окна, и только тогда затворила дверь. На обратном пути перечисляла самые главные дела, мысленно занося их в книжечку. Зайти к этому мило-

му доктору. В ответ с готовностью заныла лодыжка (сегодня много пришлось ходить). Надо его отблагодарить, но как? Деньги, Леонелла понимала, он не примет. И Лайму с Яном, конечно; но это проще — у нее есть настоящий кофе, дворничиха будет довольна.

От непривычных забот голова шла кругом, но эти заботы странным образом придавали сил, вытесняя куда-то далеко совсем другие мысли, тоскливые и иссушающие, похожие на соленое питье.

Он не выходил из квартиры четыре дня. Человеку, в сущности, нужно совсем немного, а из немногoго у него осталась половина французской булки, крохотный брусочек сливочного масла да изюм на дне банки, такой засохший и твердый, что стучал, как камешки. Натан вспомнил изюм у бабушки Песи — крупные лиловые морщинистые ягоды, тускло лоснящиеся в розетке с кружевными краями. Вспомнил — будто увидел свои пальцы, розовые от холодной воды, хватающие одну изюминку, но к ней липнут еще несколько, упрямо воссоздавая мумию виноградной кисти, от которой некогда произошли... Еще раз встряхнул банку, и ожило другое воспоминание: черенок серебряной ложки, торчащий из густого, как смола, компота. Он достает расползшуюся чернослиvinу и курагу, разварившуюся в губку; потом набрякший ломтик бывшего лимона, похожий на колесо от телеги. Наконец, ложка натывается на незнакомые коричневые ягоды, округлые и упругие, пропитанные компотом. Узнав, что это изюм, мальчик огорчается и долго не верит, а поверив, огорчается сильнее: зачем?!

Зильбер хлопнул себя по лбу: думкопф! Если залить их кипятком, то получится не настоящий, конечно, не бабуш-

кин, но — компот. Кипяток можно налить прямо в банку — чего проще? Осторожно, стараясь не звякнуть крышкой, ставит чайник на огонь. Никто не должен знать, что он дома. Из этих же соображений он второй день не курит, хотя Макс оставил целую коробку папирос. Но сейчас можно, он заслужил одну папиросу — придумал себе шикарный обед. Дым можно выдыхать в окно. Нет, лучше в печку: если в окно, то могут заметить с улицы.

Натан усаживается на корточки перед печкой, открывает тяжелую чугунную дверцу — как громко она скрипит! — потом вторую, резную, и достает папиросу. Руки слегка дрожат; должно быть, от бессонницы: ночью особенно страшно, сегодня он спал не раздеваясь. Так глупо и унизительно будет, если *они* ввалятся, а он сонный и в одном белье.

Голова закружилась от первой же затяжки, он едва не падает. Вторая легче, и Зильбер жадно затягивается, потом выдыхает дым прямо в черный печной зев. Дым лениво течет обратно в комнату, обволакивает сидящего на корточках человека. Он вскакивает, но папиросу держит, опустив, у дверцы, и смотрит на плывущий дым... Труба! Забыл открыть трубу!

...Теперь дым быстро и послушно уходит серым шлейфом в печку, но радости от курения больше нет.

Какой-то шум. Да, шум со стороны кухни: ровный, уверенный звук. Дверь черного хода, не иначе. Ключей ни у кого... Ключи есть у дворника. Если подойти к кухонной двери, то можно через стекло увидеть дверь черного хода. В одних носках он минует прихожую — рядом с ним в зеркале крадется в полурасстегнутой рубашке сутулый рыжеволосый двойник, — подходит к кухне и прикидывается к стеклу.

Чайник, распираемый бурлящим кипятком, гневно подрагивает на плите. Думкопф!..

Натан прислоняется лбом к притолоке. Усмиренный чайник обиженно смолкает. По кафельной стенке плиты стекают ручейки от пара, по спине струится пот. Зильбер закуривает новую папиросу и осторожно вытягивает шею к окну, готовый в любую минуту отпрянуть к стене. Через стекло видно, как люди продолжают разгребать развалины соседнего дома. Вначале работали советские военнопленные; кто-то говорил, что их отправили в лагерь, теперь работают евреи. Выворачивают обломки и складывают в кучи.

Время разрушать — или время собирать камни? Время нашей жизни. Нельзя измерять его Экклезиастом, ибо это Апокалипсис.

Люди собирали камни, и любой из них вправе кинуть камень в тебя, любой и все вместе: так казнили отступников. Желтые звезды двигались, как живые мишени, — звезды, которые ты не носишь.

Кончался день, но желтые звезды были отчетливо видны. Кончался день, который тянется целую вечность, а Вечность могла наступить в любую минуту.

Предложение Шульца переселиться к нему очень растрогало Макса. Нужно было как-то отказаться, не обидев старика, и придумать, куда деваться с собакой. Хорошо, что у них, по крайней мере, не требуют паспортов, усмехнулся он. Впрочем, у Каро безукоризненная родословная — чистокровный ариец. Он редко произносил имя пса — в этом не было необходимости; не произнес и сейчас, но тот почувствовал что-то, подошел и боднул в колено тяжелой головой.

— Уходить нам отсюда надо, вот что.

Макс ласково погладил собаку, поднялся с кресла и достал из секретера паспорт. Вгляделся в фотографию, потом подошел к зеркалу. За одиннадцать лет он не очень сильно изменился. Внимательно всматривался в собственное лицо, пытаясь увидеть его чужими глазами. Правильный овал, нос с чуть заметной горбинкой, рот... как рот, про такой, кажется, говорят «твердый». Темно-русые волосы (на фотографии они вышли черными) и густые брови. Глаза какого-то непонятого цвета, как болотная вода. Веки чуть тяжеловаты для арийского лица, пожалуй. Глаза у него от матери, только у нее были по-настоящему зеленые, а из-за тяжелых век лицо казалось сонным. Нос и волосы — отцовские; правда, у отца волосы курчавились, а у него только чуть волнятся.

Бергман повертел в руках серую книжечку. «Все граждане должны пройти регистрацию в полицейском участке», однако в приказе ничего не говорится о паспорте.

Сенбернар привстал и насторожился. Ни о чем не успев подумать, Бергман швырнул паспорт в печку и открыл трубу. Схватил спички, и в это время раздался звонок, ровный и уверенный. Вот как это происходит. Подождите минутку, господа. Поставил паспорт домиком, чиркнул спичкой, потом прикрыл дверцу и пошел навстречу судьбе.

В дверях стояла Леонелла.

На ней был стального цвета английский костюм и шляпка, слегка сдвинутая на лоб.

— Ваша собака не бросится? — спросила она.

— Она не бросается на дам, — не чувствуя губ, улыбнулся Бергман, — входите спокойно. Как ваша нога?

Так возвращаются к жизни, подумал он. Ты уже пережил, как тебя сбрасывают с лестницы и шлют вдогонку пулю, а в этот момент приходит соседка поинтересоваться, кусается ли твоя собака. Кто бы ни создал эту жизнь, у него хватало чувства юмора.

— Господин доктор, я зашла поблагодарить вас...

— Никуда не годится, — строго перебил Бергман, — я первый спросил и повторяю: как ведет себя ваша нога, госпожа пациентка? — последние слова он шутливо подчеркнул.

— Я и забыла о ней, — гостья улыбнулась, — не могу вообразить, как бы я без вашей помощи...

— Коли так, — подхватил хозяин, — это освобождает меня от обязанности называть вас пациенткой. Стало быть, и я для вас больше не доктор. А поскольку мы соседи и еще несколько дней останемся соседями, обращайтесь ко мне по имени. Макс, — он протянул руку.

— Коли так, — передразнила женщина, — прошу вас тоже называть меня по имени: Леонелла. И представьте мне вашего пса — он обижен.

Что я затеваю, с недоумением спрашивал себя Бергман. Он был уверен, что дамочка мазнет прохладной лапкой по его ладони, но у Леонеллы оказалась теплая и вполне жизнеспособная рука.

— Забавно, — гостья с любопытством огляделась, — словно у меня в гостиной поменяли обстановку.

Он чуть было не признался, что почувствовал то же самое, когда оказался у нее, в такой же точно квартире этажом выше, но передумал; и так наговорил лишнего. Леонелла продолжала:

— Вы уже договорились о переезде?

— Какое там, — Макс озабоченно сдвинул брови, — я еще и квартиры не нашел. Почти забыл, как это делается, — он невесело улыбнулся, — а у меня собака, попробуй найди покладистого хозяина...

Пес чуть приподнял голову и укоризненно посмотрел на него. Врешь ты все; только что придумал, читалось в его взгляде. Прости, дружище, мысленно ответил хозяин, чего не сделаешь для салонной беседы.

— Вы позволите его погладить? — спросила Леонелла и, не дожидаясь ответа, протянула руку: — Иди сюда, Каро!

— Не обижайтесь: он у меня нелюдим, — снисходительно объяснил Бергман, но пес уже стоял возле гостьи и совсем не противился, когда она потрепала его по мощной шее. Как лошадь, ревниво подумал Макс, а дамочка, однако, не из робких. Эх, ты, взглядом упрекнул он собаку. Сам хо-рош, дернул ухом сенбернар.

Когда не знаешь, что делать — закури; для того и папиросы придуманы.

— Курите? — он подвинул коробку к Леонелле.

— Нет; но я люблю, когда рядом курят, — улыбнулась та, — муж всегда курил в комнате. Люблю запах хорошего табака.

Подождав, пока он закурит, продолжала:

— Как же вы... Где вы квартиру искать думаете?

— Ума не приложу. К тому же паспорт не могу найти, — он с досадой кивнул на секретер, — поверите: все обыскал. А ведь точно помню, всегда там хранил.

Что правда, добавил мысленно. Всегда держал в секретере, еще полчаса назад.

— А вы? Нашли уже? — спросил с вежливым интересом.

— Нашла, — она ответила чуть рассеянно, словно думала о другом, — да,шла. В Кайзервальде.

— Вот как? — Макс по-настоящему удивился. — Но там сейчас пустовато, вечерами будет неудобно. Сейчас столько хулиганья развелось; как же вы одна?..

— Как раз об этом я сейчас и думаю, — Леонелла сощурившись смотрела куда-то мимо него, а рукой медленно и спокойно гладила собаку.

Ответила, ничуть не покривив душой: думала об одиноких вечерах в доме, где никогда вечерами не приходилось быть одной. Плотные шторы, да, — но первый этаж, а хотя бы и второй... Замки — но открыть снаружи балкон ничего не стоит, да и не надо открывать, если можно вломиться. Между тем второй этаж совершенно пуст. Опять-таки, если в доме такая собака — она одобрительно сжала толстую складку на шее, и Каро прикрыл глаза, — если в доме такая собака, то никто не посмеет сунуться...

Бергман ошарашенно закурил новую папиросу, забыв о недокуренной. Предложение дамочки застало его врасплох. Не было ни гроша, да вдруг алтын, вертелось в голове.

— Боюсь, что... Откровенно говоря, я сейчас и в средствах ограничен, — он начал говорить о закрывшейся клинике, но женщина перебила:

— Господин доктор... Прошу прощения: Макс, вам ничего не придется платить — я ведь и сама не плачу. Некому платить, — пояснила терпеливо, — когда вернутся хозяева, тогда и... тогда и мы вернемся. Вот и все.

— Вас не смущает беспаспортный жилец? — Бергман пытался пошутить, — это ведь риск, — запнулся, — ...Леонелла.

Какая у него улыбка славная. И эта ямочка на щеке, когда улыбается.

— Не трудитесь объяснять — я не домком. Рекомендации тоже не нужны — мы много лет соседями были. На днях зайдите в префектуру и закажете новый паспорт. После переезда, — добавила уверенно, — а если вы колеблетесь, давайте съездим вместе — посмотрите дом. Вам понравится, я уверена.

Странно, как она набрела на этот особняк, думал Макс, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Превосходная вилла, просторная, комфортабельная. Отдаленное предместье, настоящая колония особняков. Построены прихотливо и с любовью, некоторые выглядят просто изысканно. От Палисадной ехали не меньше получаса. Загадочная дамочка... И сам устыдился своих мыслей. Тебе предлагают бесплатное жилье, к тому же удачно расположенное. До Шульца минут пятнадцать, а в случае чего рядом лес...

А — в случае чего? Паспорта больше нет. Леонелла (он сам не заметил, как мысленно назвал ее по имени, а не дамочкой) явно не знает, кого собирается приютить, — иначе не говорила бы так беззаботно о новом паспорте.

— Макс? — донеслось снизу. — Спускайтесь, я покажу вам сад.

Договорились, что завтра она найдет грузчиков (до выселения оставалось шесть дней), а потом съездит в деревню на день, не больше; вот ваши ключи.

Хутор носил романтическое название «Родник». Леонелла не ездила в телеге с тех самых пор, как уехала из деревни, и поразилась, как легко узнала не эту местность (здесь

никогда не приходилось бывать), а само ощущение деревни. Например, запах дегтя, который раньше всегда раздражал, показался приятным. Сухой октябрьский воздух приятно освежал, укатанная дорога пружинила под колесами. Мужчина держал вожжи, а женщина, по виду его жена, с любопытством присматривалась к пассажирке. На дне телеги стояли молочные бидоны, и по тому, как легко они накренились при поворотах и гулко погромыхивали, понятно было: пустые.

— Расторговались? — Леонелла кивнула на бидоны.

— Если бы, — махнула рукой женщина, — только до рынка добрались, место заняли, как сразу с двух сторон полицейские, из новых: бумагу давай!

Муж негромко хмыкнул.

— Какую бумагу? — не поняла Леонелла.

— Ну как же, — охотно заговорила женщина, — сколько должны сдать, сколько сдали, сколько осталось... Называется «трудовая повинность». За что это нам повинность такую дали, чем мы перед немцами виноватые? Большевики колхозы хотели, а этим хочешь не хочешь, а норму ихнюю отдай: и молока, и мяса, и курей, и всего чего; с какой стати, спрашивается?

Она перевела дух и затянула узел развязавшегося платка. Мужчина, не оборачиваясь, угрюмо сказал:

— Мяса захотели... Я лучше мясо закопаю, не доищутся. А то засолить, — рассудительно передумал, — в лесу тоже мясо надо...

Значит, это правда, подумала Леонелла: лесные братья никуда не пропали, и кто-то заботится, чтобы они были сыты.

— Все нынче в начальство рвутся, непонятно к чему обронил возница и натянул вожжи. — Подъезжаем, — он

кивнул на столб с прибитыми дощечками-стрелками. На одной было выведено: «Мыза РОДНИК».

Статная пожилая женщина, стоящая на крыльце, никак не вязалась с обликом тетки Мариты, сложившимся из письма. Женщина стояла, приложив ко лбу ладонь козырьком, чтобы защититься от солнца. Прошло несколько минут, прежде чем Леонелла сообразила, что солнце здесь ни при чем — хозяйка рассматривает ее.

Вместо приветствия она вытащила из ридикюля письмо и шагнула вперед:

— Я приехала.

...Возродился дом № 19. Вот уже и последние леса, опутывавшие его, как бинты — раненого, сломаны и сброшены вниз. Более того: их ровненько сложили в грузовик и увезли. Ожил дом, стряхнул с себя ремонтный мусор, одернул новехонькую форму мышиного цвета и встал во весь рост, только что не щелкнув каблуками.

Каблуками щелкают немецкие солдаты, приветствуя офицеров, — в этом доме теперь казарма. Несколько дней ходили с ведрами еврейские женщины — группками по пять, по шесть (в одиночку не появлялись): убирали, мыли окна и полы. Обновленный дом то и дело посматривает на соседа: ну и кто из нас счастливчик? Может, цифры врут?..

Принять вызов не позволяет воспитание. Парадная дверь, зеркало и доска солидарны, как всегда. Главное, что возразить нечего... Как — нечего? У нас дворник свой, вот и весь разговор, журчит водосточная труба.

Все меняется и внутри, и снаружи. Так непонятно и тоскиво становится, когда дом узнает о переезде Леонел-

лы. Дом привык гордиться собственной Феей. Больше всех огорчается зеркало. Как она всегда была к нему внимательна, а теперь только глянет мельком, пробегая... Спокойней всех держится доска. В самом деле, что ж сокрушаться — посмотрите на меня: каждая строчка заполнена. Ну-у... Кроме одной; так господин Мартин сам не пожелал вписать свою фамилию. А что квартиры стоят пустые, никакого значения не имеет. Главное, все имена на мне запечатлены; даже дядюшке Яну не удалось оттереть.

Сегодня трещина придавала зеркалу особенно разочарованный вид. Все мы не молоды, подумало оно, однако не все становятся так болтливы к старости.

Доска не слышала этих мыслей и безмятежно продолжала: например, Буртс. Помните? С пятого этажа, положительный такой, ходил с чемоданчиком? Женился, то-се; съехал. Когда еще съехал! А имя — имя навсегда осталось, хоть артистка с мужем вселились.

Действительно, перед фамилией Леонеллы были видны бледные буквы: Буртс.

Все интересничаете, скрипнула доска, а лучше бы вспомнили — разве в квартире хозяина никто не жил? Майор тот, насупленный такой; ходил, то на часы, то на сбрую свою кожаную уставившись, с дядюшкой Яном ни разу не поздоровался. Ну вот; лучше бы вверх смотрел. Наши — сами уезжают, а майора — увезли. Кто его помнит? Ни одной буквы от него не осталось! То ли дело — Буртс, или господин... антиквар из восьмой квартиры.

Зеркало с трудом удержалось от улыбки. Конечно, фамилию Стейнхернгляссер в таком запале не выговоришь... Но ведь мы не раздражаемся на старых друзей.

Снаружи многое поменялось и продолжает меняться. Где стоял доходный дом, стало пусто, развалины исчезли. Дворник так и сказал: пустырь. Немцы проходят, смотрят, клацают словами: «плац», «плац». Что за плац? Сказано: пустырь — значит, пустырь.

По улице часто едут грузовики. Все в одном направлении — туда, где кладбище, тюрьма и водонапорная башня. Отсюда видна только ее серая крыша, похожая на круглую остроугольную шапочку. Ни кладбища, ни тюрьмы не видно совсем, да мы не скучаем. Одни грузовики везут одинаковые свежесобраные бревна, другие — гигантские катушки толстой блестящей проволоки, но не гладкой, а с шипами...

Тетушка Лайма бросилась к окну — неужто машины так увлекли? От окна — к дверям: «Сынок!..» Выбежала в коридор, а в проеме парадного уже стоит Валтер — загорелый, стройный, — и говорит улыбаясь:

— Жидо-о-ов — вон!..

Руки, потянувшиеся обнять сына, замерли нерешительно на полпути, будто дворничиха выронила из рук посудину.

Человек может отвернуться, опустить или отвести глаза; а куда, скажите на милость, деваться огромному зеркалу на стене, чтобы не увидеть?..

— Сын, — в коридор вышел Ян, — приехал! Ну, пойдем, — и первый направился к лестнице.

Нет, не может быть — нет у нас жи... евреев. Дом вспоминает жильцов, хоть знает наизусть все имена, как знает и помнит их лица и привычки: *Нейде — Шихов — Гортынский — Ганич — Бергман — Стер... Стрех... Стейнхерн-глярсер — Зильбер — Буртс — Эгле — Строд.*

Господин Баумейстер, деликатно поскрипывает доска; ничего, что на строчке ничего не написано и квартира пуста, а на дверях висят печати. Однако неожиданно отывается балконная дверь с площадки второго этажа — она своими глазами видит, как Ян заводит сына в квартиру господина Мартина.

Валтер с любопытством озирается в гостиной. Круглый столик, стоящий на ковре четырьмя гнутыми ножками, точно дерево корнями; на столике лампа с шелковым абажуром и тяжелая малахитовая пепельница. Два кожаных кресла властно придавили тот же огромный ковер. Рассматривать его некогда, хоть глаз невольно бежит по причудливому переплетению пестрого рисунка — то ли ветки, то ли змеи. Двойная дверь с тяжелыми шторами; по обеим сторонам висят картины.

Одна кажется Валтеру такой знакомой, что он останавливается, пытаясь припомнить, где он мог такое видеть. Две небольшие елки с заснеженными ветками, перед ними огромный камень. Вдали за елками в тумане, как за мутным стеклом, едва вырисовывается высокий церковный шпиль. Ну так и есть: Соборная башня! А елки... Этого добра везде полно.

Половину — не меньше — второй картины занимает широкая юбка. Молодая деваха, по виду батрачка, сидит на траве. В одной руке серп, другая под подбородком. На жидовку не похожа; сидит и смотрит, ничего особенного. Картины, Валтер слышал, ценятся, когда с голыми бабами. А еще рамы. Рамы были золотые и на вид тяжелые.

— Сначала снимем люстру, — сказал отец.

Еще раз обернувшись на деваху с серпом, Валтер поспешил к отцу. Старик знал толк в вещах, этого не отнять. Люстра не иначе как хрустальная, с какими-то бронзовыми загогулина-

ми. Ян уже выволок откуда-то стремянку, и вскоре люстра, чуть покачиваясь и роняя хлопья пыли, оказалась на ковре.

— Теперь вот это, — Ян кивнул на стол черного дерева, — вдвоем несем.

— Куда?

— К нам, — пожал дворник плечами, — куда еще.

Пришлось сходить несколько раз. Стулья с высокими спинками, обтянутыми кожей, нести было не то что тяжело, а неудобно. Потом осторожно сняли и вынесли картины. Ян достал из кармана ключи и запер дверь.

— А остальное? — не веря своим глазам, удивился сын.

— Места нет.

Отец не оборачиваясь спускался по лестнице. Валтер шел следом, порываясь обогнать, но что-то удерживало.

Лайма уже хлопотала вовсю. Бесхитростную мебель сдвинула; остальное велела перенести в привратницу.

Поставили стол со стульями, Валтер повесил люстру. Картины стояли, прислоненные к стене, и только сейчас Валтер заметил небольшое распятие, стоящее в снегу около елки. Держась за раму, наклонился ближе...

— Аккуратней, — предупредил Ян, — это же вещь.

— Посмотри, отец: это же крест. У жидов?! — Валтер задохнулся от негодования.

— Это господина Мартина вещи, — Лайма тщательно застелила черный стол газетами и положила сверху клеенку, — хозяина. Мой руки, сынок, сейчас ужинать будем.

— Зачем... Зачем тогда мы это тащили? Я думал, квартира жидовская!

Потный, взлохмаченный, в запыленных брюках, он сердито смотрел на отца.

Тот отозвался не сразу.

— Каждый делает свое, — заговорил негромко, но отчетливо, — мне доверили беречь дом, тебе — страну. Ты зачем ушел к «лесным братьям», с врагами воевать или жидовское добро растаскивать?! Красных прогнали? Нет! — за вас немцы дело сделали. Теперь надо немцев гнать. Вас каждый хутор, — он смотрел сыну прямо в глаза, — каждый хутор поит да кормит, а вы что? Чем людям платите, чужим барахлом? Сами же и пропьете...

Все, что Валтер готовился сказать, потеряло смысл. Хвастливая болтовня товарищей, его собственные надежды и мечты — все сгорело, как сам он сейчас сгорал от стыда. Хотелось только одного, как в детстве: *чтобы не было того, что было*, чтобы отец смотрел на него, как прежде, а не так, как смотрит сейчас.

Ян снял пиджак и повесил на спинку непривычного стула, словно стул замерз на новом месте, и его нужно был согреть.

— Хозяин вернется — отдам, что смогу сберечь. Было бы куда деть, сберег бы и больше. Не сегодня-завтра немцы займут квартиру — потом ищи-свищи...

Лайма смотрела из кухоньки не на сына, а на прислоненную к стенке картину, особенно на маленькую фигурку у подножия камня. Мальчуган — или парень? — сидит на снегу, сложив руки, и молится перед распятием. Заблудился, небось. Что ж, Отец Небесный спасет и поможет.

Дом не заметил, как рано утром Валтер выскользнул через черный ход, да если бы через парадное шел, тоже не заметил бы, — по улице, по дворам катились, повторяясь и отскакивая от стен, одни и те же простые слова: *что-то... — это... —*

это? — это! — где-то... — где-то? — где-то, — пока из них не сложилось новое, тревожное и непонятное: *гетто*.

Гетто? — Гетто.

Где-то?

Здесь.

Доктор Бергман посмотрел на часы: два. За окном ночь, этажом ниже Натан — хорошо, если спит. Утром — к Шульцу, после обеда — назад (пока еще домой), а сейчас хорошо бы подремать. Нет: печка.

Все бумаги, папки и конверты, которыми человек обрастает за оседлую жизнь, лежали двумя неровными стопками. Еще раз внимательно перебрал каждую. В результате на крышке секретера остались аттестат об окончании гимназии, медицинский диплом и несколько фотографических карточек. Все остальное отправил в печку и сразу, чтобы не передумать, поджег.

Мебель... Не тащить же с собой. Каро чуть отодвинулся от печки, но смотрел на огонь, иногда прикрывая глаза. «Твой ковер я возьму, конечно», — негромко произнес Макс. Пес вытянулся, положив голову на лапы. А сам, значит, гол как сокол? И что делать в этой глуши, если бросить книги? Да с какой стати?.. Уже не говоря о том, что грузчики могут заподозрить неладное: благополучный доктор отправляется с двумя чемоданами не на вокзал, а в самый фешенебельный район, в отдельный особняк. Извозчики всегда знают, что происходит. Дамочка призадумается, отчего это он все оставил...

Без двадцати три. Секретер, отныне не хранящий никаких секретов, и кресло; книги. Что еще? Диван из кабинета: все это уместится в одной комнате, если возникнет необ-

ходимость. Или если каким-то чудом он смог бы приютить Зильбера...

Вчерашний разговор оставил у Макса тягостное чувство беспомощности. Зильбер в одних носках ходил по комнате, наклоняясь вперед сильнее обычного, и то возбужденно говорил о гетто, где евреи будут в безопасности, то резко разворачивался и садился — как падал — на стул, закрывал лицо исхудавшими руками и мотал головой из стороны в сторону с таким отчаянием, что Бергман отводил глаза и закуривал.

В платяном шкафу стало просторно — из носильных вещей Макс уложил только самые привычные и те, что были куплены перед самой войной. Что-то темнело на верхней полке, в углу; он протянул руку... Здравствуй, дружище!

...Ему исполнилось три года, и господин Рудольф Гейер, коллега отца, вручил подарок: серого плюшевого медведя с клетчатой лентой через плечо, на которой висела плоская бронзовая блямба с именем: Michel. Все четыре лапы сгибались, но туго, и когда счастливый именинник попробовал посадить Микеля, тот сразу свалился на пол, звякнув медалькой. «Э-э... — разочарованно протянул господин Гейер, — вот растяпа! Настоящий Toffel!». Макс поднял игрушку и крепко прижал к груди, изо всех сил стараясь не заплакать:

— Это Михель! Михель Тоффель...

— Мефистофель?! — восхищенно изумился дед. — Ребенок — вы слышите? — ребенок сказал: «Мефистофель»!

Взрослые смеялись. Макса брали на руки и рассматривали с уважительным вниманием, господин Гейер помахал ему рукой из-за фортепьяно, а сам он больше всего боялся уронить Михеля-Тоффеля, который так легко обрел имя и его предан-

ную любовь на всю жизнь, оказавшуюся неожиданно долгой. Имя безошибочно сочеталось с его уютной пушистостью, и не раз было так, что Макс утыкался лбом в серый плюш — чаще, чем прикинул к плечу матери, не говоря об отце.

Несмотря на нарядную ленту и медаль, Михель-Тоффель был неприхотлив и стойко переносил ночлег за кроватью, коли случалось свалиться туда ночью. Не протестовал, когда к Максy приходил кто-то из гимназических товарищей, хотя приходилось подолгу просиживать в шкафу за крахмальными недотрогами-сорочками, не обращая внимания на фамильярность болтавшихся галстуков. Что ж, товарищи приходят и уходят, а он, Михель-Тоффель, будет виновато извлечен из шкафа и посажен прямо под настольную лампу. С течением времени плюш потускнел и стал больше похож на изношенный мех, протертый до сукна на веселой доверчивой физиономии. Бусины глаз, однако, блестели по-прежнему, зато черный кожаный нос потускнел и вытерся, как носок старого ботинка. Как ни странно, это придавало Михелю не жалкий, а умудренный вид.

Однако возраст есть возраст: стал сказываться артрит. Одна нога Михеля-Тоффеля сгибалась все хуже и хуже, а в один горестный день тазобедренный сустав разразился опилками. *Sic transit gloria mundi*, полупечально-полунасмешливо подумал Макс, в то время начинающий медик, а сердце вдруг защемило так сильно, что он рывком вытащил ящик комода, переворошил содержимое и выдернул, как выдергивают редиску с грядки, несколько носков. Был выбран шерстяной, с достойным неярким рисунком в виде ромбов, и в этот носок был бережно помещен инвалид. Шерсть очень хороша при артритах... Прихватить суровой

ниткой край носка на плечах Михеля оказалось едва ли не труднее, чем наложить шов во время операции. Да ты просто франт, Михель-Тоффель, восхищенно признал он вслух.

Друзей не оставляют; ты отправишься со мной. Хватит вынужденного прозябания в шкафу, среди безмозглых шляп.

Если бы можно было так же легко и Зильбера...

...Почти пять. Михель-Тоффель был бережно завернут в полотенце и уложен в чемодан.

— Каро, гулять!

На улице моросил дождь, и Макс пожалел, что не обладает собачьей способностью вот так же стряхнуть с себя холодную влагу. Шнурки намокли и не развязывались; чертыхнувшись, он присел на плоскую крышку сундука, всю жизнь служившего скамейкой в прихожей, наклонился к ботинку и замер. Вскочил, измерил скамейку взглядом...

Озарение, вот что это было. Теперь, медленно двигаясь по разоренной квартире, Макс воплощал его в план. В самом деле, если дамочка нашла и заняла пустующую виллу и ни у кого из соседей это не вызвало подозрений, сам собой напрашивался вывод, что соседи отсутствуют — или пребывают в тех же местах, где хозяйева особняка, куда они переезжают. Там действительно на редкость малоллюдно; можно найти хоть сарай, хоть подвал, где Натан укроется... на время. Конечно, на время: когда-нибудь это кончится.

Без десяти шесть. Сна не было ни в одном глазу. Он лихо подкинул в воздух ключи, поймал и вышел.

Старый Шульц встретил его в передней с полотенцем в руках. Он промокал голову и так старательно тер лицо, словно хотел стереть тревогу и растерянность:

— Я все вокруг обошел, два раза, — произнес, едва поздоровавшись, — без толку. Главное, здесь не спрячешься, разве что, — кивнул на окно, — в клинике. А там солдаты. Я объяснил, что кошка, мол, пропала. На свою голову сказал — один все порывался помочь, я уж не знал, как от него избавиться...

Весь во власти своего блестящего плана, Бергман стряхнул дождевой бисер с плаща и остановился в недоумении.

— Мальчик, — пояснил Шульц, — мальчик ушел.

За кофе он рассказал, что хватился парня под утро: шорох какой-то разбудил. Оказалось, дождь.

— Заглянул к ним, — старик кивнул на дверь, — все спокойно; темно. А что кровать пустая, я и не заметил. Но он раньше ушел — я ведь так и не уснул, а то слышал бы...

— Доктор, — Макс так торопливо отодвинул чашку, что кофе выплеснулся на блюдце, — я сейчас пробегу вокруг, чем черт не шутит... Но вам же в больницу...

Шульц покачал головой:

— Обойдутся без меня, да и операций сегодня нет. Я позвонил, сослался на нездоровье. Вас тем более не пущу бегать по улицам: согласитесь, что если два человека ни свет ни заря ищут кошку, это подозрительно.

Закурил и продолжал:

— Не считите за назойливость, коллега: вы, насколько я понимаю, в участке не регистрировались?

Знает.

Старый Шульц знает и знал все время. Знал и молчал.

Так чувствует себя жук на булавке. Или Зильбер.

— Тогда, — продолжал хирург, — заройте, а еще лучше — спалите свой паспорт. Какой-то документ при себе имеете?

Немеющими пальцами Бергман вынул из портмоне узкую полоску бумаги, до сих пор ему не понадобившуюся, и выговорил сухим горлом:

— Вот. Июньский пропуск в клинику. К тому же, — он впервые пристально взгляделся в шаткие буквы, — к тому же фамилия...

Бумажка свидетельствовала, что ее предьявитель, Бергманис Макс, врач, имеет право появляться на улицах после комендантского часа.

Скрестив дужки очков и потирая переносицу, Шульц кивнул:

— Вот и пригодится. В администрации что-то напугали. Фамилия, впрочем, в вашу пользу, очень типичная для наших краев. Никто ничего не заподозрит. Главное, побольше возмущайтесь: вас пациенты, дескать, ждут, вам некогда. Спросят па-спорт — говорите что угодно, но уверенно: потерян, украден... Получите аусвайс — и напрямиком в больницу Красного Креста, я уже говорил о вас; не захотите — устройтесь в другую.

Помолчал, посмотрел на потухшую папиросу.

— Куда он мог пойти, доктор? — спросил медленно и тихо. — Куда?

Поднялся, нацепил очки.

— Пойдемте. Наш подопечный уже проснулся.

Раненый спал. На Йосиной кровати лежало аккуратно сложенное одеяло, но подушка была примята. Нарочно не накрывался, понял Макс, чтобы не проспать побег. Старик перехватил его взгляд, кивнул и пробормотал:

— Вот такая клюква.

Раненый повернул голову, открыл глаза и произнес:

— Журавль.

Дворничиха выходила из бакалейной лавки, когда за знаковыми воротами послышались крики. Никак, горбатый Ицик?..

— Крысы! — раздался громкий веселый голос. — Бей крыс!

Она толкнула калитку. Хибарка Ицика была окутана дымом, и оттуда, пригибаясь, выскакивали люди и разбежались по двору, стараясь увернуться от дубинок веселых парней в черной форме. Домишко горел, но как-то неохотно: второй день дождило, и дым вяло расплзался по двору. В дыму метались люди, желтые звезды мелькали здесь и там, как разбегающиеся искры от горевших стен.

— У-ху-ху-ху! — глумливо заорал один из черных, сдернул с плеча какую-то штуковину и начал стрелять.

Люди падали, словно их толкали в спину, в грудь; другие, задыхаясь и кашляя от дыма, продолжали выбегать из дверей, навстречу пулям. Сколько же их там поместилось, ужасалась Лайма и пятилась обратно к калитке. Кое-как протиснулась на улицу, но калитка не отсекала ползущего дыма и криков, они звучали все пронзительней. Вспомнился низкий потолок химчистки, погруженный в газету Ицик и темный проход за занавеской, ведущий едва ли не в преисподнюю. Нет: преисподняя ждала снаружи.

Слава Богу, с облегчением повторяла она. Слава Богу, что Валтер не здесь, не с этими черными.

Она брела домой, подняв воротник пальто, и соленые дождевые капли медленно катились по щекам. Дождь будет идти, пока небо не выжмет из себя последнюю каплю. Подняла взгляд — и отпрянула от неожиданности: прямо перед ней с мокрого дерева сполз мальчуган лет двенадцати, споткнулся, едва не упав, потом резко повернулся и бросился

к бакалейной лавке. Хозяин стоял на крыльце, вытянув шею и сощурившись, и глядел на горящий дом. Увидев бегущего ребенка, он скрылся внутри, захлопнул дверь и перевернул висящую табличку: «ЗАКРЫТО».

Скользя по мокрым бульжникам, мальчик кинулся прямо к пустырю, за которым начиналась другая улица, а все остальное было прежним. Таким же, как здесь.

Ночь прошла. Часы показывали четверть десятого. Зильбер быстро и неслышно ходил по квартире. Дождь, дождь.

Из окна он видел горящий домишко и мечущихся людей. Отчаянные крики и звуки стрельбы доносились сюда, на пятый этаж. Сквозь серую марлю дождя отчетливо выделялось два цвета, желтый и черный: желтое пламя, желтые звезды, черный дым и черные костюмы гикающих парней с дубинками. Все остальное было серым, под цвет дождя. Одна желтая звездочка прижалась к забору и замерла, а потом появилась с другой стороны, у самого приюта, и скрылась за деревом. Отодвинул планку и пролез, понял Зильбер. Догонят. Где он?.. Огонь разгорался сильнее. Неровные выстрелы останавливали мечущихся людей, и они оставались лежать на земле серыми бесформенными холмиками с неподвижными желтыми звездами.

Пять минут одиннадцатого. Когда это кончится?!

Какая-то женщина медленно отделилась от забора и пошла по улице к дому, зябко подняв воротник и смахивая дождь с лица. Около дерева остановилась, посмотрела вверх... Дворничиха, кажется? Натан посмотрел вниз, на дерево, откуда как раз спрыгнул мальчуган с желтой звездой на пальтишке. Он споткнулся, и Натан прикусил губу, одна-

ко мальчик поднялся и побежал зачем-то в сторону, к лавке. У крыльца секунду постоял, потом повернулся и бросился на пустырь. На его счастье, улица была безлюдна. Сними пальто, умолял его Зильбер, сними звезду. Пока никого нет, сними и брось; беги. Ах, как прав оказался Макс! Нельзя надевать на себя звезду — сразу становишься мишенью.

Господи, Господи; без пяти одиннадцать.

Мальчик скрылся — если здесь можно скрыться еврею. Зильбер задернул шторы. Странное дело, но он больше думал об одном этом мальчугане, чем о людях из горящего дома. Он пытался мысленно проследить его путь. К центру не надо, бормотал он себе под нос, нервно двигаясь по квартире, иди направо, к Католической. Там кладбище; можно спрятаться под каменным забором. Ощутил на секунду мокрые колючие ветки кустов и холодную влагу за воротником, которой его щедро окатит; по спине прошел озноб. Ночью... Ночью можно в костеле пересидеть. Если туда проникнуть, бормотал, плохо представляя себе, можно ли так сделать, но желая всем нерастраченным сердцем, чтобы мальчуган уцелел... насколько можно.

Прав Бергман: надо что-то делать, а выход всегда найдется. Не выход — вынос, поправил сам себя, представив, как будет лежать в прямоугольном ящике. Ни дать ни взять гроб. Как этот сундук понесут вниз с ним, неподвижно лежащим внутри, он не представлял. А вдруг крышка откроется? Макс уверял, что сундук обвяжут веревками, что можно будет дышать — он сам сядет на подводу и проследит, чтоб осталась щель. Можно что-то вставить, подумал Зильбер, блуждая взглядом по комнате, чтобы крышку держать приоткрытой. Да хотя бы вот этот карандаш. Взял со стола желтый (как

звезда, подумалось сразу) карандаш с окаменевшей культей резинки на конце и стал рассматривать пристально, точно видел впервые. «TICONDEROGA», загадочно представился карандаш. Хорошо, что короткий — его можно придерживать изнутри за этот конец. А интересно, как делают карандаши? Странно: больше сорока лет живу на свете, в любой момент могу погибнуть — и так мало знаю... В школе, в университете, в конторе исписал за свою жизнь несметное количество карандашей — и понятия не имею, как их делают, прямо курьез какой-то! Называется: простой карандаш. *Простой!* Однако кто-то додумался же взять деревянную палочку, просверлить ровное отверстие, как туннель... А дальше? Как засунуть в этот туннель хрупкий грифель — и как обтачивают сам грифель, не сломав, — он такой длинный и тонкий? Да; засунуть грифель, а потом? Как потом нанести на простую палочку эти строгие ровные грани, целых шесть? «TICONDEROGA», загадочно ответила надпись. Он несколько раз повторил непонятное слово. Такие звуки может издавать гремучая змея. Или поезд на стыке рельсов.

Если останусь жив, я непременно узнаю, как тебя делают, простой карандаш.

Скоро полдень. Надо собираться. Бергман обещал появиться в половине третьего.

Самое трудное будет спуститься к нему на четвертый этаж — он не выходил уже... Сколько? Неважно; давно. В ящике достаточно места. Потом придут извозчики — или грузчики? Поднимут — там есть ручки по бокам — и понесут вниз. Четыре этажа. Что, если ручки отвалятся? Или хотя бы одна?.. Он с ужасом представил, как грузчики, отдуваясь, разворачивают сундук на лестничной площадке, и от неосторожного

удара об стенку одна из бронзовых ручек вдруг легко выходит из деревянной сундуковой плоти и остается в руке несущего, а сундук с грохотом падает на ступеньки и — о ужас! — устремляется вниз. Сможет ли он сдержаться и не закричать?

Однако первый час. Он чуть-чуть отвернул краны в ванной, чтобы вода текла тонкой, едва слышной струйкой, и начал намыливать лицо. А стоит ли бриться? Конечно, стоит. Если выход найден, надо непременно привести себя в порядок. Сменить белье, сорочку... Подумать только, через несколько часов его здесь уже не будет!

Сбросил одежду, включил сильный напор и решительно встал под душ. Главное, помыться быстро, чтобы не услышали и не догадались, что он здесь.

К часу Натан Зильбер был готов. Сполоснул под краном стекла очков и тщательно вытер. Есть не хотелось совсем, а главное, не нужно было. Что еще? Да, простой карандаш, таинственный *TICONDEROGA*.

И пусть мальчик спасется.

Бергман шел по улице быстро и легко, ощущая какой-то азартный злой кураж. Никакой уверенности в успехе не было. Так уже случалось несколько раз в жизни, а если быть точным, то четыре раза: он брался оперировать заведомо безнадежных пациенток уже после консилиумов, результатом которых был не диагноз, а приговор, и три раза из четырех члены консилиума его поздравляли. Что его ждет сейчас, триумф авантюры или тот четвертый случай?..

Риск сумасшедший. Но разве в операционной было иначе? Была та же надежда на какой-то мизерный, заблудившийся шанс и на что-то еще, словами не определимое.

По дороге к префектуре он нарочно сделал круг: вдруг наткнется на Йосю, которого тоже звал «мальчиком», по примеру старого доктора.

Перед входом глубоко, всей грудью вдохнул мокрую паутину дождя и снова почувствовал, как накатывает знакомый кураж. На нижней ступеньке лестницы лежал блестящий кленовый лист, а рядом — английская булавка. Интересно, будет ли она лежать, когда пойду назад? *Если пойду назад.*

Тяжелая дубовая дверь разбухла от дождя. Бергман неторопливо закрыл зонт и поставил в бронзовую стойку, в которой уже скучали другие зонты. Не спешить. Не суетиться. Что плохого, в самом деле, может случиться с человеком, невозмутимо оставляющим зонт у входа? Разумеется, он намерен так же невозмутимо забрать его из стойки на обратном пути.

К нему подошел дежурный с зеленой повязкой на рукаве. Местная полиция.

— По вопросу удостоверения личности, — быстро и деловито заговорил Макс по-немецки, — к кому обратиться? — И мельком взглянул на часы в ожидании ответа.

Как он и предполагал, дежурный толком не понял вопроса, но манера посетителя оказалась как раз то действие, на которое посетитель рассчитывал. Полицейский звякнул каким-то колокольцем на столе — в Рождество такими звенят на оживленных перекрестках добровольцы Армии Спасения, собирая пожертвования. На звон откуда-то из боковой двери выбежал другой, с такой же повязкой, и послушно сел за освободившийся стол, глянув на Бергмана безо всякого интереса. Первый с готовностью вызвался проводить; Макс еще раз глянул на часы. Помогло — провожатый, если уместно так называть человека, за которым идешь, пошел быстрее.

В коридоре горел свет. По обе стороны двери были закрыты. Все густо пропиталось табачным дымом и особым канцелярским запахом помещения, где не живут, а служат. Почему дома бумага пахнет иначе, подумал Бергман.

— Здесь, — полицейский остановился и кивнул на дверь, — обождать придется.

Многие стулья в коридоре пустовали, но нужно было выдерживать роль человека, которому некогда. Макс вынул портсигар, достал папиросу, а раскрытый портсигар протянул полицейскому, который тут же услужливо чиркнул спичкой.

На двери комнаты была набита овальная эмалевая табличка с номером: 399. Он сложил цифры: очко! Как наш дом. Посмотрел на часы, по-настоящему озабоченный, не упустить бы грузчиков. Усмехнулся: вряд ли придут вовремя.

Полицейский покосился удивленно: в префектуре улыбаются редко. Как раз открылась дверь, и он коротко кивнул: иди, мол.

Шляпу не снимать, твердил себе Бергман. Тороплюсь, какой уж там этикет. За столом что-то сосредоточенно дописывал человек лет сорока пяти, покусывая согнутый указательный палец — точь-в-точь, как это делал его одноклассник Краузе. Когда сидящий оторвался от бумаги и от пальца, Макс убедился, что это не кто иной, как Фриц Краузе, который уже вскочил из-за стола, задев угол животиком, и с криком: «Бергман!» поспешил навстречу. Шляпу пришлось снять. Схватились рукопожатием и долго не отпускали рук.

— Ох, ты же и верзила, — шутиливо поморщился Фриц, — небось, в хирурги пошел? Я помню: ты на медицинском учился. А я как начал, так и осел на государственной службе, — добавил без сожаления.

Пришлось дать краткий отчет о работе и семейном статусе, затем выслушать ответное повествование. К концу третьей папиросы Краузе растроганно заговорил о скаутском отряде, и Бергман замер, подстерегая паузу, каковую и прихлопнул, словно зазевавшуюся муху:

— Кстати, помнишь, как мы вечером удрали пиво пить? — Не дав собеседнику дохохотать, тут же добавил: — Давай как-нибудь посидим в погребе: я угощаю. Нет-нет, не сегодня — сегодня я к тебе по делу.

Изложил дело, словно нарочно пришел к старому товарищу по гимназии посоветоваться о пропавшем паспорте. Тот слушал внимательно, нахмутив брови и снова прикусив палец, как делал в классе, когда задумывался над решением задачи.

— Я не стал бы, Краузе, тебя затруднять, если бы не работа, — он вынул старый пропуск и протянул через стол. — Клиника, где я работал, закрылась, а с этим билетиком меня даже в ветеринарную лечебницу не возьмут.

Тот прочитал, повертел бумажку и снова прикусил палец.

Не кури, запретил себе Бергман, и взял папиросу.

— Видишь ли, — озадаченно сказал Фриц, — новый паспорт, даже срочный, займет недели две. Снимешься на карточку, заполнишь анкету. В участок сходишь, по месту проживания, — там сведения о прописке дадут. Да ты, может, поищи хорошенько, куда ты мог его засунуть?..

Макс безнадежно махнул рукой:

— В письменном столе лежал, а стол я продал. Ящики, разумеется, освободил. Да только он мог завалиться внутрь, когда я вытаскивал ящик, вот и все. А две недели меня ждать, — он присвистнул, — никакая должность не будет.

Погасил папиросу. Встал.

— Погоди; я тебе пока аусвайс выдам, временный пропуск. Ты теперь свою фамилию как пишешь?..

— Кто как пишет, сам видишь, — Бергман заставил себя легко пожать плечами, с трудом веря услышанному, но не мог и не верить, потому что Фриц писал, тюкая пером в чернильницу и склонив голову — точь-в-точь как на уроке, только на темени нежно просвечивала светлая лужайка. Через несколько минут он прижал к бумаге утюжок пресс-папье, топнул два раза печатью и протянул бумажку на немецком языке, до смешного похожую на советский пропуск.

— Краузе, пиво за мной! И что-нибудь покрепче тоже, — Макс подмигнул.

На пороге кабинета сердечно обнялись.

...Что-то еще, напряженно вспоминал Бергман. Что-то здесь следовало сделать — спокойно, невозмутимо. Он аккуратно уложил бумажку во внутренний карман и уверенно направился к стойке с зонтиками. Не спеши, ты ничего не украл. Кроме доверия товарища, прямодушного Краузе. Не иди быстро — он может смотреть из окна. Раскрой зонт, дождь лупит вовсю.

На нижней ступеньке лестницы лежал тот же лист, мокрый и блестящий, а рядом английская булавка.

У парадного не было ни одной подводы. Никто не приехал, успокоил дворник. Народ балованный — знают, что сейчас они нарасхват.

Бергман торопливо кивнул и поспешил наверх. И хорошо, что народ балованный, бормотал, выуживая их кармана ключи. Он привычно отпер знакомую дверь, тихо закрыл ее и только тогда произнес:

— Это я, Натан. Готовы?

Плотно зашторенные окна делали квартиру еще темнее, и он потянулся рукой к выключателю, позвав еще раз:

— Натан?..

Рука замерла и опустилась, а сам он медленно повернул голову, начисто забыв о грузчиках, префектуре, собственном страхе и спешке. Зильбер висел в передней, словно отворачиваясь от лампы, свисавшей с того же крюка, как будто свет мог потревожить печаль на спокойном, чуть снисходительном лице.

Двойная парадная дверь распахнута настежь, и чужие люди в грубых брезентовых рукавицах выносят, переступая мелкими шажками и оглядываясь, диван. Потом секретер. Кресло явно не хочет покидать дом и нарочно застревает внизу, чтобы полюбоваться на себя в зеркале; грузчики пытаются развернуть его боком.

«Ска-а-рб, ска-а-арб», — сварливо скрипит вдогонку дверь черного хода, раскачиваясь и хлопая от сквозняка. Кресло, привыкшее к сибаритству, тоже чувствует сквозняк и неуют коридора, поэтому позволяет, наконец, выволочь себя и водрузить на подводу; спасибо, хоть от дождя прикрыли. «Ска-а-а-арб», не унимается дверь черного хода, и тетушка Лайма плотно закрывает ее.

Разделавшись с креслом, чужие люди быстро погрузили связки книг и чемоданы. Последним спускается доктор Бергман с собакой. В руке он несет лампу с зеленым абажуром, держа ее слегка на отлете. Разбить боится, решает зеркало: все, что касается стекла, ему особенно близко.

Страшно подумать: остались только имена, думает доска. Она видит себя в зеркале каждый день и уверена, что

зеркало хранит и все остальные отражения. Когда станет совсем грустно, надо будет попросить — пусть покажет всех, кто проходил мимо них, выходя или уходя навсегда. Хорошо, что у меня все записаны. Кроме господина Мартина; но в зеркале и его можно будет увидеть... когда-нибудь, когда станет совсем одиноко.

Остался только дом — и дядюшка Ян, вон светится одно окно; все остальные темные, никого больше нет.

Мыза «Родник» мало отличалась от любого другого хутора, и еще меньше — от того, который Леонелла без сожалений оставила когда-то, чтобы никогда не возвращаться.

Первое впечатление, когда оказалась внутри: вернулась. Огромная плита с кафельными стенками и железным поручнем, на котором сохли старательно выполосканные тряпки. Должна быть веревка с прищепками, вспомнила Леонелла и подняла глаза. Вот и веревка, прямо над плитой; когда сильно топят, ее отводят в сторону и цепляют за крючок в стенке. На низкой табуретке ведро, покрытое холодной испариной: вода. Интересно, далеко ли родник? Ведро накрыто фанеркой, сбоку видны язвы отбитой эмали. С гвоздя свисает гигантская гроздь золотистых луковиц и связка тусклых седых головок чеснока. Марлевые мешочки с творогом сочатся мутной зеленоватой сывороткой. На краю плиты — медный кофейник с вялой струйкой пара. Кофе, Леонелла знала, заваривают с утра и пьют в любое время дня, когда удастся присесть.

— Я вам кофию налью.

Хозяйка легко подвинула грубый тяжелый стул с вырезанным в спинке сердечком и отвернулась к буфету за чашками. Имя Зайга, лязгающее, как вывеска на ветру, удивительно

подходило к ее скрипучему голосу, как сама она подходила к этой грубой кухне. На вид лет шестидесяти, она могла быть и старше, но двигалась легко, голову держала прямо и властно. На столе появилась тарелочка с ярко-желтым маслом и большой ком творога, на котором отпечаталась тонкая решетка марли. Она секунду помедлила и проскрипела:

— Я сейчас, только в погреб...

Леонелла продолжала осматриваться. На полу — как же она забыла! — половики, сплетенные из лоскутков. Чугунный утюг на плите, на вид совершенно неподъемный, однако в руке — она помнила — очень удобный. Рядом с дверцей плиты висят холщовые льняные мешочки с вышивкой. Покажите мне хутор, где нет таких мешков-карманов, — они отличаются только цветом вышивки и рисунком. Здесь синими нитками изображена упитанная девочка в чепчике и переднике. На одном мешке вышито «Спички», на другом указательной надписи нет, но присутствует та же хлопотливая девочка. Кто вышивал: Марита или тетка? На полу корзина с дровами, длинными и корявыми.

— Сметана, — хозяйка поставила на стол кувшин.

Корову сама доит, решила Леонелла, вон какие руки крепкие.

Кофе оказался без запаха, но густой и горячий, зато хлеб издавал такой аромат... Забыла, его тоже забыла, хотя Марита приносила с базара почти такой же. Нет, для базара они пекут как-то иначе. Или все же отвыкла?..

В дверной проем была видна комната, обыкновенно называемая залой. Сколько Леонелла ни прислушивалась, ребенка не было слышно, как не видно и не слышно было Мариты. Наверно, тетка нарочно хотела поговорить с нею наедине.

— Еще кофию?

— Благодарю вас, — Леонелла отодвинула чашку.

Когда не знаешь, как приступить к неприятному делу, начинай прямо с неприятного дела. Повернула к хозяйке любезное лицо и мягко спросила:

— Так что же вы решили?

Хозяйка аккуратно смела со стола в миску хлебные крошки. Курам, догадалась Леонелла. Где-нибудь на заднем дворе, и хлев там же. От такого изобилия сдавать ребенка в приют? Как будто в приюте хоть раз так накормят...

Недоумение никак не отражалось на учтивом лице. В ожидании ответа Леонелла изучила полосатый передник хозяйки, сивые волосы, стянутые темной косынкой, и лицо, хоть и с морщинами вокруг рта, но по-деревенски свежее. Небольшие серые глаза с одинаковым выражением смотрели на хлеб, на гостью и на полено, которое как раз сейчас она засовывала в плиту. Жесткое, деревянное какое-то лицо. Закрыв дверцу, Зайга поднялась с колен и отряхнула руки.

— Я вам написавши, — она кивнула на сумочку Леонеллы, — все как есть. Немолодая я; хозяйство тяну через силу. Ребенка и вовсе смотреть некому. Еще спасибо, что сына сейчас дома нету, в лес он ушедши. Вернется — спасибо мне не скажет, что взяла ублюдка рóстить, кормить да обстирывать; сам женится, свои дети пойдут. А девчонку куда? Я вам все как есть написавши.

Скрежещущий голос смолк, точно закрыли скрипящую калитку.

— Значит, совсем взрослый сын? — задумчиво кивнула гостья.

— Тридцать будет, — Зайга улыбнулась, но — странное дело: глаза от улыбки не изменили выражения, все лицо осталось таким же деревянным.

Пора было возвращаться домой.

— Я вас понимаю, — сочувственно произнесла Леонелла вставая, — но ваша племянница должна сама принять решение. Иначе приют ребенка не возьмет. Пусть напишет, что согласна. Конечно, с малюткой она в городе место не найдет, а так...

И потянулась к своему пальто, когда снова услышала скрипучий голос:

— Господи, мой Боженька! Марита померши, две недели как...

...От ночлега на хуторе Леонелла отказалась. Хозяйка сама запрягла лошадь и отвезла ее на станцию. Не только ее, но и корзинку со спящим младенцем, спеленутым плотно, как голубец, и завернутым поверх пеленок в толстую шерстяную шаль. Туда же, в корзинку, Зайга поставила бутылку с молоком.

Много ли народу было в вагоне, Леонелла не заметила, потому что не видела ничего, кроме корзинки. Время от времени приоткрывала складки шали и наклонялась, чтобы почувствовать дыханье малютки. Довезти бы живой. Хорошо, что рано выехала, в который раз проскальзывала мысль — и тут же исчезала, вытолкнутая воспоминанием о хуторе. С каким запозданием увидела, что косынка, под цвет платью, черная, только старая и выгоревшая от солнца. Это из-за полосатого передника, вот что. Однако передник, она понимала, здесь ни при чем — просто невозможно было допустить мысль, что эта румяная здоровая девушка

может не жить. Не помогло ни цветущее юное лицо, ни виолончельная фигура — залог здорового материнства. Вмешалось что-то совсем другое, понятное только докторам, в результате чего Леонелла сидит сейчас в поезде и, обмирая от страха, прислушивается к дыханию чужого младенца.

А тогда Зайга сняла с плиты кофейник и налила ей новую чашку. Сама села напротив и, медленно прихлебывая кофе, рассказывала про какую-то «гнилую горячку», и как бабка-повитуха велела позвать знахарку, «а знахарка тая свой хутор продавши и уехавши». Почему же доктора, доктора почему не позвали, несколько раз спрашивала Леонелла, не прикасаясь к своему кофе, в то время как хозяйка продолжала скрипеть, как она не любит быть никому должной и бабке заплатила, как полагается, а Марита горит вся, и кровь из ней идет дурная, нехорошая, и молока ни капли не показалось. Я письмо вам пославши сразу, как схоронили; получили, думаю, или нет?

...Письма Леонелла не получила. Скорее всего, оно так и лежало у дворника, когда она была занята переездом.

Пока один человек расставляет мебель, меняя местами то столик, то банкетку, кто-то другой тасует человеческие жизни. Что такое «гнилая горячка»?.. И как она, Леонелла, допустила, чтобы у нее на руках оказался грудной ребенок — сколько времени понадобится, чтобы устроить его в приют?

Сидела, не прикасаясь к кофе, но чашка вдруг оказалась пустой.

— Я не люблю быть должной, — проскрипел голос, — вот деньги, что Марита мне была посылавши. Мне без надобности, а деньги, може, там... в приюте потребуют. Она когда приехала, то все жалованье привезла. И раньше мне посылала, Марита моя... Вы берите, берите; я не люблю быть должной.

...Неужели прошло так мало времени? И что если она задохнулась?! — Дышит; довести бы.

Элегантная дама с корзинкой в руках выглядела настолько необычно, что такси не спешило подъехать ближе. Не выпустив корзинки, дама сделала властный жест свободной рукой, и через минуту такси послушно устремилось к Кайзервальду.

— Тормозите осторожней, — приказала дама.

С облегчением увидела свет в окнах второго этажа и медленно пошла к крыльцу. Бергман встретил ее в передней, но поздороваться не успел — Леонелла прижала палец к губам и кивнула на корзинку:

— Это моя дочка.

Был момент, когда Йося Копелевич едва не вернулся к старому доктору. Он запрещал себе называть его иначе как «проклятый фашист», его и этого второго, тоже с немецкой фамилией. Однако вернуться означало снова попасть в ловушку.

Ему удалось пересидеть целый день в заброшенном домишке, таком старом, грязном и закопченном изнутри и снаружи, что трудно было представить, будто здесь кто-то жил. В домике было так же холодно, как на улице, но сюда не проникал дождь. Пока Йося бежал по ночному городу, сворачивая из одной улочки в другую, длинноватые брюки намочили, и ему приходилось часто останавливаться и закатывать края штанин. Так он миновал остроконечную церковь с каменной оградой и чуть не нарвался на патруль, но успел юркнуть в калитку и прижаться к ограде, хоть мокрый куст обдал его водой. Патруль давно прошел, но ему все время слышались шаги по мостовой, пока он не догадался, что это стучит его сердце. В тот момент он и подумал о возвращении.

Церковь была заперта, внутри было темно, а за каменной дорожкой начиналась трава; парк, что ли? Свет с улицы, и так скудный, сюда не проникал. Он двинулся вперед — и отпрянул, наткнувшись на что-то острое и твердое и споткнувшись о земляной холмик. К этому моменту его, дрожащего от холода, прошиб жар: он стоял на кладбище, в окружении крестов и могил. А говорят, кровь стынет в жилах, успел подумать, прежде чем перемахнуть через забор, не думая о патруле, забыв о калитке — лишь бы подальше от мертвецов.

Так он очутился в небольшом проулочке, где и наткнулся на брошенный домишко. Грязный затоптанный пол и низкий потолок дружно сдавливали снизу и сверху не то кухню, судя по плите, не то комнату, если заметить постель в дальнем углу; Йося заметил не сразу. Единственное оконце выходило на улочку, кривую и узкую, и было настолько грязным, что снаружи ничего нельзя было рассмотреть. Плита не сияла кафелем, как у старого док... фашиста, а была сложена из кирпичей и, как показалось Йосе, давно не топились, о чем можно было только пожалеть. Топить, однако, было нельзя, да и нечем: ни одного полена, только обрывок грязной газеты и кочерга. Ни стола, ни стула не имелось, да они, по-видимому, и не требовались неизвестному обитателю, ибо он в еде был неприхотлив, о чем свидетельствовали две жестянки из-под консервов с непонятными надписями и ржавая вилка.

Кровать — вернее, топчан — была покрыта вытертым стеганым одеялом, из которого дымными вулканами торчала вата, а сверху было наброшено что-то вроде плюшевого театрального занавеса, местами прожженного.

Небо посветлело, и при утреннем свете Йося рассмотрел в закопченном углу маленькую цинковую раковину. Он за-

мерз, но очень хотелось пить. Попил прямо из крана. Стало еще холоднее, его затрясло. Уходя от доктора, он снял с вешалки пальто — судя по модному покрою, явно принадлежавшее не доктору. Рукава пальто были ему длинноваты, как и брюки, но сейчас это оказалось очень кстати. Можно пересидеть в этой норе день, а потом двинуться дальше — к нашим.

Все было противное, грязное, чужое. Йося присел на краешек гадкого топчана, поднял воротник, спрятал пальцы в рукава украденного — у немца, у фашиста! — пальто и терпеливо ждал, когда кончится только что начавшийся день. Попытался думать только о том, как найти наших, страшась в то же время признаться себе, что не знает, как вернуться к старому доктору, если бы даже такая дикая мысль пришла ему в голову.

...Красноармеец Иосиф Копелевич оказался наполовину прав: Старый Шульц был стопроцентным немцем, не будучи при этом — ни в малейшей степени — фашистом. Его предки, местные немцы в бог знает каком поколении, здесь прожили всю жизнь и встретили свою кончину. Шульц проводил репатрировавшихся коллег и соседей, но сам уезжать категорически отказался: могилы не бросают.

Бергман уже знал, что Старый Шульц женат, дочь Элга больна туберкулезом и больше времени проводит за границей, на высокогорных курортах, чем дома; Райнер — сын — учится во Франции. Рассказал доктор и о том, как в апреле 40-го он снова отправил жену с дочерью в Швейцарию, откуда жена собиралась поехать во Францию — навестить сына, и ее письмо пришло накануне того дня, когда немцы заняли Париж. С тех пор никаких известий о семье Шульц не

имел. По-прежнему каждый день проверял почтовый ящик, неизменно пустой, и надеялся, что завтра будет иначе: внутри непременно окажется конверт из Швейцарии. Или открытка от Райнера, из оккупированного Парижа. Почему-то представлял себе именно так: от жены с дочерью письмо, а от мальчика — открытка. Однажды Макс заметил, что старик легонько погладил рукав пальто, висящего в передней на вешалке, пальто, которое больше там не висело, и оба врача знали, куда оно исчезло.

Сам того не подозревая, Старый Шульц относился к сбегавшему парню намного теплее, чем того требовал долг лечащего врача и гостеприимного хозяина. А может быть, и знал, потому и называл его ласково «мальчиком». Походил ли еврейский парнишка из белорусского местечка на его сына, по воле войны замешкавшегося в Париже, Бергман не задумывался, да это и не имело значения. Он был уверен, что, будь на месте Йоси немецкий солдат, а за окном развевались бы флаги с серпом и молотом, Шульц поступил бы точно так же, и не столько по врачебному, как по человеческому долгу.

Слухи о строящемся гетто дошли до него еще до того, как Бергман сообщил эту новость. «Мерзость, — он швырнул газету на стол, — средневековье. И это — немцы!..» Задохнулся от горечи, ярости и стыда и принялся протирать очки, с гадливостью щурясь на газету. Поднял вопросительный взгляд на Бергмана: не появился?.. Тот покачал головой: нет, Йоси не было, и собрался уходить — он уже третий день работал в больнице Красного Креста.

В это время раненый, стоявший у окна спиной к ним, обернулся и произнес:

— Мальчик.

Шульц кинулся к окну:

— Где мальчик?

Раненый нахмурился:

— Не знаю. Нету. Мальчика нет.

Ему стали задавать вопросы, и было видно, что вопросы он понимает, но отвечал одно и то же, напряженно потирая лоб:

— Не знаю. Мальчика нет.

Минут через пять начал часто зевать. Лег и почти мгновенно уснул.

Если заставить его каким-то образом вспомнить, о чем говорили в машине, убеждал Макс старика, то дело быстро пошло бы на лад. Шульц не перебивал. Наконец, неохотно ответил:

— Мало ли о чем военные говорили в машине. Вопрос в том, что для него сейчас, — он сделал упор на последнее слово, — лучше: вспомнить, кто он, или... не вспомнить?

Заметил удивление Бергмана и объяснил, понизив голос:

— Представьте, что он был каким-то важным армейским чином: майором, полковником... Не знаю. И — не дай Господь! — вспомнит об этом. Что тогда?..

Снова сделал паузу и решительно закончил:

— Пусть живет в неведении. Ему сейчас хорошая физическая нагрузка нужна, да чтобы никаких нежелательных ассоциаций. Такие контузии даром не проходят. В деревню бы, на хутор... Или в садоводство куда-нибудь. Ступайте, ступайте, доктор, не то опоздаете.

Еврейские женщины пришли в дом с ведрами и щетками, как незадолго до этого приходили в соседний дом: иначе, как казармой, его теперь не называли, и мало кто на

Палисадной помнил, что в нем находилось прежде всех ремонтов. Одни поговаривали, будто бы гостиница, но поговаривали неуверенно, а другие уверяли, что не гостиница вовсе, а какое-то «товарищество», но к советским «товарищам» никакого отношения не имевшее; тогда почему «товарищество»? Но этого тоже не знали.

Теперь уборке подвергся дом № 21. Женщины негромко переговаривались друг с другом и пугливо замолкали при виде дворничихи. Тетушка Лайма охотно остановилась бы поболтать по-соседски, как делала всегда, но теперь чувствовала себя очень скованно, разговора никак не получалось. Да и не могло получиться: что можешь ты, стесненный собственной свободой, сказать заклеяменному и обреченному?! Дворничиха убирала, чистила и мыла вместе с ними, но и женщины, и она сама знали, какая пропасть их разделяет.

Рыжие сургучные крошки хрустели под ногами, как черствое печенье. Квартира № 10, где жила семья офицера, выглядела так, словно в ней побывал торопливый вор. Отвисшими челюстями торчали ящики комода. В распахнутом шкафу болтались ключицы пустых вешалок в легкомысленной компании модных крепдешиновых платьев. На обоях детской были нарисованы гномы в смешных колпачках и полосатых чулках, и Лайма не могла не улыбнуться, а маленький голый матрац, тоже полосатый, выглядел так сиротливо, что она торопливо отвернулась к ведру. Отодвинув кровать, она нашла облезлый деревянный кубик с разноцветными буквами и картинками, обтерла его тряпкой и опустила в карман передника. В корзинке для рукоделия ему найдется место.

Эрик, владелец игрушечного кубика, едва ли вспоминал о своей потере. Во-первых, дети забывчивы, а во-вторых, Эрик увидел за последнее время так много нового, что вряд ли в его мыслях осталось место для старого кубика.

Поезд шел очень долго, и мальчик почти привык к новой жизни, с вечно дрожащим вагонным полом и лязгом железа, тем более что никакой другой видеть не мог — окошки были устроены очень высоко, папа иногда поднимал его, но оттуда увидеть можно было очень мало. Слова, которыми обменивались взрослые, тоже были новыми, непривычными для уха и языка: *коми — Ухта — Печора*. Ухта звучало заманчиво и весело, как «ух ты!». Но больше всего притягивало слово *Печора*, так напоминающее о горячей печке, которой в вагоне не было. Его укладывали спать в большой чемодан-корзинку, набитый теплыми вещами. Вещи были родные, они пахли домом, и если заткнуть уши, можно было вообразить, что ты взаправду дома. Прежде чем доносился стук колес, похожий на слово *вы-чег-да, вы-чег-да, вы-чег-да*, и едкий запах табачного дыма, сон уносил Эрика домой, где он спускался на четвертый этаж к другу Юлику и рассказывал о своей новой жизни.

Потом жизнь опять поменялась, и Юлик остался где-то совсем далеко, а они с мамой и папой будут жить теперь в лесу под названием «поселок». Дядя Роберт из двенадцатой квартиры ехал в одном поезде с ними, все время что-то писал, а потом рвал на мелкие кусочки; Эрик надеялся, что он и здесь будет жить рядом, но получилось все совсем не так. И папу, и дядю Роберта отправили в лагерь.

Домик, где они с мамой будут жить и дожидаться папу, похож на тот, что нарисован в книжке со сказками, и тоже стоит в лесу, только живет в нем не ведьма, а старик, у кото-

рого одна нога настоящая, а другая деревянная, как ножка у табуретки. В домике занавес, как в театре, и старик велел им жить за занавесом. Кранов нет ни одного, зато во дворе колодец, откуда достают воду, а над колодцем крыша, только мама не позволяет даже подходить к нему, не то что крутить блестящую ручку...

Сначала ~~весь~~ вагон страдал от духоты, но по мере продвижения на север, ~~каким бы~~ долгим оно ни было, становилось все холоднее, и теперь уже было странно, что жара могла мешать и мучить. Бывший лейтенант Национальной Гвардии Бруно Строд умудрился застудить ухо, уже испытавшее разящую силу советской власти. Боль стреляла огненной картечью прямо в мозг. Несмотря на уговоры жены, Бруно не соглашался обмотать голову шарфом: что я, баба? Если удавалось заснуть, просыпался либо от боли, либо от жуткого звука — как выяснилось, собственного зубовного скрежета. Боль временами становилась такой дикой, что, когда поезд наконец остановился, единственная мысль была о враче. Конвойный солдат прикладом оттолкнул его от Ирмы и сына, Ирма кричала: «Он болен, болен!..». Бруно взмахнул на прощанье рукой, и этот жест отозвался взрывом боли в голове.

Мужчины строились в ряды по пятеро. Рядом с ним очутился Роберт. Он что-то говорил, и приходилось поворачивать к нему здоровое ухо, хотя здоровое тоже ощущалось как больное и слышало плохо.

Бруно не успел узнать особенностей лагеря — ни раннего подъема, ни промерзшего барака, ни карцера, ни лесоповала: он потерял сознание прямо в воротах. Врача в санчасти не случилось. Фельдшер щедро похлопал новенького

по щекам и воткнул под мышку градусник, но ни одно из лечебных мероприятий не помогло — тот не только не пришел в себя, но повел себя более чем странно: не приходя в сознание, начал выгибаться мостиком. Никак, припадочный, решил фельдшер. К затейливым хворям вроде менингита или отека мозга он готов не был, в диагностику глубоко не вдавался, а просто вознамерился отправить этого фраера на зону не позднее чем завтра. Однако как ни предполагает человек, все ж располагает отнюдь не он, потому что на следующий день заграничный фраер отправился не на зону, а в распоряжение похоронной команды: лейтенант Национальной Гвардии Бруно Строд умер в лагере, хотя эком стать не успел, как не успел дожждаться дочки, которая разминулась с отцом не более чем на шесть месяцев.

Так вот зачем везли на грузовиках бревна и катушки с проволокой!.. Оказывается, так строят гетто. Бревна вбивают в землю и соединяют блестящей колючей проволокой в несколько рядов. В одном квартале от дома поставили высокие ворота, где постоянно дежурят солдаты из казармы. Чисто вымытые окна дома с недоумением глядят на падающие листья и на пустырь. Там, за пустырем, тоже видны часто расставленные столбы, крепко связанные друг с другом блестящей проволокой с шипами. Колючая ограда отрезала, в числе прочих, четырехэтажный розовый дом, со всеми лавками и лавчонками первого этажа, и покупатель, входя и выходя, опасно поглядывают на проволоку. Парикмахер чаще обычного выходит на порог своего заведения и всякий раз непременно бросает взгляд на забор и ворота. У него в витрине появился самодельный плакат с красиво напи-

санным словом «ВИТТЕ!». Приглашение помогло, хотя и без приглашения в маленьком, как будка, заведении было тесно от солдат. Офицеры тоже почли своим вниманием парикмахерскую и не сетовали на скудный выбор одеколонов, принимая во внимание более чем скромные цены.

Наблюдая за этой кипучей суетой, дом № 21 даже начал завидовать приюту. Приют по крайней мере обитаем, и тепло батареей согревает людей, а не пустую скорлупу, как думает о себе дом. Отчего-то показалось, что дворник с женой стали старше. Облетел каштан во дворе. У крыльца собирались маленькие унылые лужицы — и пропадали вслед за дождем. Зеркало чуть затуманилось, будто уснуло; примолкла болтливая доска. Дом, в котором никто не живет, ничем не отличается от пустыря; так ли уж важен колючий забор?..

Довести это тоскливое рассуждение до конца не удалось. Вспугнув небольшую лужу, подъехала блестящая от дождя машина, откуда вышли первые новые жильцы. Похоже было, что дядюшка Ян был к этому готов — он открывал одну за другой квартиры, а приехавшие офицеры, переговариваясь друг с другом, входили и осматривали. Вслед за первой подъехала еще одна легковая машина, а потом грузовик, из которого солдаты начали выгружать чемоданы новых жильцов.

По тому, с какой почтительностью одни приветствовали и пропускали других вперед, а иные дружески болтали, идя рядом, Ян составил для себя первое представление об иерархии офицеров СД. Новые жильцы расселились быстро и без лишней суеты. Квартиры пятого этажа особым спросом не пользовались: слишком высоко, а где-то, как, например, в 12-й, где жила Прекрасная Леонелла с мужем, полностью отсутство-

вала мебель. Пока примеривались, один из офицеров занял квартиру № 10. Этажом ниже, где жил некогда антиквар, уже хлопотал чей-то денщик. Скромное жилище князя Гортынского тоже пришлось кому-то по нраву, а недостаток мебели можно было восполнить чрезвычайно легко — квартира Шиховых все еще пустовала. Свободной оставалась и квартира № 2, где жила дама-благотворительница, зато соседнюю, бывшую квартиру хозяина, заняли одной из первых.

Чужие люди, чужие голоса на чужом языке, чужие запахи.

Любопытно, что в расселении наметилась странная симметрия между новыми жильцами и прежними, пусть и не все жили здесь подолгу. Не удивительно ли, например, что квартиру хозяина занял самый старший по званию, а именно штурмбанфюрер? Особенно если вспомнить, что в советский страшный год сюда въехал майор, что в переводе на язык Третьего рейха и соответствует штурмбанфюреру. Новый обитатель квартиры № 8 оказался гауптштурмфюрером, и произнести не запнувшись его звание не легче, чем фамилию старого коллекционера. Кстати сказать, здесь даже осталась кое-какая мебель, хотя капитан Красной Армии (своего рода гауптштурмфюрер), вместе с неприветливой женой в беретике, вывезли из этой квартиры немало... Симметрия несколько нарушается, когда в квартиру князя Гортынского, долгое время пустовавшую, въезжает оберштурмфюрер; и все же симметрия присутствует. Это мог бы заметить лейтенант Национальной Гвардии Бруно Строд, тем более что его квартиру занимает унтерштурмфюрер — не кто иной, как... лейтенант армии вермахта.

Ничего удивительного поэтому не было, когда через две недели в квартире доктора Бергмана появился военный врач.

Впрочем, ни сенбернар, ни какая-либо другая собака ему не сопутствовала. Да и в самой условной симметрии не было ничего странного, поскольку она установилась в масштабе всего Города. Улица Свободы, например, была переименована советской властью в улицу Ленина, однако теперь стала называться *Hitlerstrasse* — каждая власть называет главную улицу именем вождя. Другой дом, на бывшей улице какого-то Карла, где прежние жильцы вынужденно побывали «по делу трубочиста-вредителя», легко подхватил эстафету — в нем расположилось совершенно параллельное ведомство новой власти. Трудно представить, что государственные режимы действуют так согласованно — скорее всего, сама архитектура города расставляет акценты: если закрывается ресторан, то на его месте через какое-то время появляется новый ресторан — или кафе; но не баня и не аптека.

Чужие люди заняли город — дома, рестораны, учреждения, кинотеатры... Чужие люди вселились в дом.

Дом не пытался узнать их имена или запомнить звания; да и зачем? Чужие люди, с чужими голосами и чуждыми слуху названиями, очутились здесь для того только, чтобы продуманно организовать ловушку для людей — гетто, заселить его, а потом так же продуманно уничтожить, со всеми обитателями.

Новая квартира доктора Ганича всем была хороша: удобное расположение, второй этаж, просторные комнаты. Однако привыкали к ней с трудом. Вначале Лариса винила темноватый кабинет, потом кабинет отошел на задний план, зато выяснилось, что во дворе мало места, а парк далеко. Потом и двор был забыт, потому что во всем оказалась виновата кухонная кладовка...

Жаловалась в основном жена. Сам Ганич не мог понять истинной причины дискомфорта: двор был не меньше, а больше, чем старый, света в кабинете вполне достаточно; на кладовку просто махнул рукой: кладовка как кладовка.

Маленькая Ирма ночами плакала. Укачивая ее, доктор подходил к окну и видел не верхушки деревьев и не крышу приюта, как привык видеть с четвертого этажа, а чужие спящие окна напротив. Тогда понял: новый дом только тем нехорош, что не похож на старый.

Больше всего его мучил оставленный в погребе отцовский парабеллум. Не забытый, нет; но во время переезда что-то помешало спуститься в погреб. Потом надо было привыкать к новому месту, и вернуться туда оказывалось все сложнее. Так шло время, пока не толкнулась простая мысль: если не сейчас, то когда? Доктор Ганич взглянул в раскрытый регистрационный журнал: сегодня пациентов больше не будет. Вымыл руки, повесил халат и через несколько минут уже направлялся привычной дорогой к знакомой улице.

Улица взъерошилась забором из колючей проволоки. Местами она потускнела, появились веснушки ржавчины. Свежетесаные столбики высотой в человеческий рост еще хранили желтизну. Только сейчас, увидев забор и ворота, пока еще распахнутые настежь, дантист смог собрать воедино мелкие лоскутки бесед в приемной, поднятые брови и недоверчивые взгляды. Он сам был готов сейчас с кем-нибудь перегляднуться и спросить, что означают эти перемены, но догадка пришла раньше. Он прошел мимо солдат, миновал ворота. Слева чернели, как сгнившие зубы, остатки спаленного домишка... Прежде чем зайти в дом, он потоптался на пустыре. Здесь тоже все изменилось: когда переезжали, никакого пу-

стыря не было, только развалины; теперь не было развалин, а просто сидела неуместная проплешина там, где полагалось быть соседнему дому. Перевел дыхание, ступил на знакомое крыльцо и уверенно позвонил. Сейчас выйдет Ян.

Дверь открыл немецкий солдат. Вадим отпрянул в изумлении и начал объяснять, что жил в этом доме, а теперь возникла необходимость... Но за спиной солдата показался дворник. Удивительно было, что немец оставил без внимания вежливую и пространную тираду Ганича, а смотрел только на дворника, которому хватило ткнуть большим крестьянским пальцем себе в грудь и кивнуть Ганичу, чтобы солдат отступил в сторону.

Озабоченный взгляд и впалые щеки делали Яна старше. Ошеломленный увиденным, дантист от кофе отказался, а потом машинально принял от тетушки Лаймы кружку, так же машинально отпил и похвалил кофе. Обрадованная дворничиха рассказала, как артистка едва не сломала ногу, благодаря чему он, Вадим Ганич, и наслаждается сейчас настоящим кофе, а то где ж вы его купите, на черном рынке разве. Все до одного съехали. А что было делать? Кто куда... Только Шиховы да артистка адреса оставивши, коли письма будут. Нет, про господина доктора ничего не известно. Конечно, вместе с собакой, а как же. Мы с Яном всегда кости оставляли, пес у него не балованный.

Ганич не собирался спрашивать о нотариусе, но вопрос вылетел как-то невзначай, сам по себе. Лайма отвернулась за кофейником, а дворник подтвердил: да, господин нотариус тоже переселился. Далеко ли, удивился дантист.

— Плита дымит, — Лайма вытерла покрасневшие глаза, — спасу нет.

Выяснилось, что офицеры поселились надолго; при каждом денщик. И те и другие вежливы, ничего не скажешь. Лайме, слава богу, не приходится убирать квартиры — для этой надобности приходящие есть, да и денщики стараются, в чистоте держат; остаются коридоры и лестницы, конечно. Если ремонт какой, зовут Яна, как и заведено; а ваша квартира не занята покамест, господин доктор...

Господин доктор нерешительно сказал, что хотел бы забрать из погреба санки для сынишки — зима на носу, но Ян покачал головой. Немцы привезли уголь, насыпали целую гору, так что санки ваши, если целы остались, все равно никак не достать.

Вадим распрощался и вышел, как выходят из дому, чтобы вернуться. Парабеллум — это его грех: надо было прийти раньше. То, что не сделаешь сразу, не сделаешь никогда. Параллельно, будто след тех санок, которые он сроду не держал в погребе, пульсировала мысль о нотариусе: если переселился, то в гетто. Несколько раз по дороге Ганича останавливали бойкие мужчины с одним и тем же предложением: «Могу поспособствовать с квартирой, не желаете?...» Вадим цедил сквозь зубы: «Благодарю, не нужно» и шел быстрее, чтобы избавиться от навязчивых маклеров и внутренне холодея при мысли, что и он искал бы здесь жилье для своей семьи, если бы в третьей строке паспорта значилась национальность матери, а не отца.

...До недавнего времени родители безмятежно жили в маленьком городке с громоздким названием, в нескольких часах езды на поезде. Все изменилось год назад, когда мать умерла от инфлюэнцы, только и успев пожаловаться на ломоту в суставах. На следующий день появился жар и сухой кашель — типичный «катарр», решил профессор Ганич.

Оказалось, однако, что атипичная пневмония, следствие той самой инфлюэнцы. Все началось и кончилось с ошеломительной скоростью: сердце не выдержало на пятый день.

Отец позвонил, и Вадим встревожился: телефоном отец пользовался только в экстренных случаях, не допуская праздной болтовни. Его собственный телефон звонил часто, и каждый случай был экстренным. Отец был известным педиатром, и часто случалось, что родители в панике вызывали «амбуланс» — и тут же звонили профессору Ганичу. Как раз в один из тех дней его пригласили к трехмесячному младенцу — ребенок охрип от крика и не брал грудь. Профессор внимательно осмотрел распеленутого мальчугана, который замолк, сучил ножками и так же внимательно водил глазами за профессорским пальцем, а потом пустил упругую струйку; оба остались довольны друг другом. Рядом стояла перепуганная мать, зябко передергивая плечами. Ее-то, как выяснилось позднее, и следовало лечить: профессор был уверен, что принес инфлюэнцу именно оттуда и заразил жену. Догадка осенила его через несколько дней, когда жена накинула на плечи теплый платок, жалуясь на озноб, и повела плечами точь-в-точь как та женщина. Он говорил об этом так часто, что Вадиму стало казаться, будто он сам видел и младенца, и заболевшую мамашу, и свою собственную мать, кутавшуюся в платок. «Почему не я, — вторял отец, — почему я сам не заразился?!»

Миновал год. Ничто больше не удерживало отца в маленьком городе с длинным названием, и Вадим с Ларисой уговаривали его перебраться сюда, поближе к ним. Ганич-старший вежливо соглашался, чтобы не пускаться в долгие объяснения, которых было ровно два: могила жены и работа, именно в такой последовательности, потому что в сто-

личной клинике для профессора Ганича нашлось бы достойное место. Иными словами, отец ласково и непреклонно отказывался. Лариса не вмешивалась, но раз в неделю писала свекру письма, в которых рассказывала о проказах подрастающего Юлика, ни словом не упоминая о переезде.

Когда родилась дочка, Вадим позвонил отцу: это ли не экстренный случай? На следующий день профессор позвонил сам, хотя никакой срочности не было, и перепугал сына до полусмерти, а позвонил осведомиться о здоровье малышки и Ларисы... Через неделю последовал новый звонок — профессор Ганич явно изменял своим правилам: «Как назвали? Как ее зовут?» — кричал в трубку отец; связь была безобразная. Услышав ответ: «Ирма», долго молчал, — разъединили? — но скоро послышался глуховатый голос:

— Мириам...

Так звали мать. Тем же глуховатым, непривычным к слезам голосом отец задал Вадиму несколько вопросов о детской больнице, а через две недели переехал к ним — налегке, постуденчески, избавившись от всего имущества, — и сразу же приступил к работе. Возвращался из больницы, переодевался и шел в детскую. Потом просматривал газетные объявления в поисках квартиры.

Вадим газет не читал. Как-то отец, кивнув на сложенный газетный лист, негромко сказал:

— Хорошо, что мама не знает.

...Сейчас, проходя знакомыми улицами, Ганич понял, что вспоминать будет в первую очередь колючий забор, а потом уже все остальное, хотя много что поменялось. На здании русской гимназии немецкими буквами было написано: «JUDENRAT».

Во дворе толпа растерянных людей с тревожными желтыми звездами на пальто, и толпу эту ловко, как челноки, прощны-ривают сомнительного вида субъекты — маклеры.

Хорошо, что мама не знает.

Йося увидел через окно, как мужчина в распахнутом пальто решительно пересек улочку и направился прямо-ком в калитку. За ним шли две женщины, одна вела за руку девочку лет пяти. Несколько секунд (можно было считать по сильно заколотившемуся сердцу) Йося надеялся, что не сюда, — ведь могут же они идти не сюда. Или ошиблись?..

Дверь открылась. Мужчина вошел первым, тут же обернулся к спутницам и обвел широким жестом, едва не задев потолок, Йосино пристанище.

— Мадам, обратите внимание: милая квартирка. Тихая улица, никакого шума. Парк за углом. Водопровод, мадам, обратите внимание. У меня вчера буквально, представьте, выхватили из рук чердак с грудным ребенком, а колонка во дворе, обратите внимание. Ваша дочка уже совсем взрослая барышня.

Девочка, поскуливая, жалась к матери. Обе женщины во все глаза рассматривали плиту, раковину и пол.

— Обратите внимание, — напористо продолжал маклер, — окна целые, ни одного треснутого стекла. Кухня выходит во двор, комната на улицу. Вид из окна, обратите вним...

Только сейчас они увидели Йосю, прямо, как свечка, сидящего на топчане. Мужчина резко остановился, женщины вскрикнули.

— Я извиняюсь, у вас ордер? — неприязненно спросил мужчина.

Йося кивнул.

— Вы что же, чужую квартиру нам показываете? — взвизгнула молодая женщина. — Человек уже вселился, а вы с нас аванс получили!..

— Позвольте, позвольте, — смешался маклер, — быть такого не может. — И повернулся к Йосе: — У вас семья? Или вы один?

Йося снова кивнул.

— Вот что, милейший, — голос маклера зазвучал угрожающе, — вам должно быть известно, что на одного человека полагается четыре квадратных метра, а вы занимаете целых двенадцать. Только по такому случаю, мадам, — он обернулся к женщинам, — я и предлагаю вам эту квартиру.

— Квартиру? — низким голосом отозвалась вторая женщина, постарше. — Это крысятник, а не квартира! Стыдитесь!..

Она гневно схватила за руку дочь, та — малышку, и они вышли не оглядываясь. Маклер бросился следом: «Мадам, я все делаю в ваших интересах...». От калитки донеслось сердитое: «аванс!..», и в окно было видно, как вся группа скрылась за углом.

А ведь дядька опять придет. Приведет еще кого-нибудь и будет водить до тех пор, пока кто-то из не очень разборчивых согласится въехать в милую квартирку с водопроводом: «обратите внимание, мадам».

Мучительно хотелось есть. Брюки каким-то чудом подсохли, так что Йося завернул штанины, застегнул пальто, поднял воротник и вышел со странным чувством облегчения и сожаления. «Крысятник», сказала старуха. Никакой не крысятник — крысам там жрать нечего.

На новой работе Бергман освоился быстро. Помогла рекомендация Старого Шульца: в больнице Красного Креста нового гинеколога встретили очень доброжелательно. Неизвестно, как администрация приняла бы историю пропавшего паспорта, если бы не убедительная бумажка, выданная доверчивым Краузе.

Работы хватало. Война войной, а жизнь жизнью. Женщины вынашивали и рожали детей, то есть выдерживали труд и боль, мало с чем сравнимые. Идиллический сюжет «Мать и дитя» хорош для полотен старых мастеров или, если угодно, кино, где экран своевольно отсекает от зрителя жизненное время героев, так что в один прекрасный момент красавица, не являвшая на протяжении всего фильма признаков беременности, вдруг возникает в дверном проеме с младенцем на руках.

Как, собственно, и получилось с Леонеллой. У дома оставилась машина. Первый импульс — выключить лампу; Макс протянул руку, но замер: раз приехали, то уже поздно. Пес прислушался, но тревоги не выказал. Мотор продолжал тархтеть, а сердце барабанило, казалось, громче мотора. Бергман спустился вниз. Прямо к крыльцу уверенно подошла женщина с корзинкой: «Это моя дочка».

Однако это было не в кино, а в холодном октябрьском сумраке Кайзервальда, и если Леонелла была артисткой, в тот день она сыграла свою лучшую роль — и нелегкую, надо сказать. Бергману было проще — он остался самим собой и внимательно осмотрел развернутого ребенка. Ничего купидонистого: худенькое тельце, расходящиеся книзу ребра, кожа в мраморных разводах от холода. Под чепчиком — шелковые слежавшиеся волосики. Бергман

осторожно приложил пальцы к пульсирующей впадинке на темени:

— Родничок.

Леонелла вздрогнула:

— «Родник»?

— Нет; родничок. Так всегда бывает. Он скоро зарастет.

Голодный младенец потребовал сразу так много внимания, теплой воды, молока и бог знает чего еще, в чем холодной акушер-гинеколог разбирался, однако, лучше неожиданной матери. Насытившись, ребенок мгновенно уснул, только стеклянная ниточка слюны застыла на щеке, а Леонелла вынула книжечку с золотым обрезом и послушно записала самое важное.

Через несколько дней мать и дитя возникли в дверном проеме казенного заведения, где безо всяких сложностей было зарегистрировано самое радостное из всех гражданских состояний — рождение. Девочку назвали Робертой. «Могу представить, как горд ваш супруг, мадам, — любезно наклонил голову чиновник, — матери нечасто называют дочек в честь отца». Казенная любезность неожиданно оказалась сдобрена приятным сюрпризом — талонами на «обеспечение младенца».

Каждый хранит секреты по-разному. Доктор Ганич выбрал угольный погреб: может быть, излишне романтично, зато надежно. В том же погребе покоится под слоем угля черная тетрадь — кому принадлежит этот секрет, господину Мартину или дворнику? Да и что там ценного, в этой тетрадке? Кто и когда въехал, на какой срок, сумма задатка — вот и все тайны. Несколько слов о жилье, конечно:

как лаконично выразятся позже, «кто есть кто», потому и закопана эта тетрадка в куче угля. Секрет тетушки Лаймы и секретом-то не назовешь, разве что корзинка с двойным дном, вот и вся тайна. Дворничиха время от времени роется в корзинке, будто ищет что-то, а потом сидит перед печкой и молча перебирает одни и те же безделки: фигурку старика в обнимку с огромной рыбой, плоский белый камешек, на котором нарисована курносая барышня, сложенное письмо (без конверта), латунную пуговицу и деревянный игрушечный кубик. У Леонеллы тоже появилась корзинка с секретом — этот «секрет» ворочается и пускает пузыри...

У каждого свой скелет в шкафу, думал Бергман. Никто не потревожит твой, пока ты не нарушаешь покой чужого — в этом заключаются условия игры. Он постепенно привыкал к новому жилью, но называть Кайзервальд домом еще не научился. Привык спешить сюда из больницы и знал, что его ждет не только пес, как бывало раньше, но и Леонелла. Если позволяла погода, они выходили гулять. Коляска мягко катилась по шелестящим листьям. Сенбернар степенно вышагивал рядом, не натягивая поводок. На улице девочка мгновенно засыпала. Редкие встречные с улыбкой смотрели им вслед.

Прошли две пожилые женщины.

— Милая семья, — негромко сказала одна.

— Вот ведь какие бывают мужья, — растроганно согласилась другая.

Двое офицеров вермахта показались из-за угла. Почтительно коснулись пальцами фуражек и несколько секунд, повернувшись, смотрели вслед.

— Не женщина — орхидея! — произнес один.

Второй нерешительно поддакнул, сиюсья вспомнить, как выглядит орхидея.

— Материнство, — торжественно продолжал первый, — материнство украшает женщину.

Второй мысленно зачеркнул коляску и решил про себя, что эта женщина ничего бы не потеряла и без украшения.

Поздним вечером, когда дом затихал, Бергман оставался один на один со своим секретом. Записку можно было не разворачивать — он помнил наизусть ровный, четкий почерк нотариуса:

«Дорогой Макс,

Выход найден. Я хочу, чтобы этот нож остался у Вас — он мне очень дорог. И карандаш: может быть, Вы его загадаете.

Я не успел.

Н. З.»

Записка была прижата старинным серебряным ножом, которым открывают конверты или разрезают книги; на ручке выгравированы буквы, похожие на колеблющиеся язычки пламени.

И — карандаш, каких полно в любой канцелярии. На письменном столе у Краузе, в префектуре, валялось два точно таких же. Простой карандаш с туповатым клювом грифеля и стершейся серой резинкой. Называется «TICONDEROGA», что бы это ни значило. Ровно ничего загадочного в карандаше не было, если не считать названия — так стучит по рельсам дачный поезд.

Загадкой оказался Натан.

Откуда у него, слабого и не приспособленного к жизни, взялись силы наложить на себя руки?! Что такое самоубийство — сила или слабость? Вернее, чего здесь больше? Люди часто трагически уверяют, что дошли «до последней черты» и «жить незачем», а после этого плотно ужинают в ресторане и великодушно позволяют друзьям оплатить счет. Зильбер никогда таких слов не говорил, даже в минуты самого глубокого отчаяния. Внутреннее смятение швыряло его из одной крайности в другую: то он собирался завтра же зарегистрироваться в юденрате, то написать обращение в Лигу Наций и собрать как можно больше подписей, то бежать за границу, словно можно достичь такой границы, за которой не мерцают желтые звезды. Зачем? Зачем он это сделал, когда найден был реальный выход?!

А жизнь продолжалась, прекрасная и равнодушная к чужим секретам, и не было ей дела до женщины, которая сидит вечерами перед бюро и перебирает — точно карты тасует — новые почтовые открытки, главным образом с видами города или взморья, а если на изображение Соборной башни соскальзывала слеза, так не все ли равно — и башни той нет, и открытки отсылать было некому.

Жизнь продолжалась, люди рождались и умирали. На кладбище, неподалеку от дома Старого Шульца, появлялись новые могилы. Кончался октябрь. На могилы опадали последние листья. Доктор постоял у ограды и направился к воротам.

Да, могильщиков не хватает: двоих мобилизовали, один ушел работать в полицию, так что, почитай, один копаю, пояснил рабочий и почесал голову под фетровой шапчонкой.

Приходится брать со стороны абы кого. А покойник ждать не может, у кого угодно спросите. И сторожа нету — раньше хоть он помогал. Да вы с заведующим поговорите.

Все решилось быстрее и проще, чем Шульц рассчитывал. Повторяя, что покойник не может ждать, заведующий отпер сторожку и пригласил доктора внутрь, со словами: «живи не хочю». Известие, что будущий работник пострадал от бомбежки и потому говорит с трудом, не вызвало никакой настороженности, а только вопрос, держал ли он в руках лопату, и нетерпение: когда?..

Осталось приучить раненого к новому имени: Тихон Бойко. Шустрая фамилия сочеталась со смиренным именем примерно так же, как габардиновые брюки младшего Шульца с новеньким ватником, который был выдан работнику кладбища вместе с ключом от сторожки. Брюки оказались впору, их не нужно было подворачивать — раненый был выше, чем Йося. Он внимательно рассмотрел паспорт, повторил негромко: «Тихон Бойко» и кивнул. Парикмахерская его изменила: волосы были аккуратно подстрижены и зачесаны назад, сбритая борода обнажила худые запавшие щеки. Усы оставили — по паспорту господин Бойко был усат, а какого цвета глазами обладал, неизвестно: вполне могло статься, что зелеными, как и его преемник.

Как сложилась судьба настоящего владельца паспорта, тоже неизвестно, а новый его обладатель был, в соответствии с именем, молчалив, быстро приноровился к лопате, перед сном обходил, как и полагается сторожу, безмолвное свое хозяйство, после чего засыпал, чтобы утром начать новый день Тихоном Бойко, сорока двух лет, местным уроженцем, холостым.

...Дом вспоминал, как мальчики-соседи, Эрик и Юлик, складывали диковинную головоломку из затейливо вырезанных плоских деревяшек. Оба пытели и поминутно смотрели на крышку коробки, где был изображен всадник, стоящий с обнаженным мечом перед замком. Латы и меч затруднений не вызывали. Сложнее дело обстояло с конем: он выглядел так, словно целые куски были вырезаны ножом мясника. Когда заскучавший рыцарь обрел, наконец, полноценного коня, друзья приступали к замку. Красавица, машущая платком с балкона, неоднократно рисковала жизнью — либо фундамент грозил рухнуть, либо сам балкон зависал в пространстве, готовый сокрушить коня и всадника. Мальчики выхватывали друг у друга картинку, спорили и озабоченно перебирали деревяшки. Одно слово — головоломка.

Сейчас дом чувствовал себя коробкой, в которой некогда хранились кусочки головоломки и даже картинка-образец сохранилась — доска как висела, так и висит, да только все части растерялись, рассеялись, и как теперь их собрать? Остался единственный кусочек, маленький незыблемый островок — Ян и Лайма.

Часовой под цифрой «21» переминается с ноги на ногу. В 23.00 он уйдет в казарму по соседству. На лестнице тихо. Чужие голоса на чужом языке надежно заперты за прочными двойными дверьми. Дворник, сунув руки в рукава пальто, обходит двор. На кухне горит свет, и дядюшка Ян спешит за собственной тенью. Тень удлиняется, и скоро оба сливаются с темнотой. Через несколько минут дворник возвращается — теперь, наоборот, тень спешит сзади, боясь, что

он оставит ее в холодном дворе. Гаснет свет в дворницкой. Дом — коробка от головоломки — засыпает.

На втором этаже светится окно гостиной. Из-за письменного стола господина Мартина встает штурмбанфюрер Грюндер. У него покатые плечи и напряженное лицо, словно он вот-вот чихнет. Штурмбанфюрер начинает ходить — так легче думается. В Берлине ждут его докладную записку о цыганах Остланда. В голове уже складывается план, стройность которого нарушают вопросы, не до конца ясные самому штурмбанфюреру. Начальство не любит вопросов, оно предпочитает ответы. Следовательно, все сомнения необходимо облечь в форму инициативных идей и предложений. Если Берлин согласится, то его, Грюндера, докладная записка ляжет в основу новой инструкции.

Отдельные фразы, обрывки тезисов плыли в табачном дыме, и Грюндер легко представлял их напечатанными на машинке. Он медленно ходил по ковру, аккуратно стряхивая пепел в мраморную пепельницу — в прошлом году, будучи в Голландии, штурмбанфюрер нашел ее по чистой случайности. Пепельница была сделана в виде приподнятой женской ладони, сложенной лодочкой. В разгромленной лавке лежала разбитая статуя, и Грюндера восхитила форма отколотой кисти, беспомощной и прекрасной; он поднял и некоторое время возил с собой, а потом заказал бронзовую подставку. *Было бы целесообразно предоставить полиции на местах принимать решения... Стяхнул пепел. Нет, иначе: ...необходимо определить прежде всего, следует ли подходить к цыганскому вопросу с тех же позиций, как и к еврейскому вопросу. Какой оригинальный рисунок у ковра... С одной стороны, оседлые цыгане, в отличие от их кочующих соплеменников,*

не представляют социальной опасности. Тезис необходимо обосновать — например, сослаться на опыт Эльзаса. Быстро подошел к столу и достал из папки циркуляр. *Оседлые цыгане, владея некоторой недвижимостью и обладая профессиональными навыками, являются составной частью местного населения. Это перенести в начало. Интересно, что здесь висело на стенах — там, где светлые пятна по обеим сторонам двери? Картины? Портреты? Он закурил новую сигарету, присел к столу и подвинул к себе бювар. Считаю необходимым заметить, что в случае приравнивания цыган к евреям возникает необходимость в цыганском гетто. Сделал мысленную пометку: тезис о гетто вынести в отдельный пункт, он звучит убедительно. С точки зрения рентабельности имело бы смысл использовать территорию уже существующего еврейского гетто, по мере его освобождения, для размещения цыган. Такой подход упростит решение как еврейского, так и цыганского вопросов. По логике вещей, надо лечь спать, но Грюндер знал, что утром сегодняшние рассуждения рассеются, как табачный дым, и придется начинать все сначала. Полагаю, что заключению в гетто подлежат только бродячие цыгане. Что касается оседлых, то проблема может быть успешно решена посредством стерилизации обоих полов.*

Грюндер записывал очень быстро и кратко, сокращая слова, ставя стрелки и обводя отдельные фрагменты. *Альтернативой цыганского гетто может служить концентрационный лагерь. В обоих случаях необходимо принять меры к тому, чтобы цыгане, подлежащие аресту и заключению, были взяты на своевременный учет для составления списков. Нельзя недооценивать участие местной полиции и добровольцев из местного населения. Таким образом... Ковер*

завораживал и отвлекал. Он поднял взгляд на стену и опять наткнулся на раздражающие светлые пятна. Что за картины, интересно? Наверное, собственная мазня. *Таким образом...* Или так называемый кубизм. Картины-головоломки, где все детали сложены самым абсурдным образом и вверх ногами. При этом полотна называются «Первый поцелуй» или «Игра в карты». Благодарю покорно. Штурмбанфюрер отвернулся. *Таким образом...* Что — «таким образом»? Он перелистал написанное. И как, позвольте осведомиться, отличать цыган от евреев? Или оседлых от кочевых? Для этого нужен особый департамент. Набегут молодые невежды из Берлина, вежливо воспользуются его материалами, в то время как его самого, Грюндера, отправят на Восточный фронт.

Раздражение нарастало: сказывалась усталость. Нет, господа, я не буду для вас таскать каштаны из огня. Он медленно прошел в соседнюю комнату и машинально повернул выключатель. Свет не вспыхнул. Ах, да... Странная комната. Судя по нескольким висящим на стенах тарелкам, здесь располагалась столовая, однако никакой мебели не было, как не было и лампы, хотя из потолка торчали отвратительные черные корешки проводов. Какое варварство. *Таким образом, хоть местное население по своим социальным и эстетическим критериям находится на низшей ступени, оно с энтузиазмом относится к искоренению инородцев любого происхождения, в особенности евреев и цыган.* «Местное население» вынести в отдельный пункт. Далее: учитывая высокую концентрацию цыган на территории *Остланда*, зачастую не представляется возможным дифференцировать оседлых цыган от кочевых. Чтобы обеспечить решение цыганского вопроса в кратчайшие сроки, наиболее рационально было

бы трактовать... Карандаш легко закончил фразу и поставил точку. Вот так; и никакого департамента.

Грюндер погасил лампу и закрыл за собой дверь в спальню. В раздвинутые шторы светил уличный фонарь, прямо на протянутую женскую руку, щедро засыпанную пеплом и окурками.

Лагерь встретил Роберта Эгле так же, как встречал тысячи других: велел оставить за воротами прошлую жизнь, швырнул вместо нее номер, на который отныне следовало отзывать, обучил выкрикивать по требованию начальства фамилию, имя, отчество и статью, хотя пятьдесят восьмая статья легко читалась на ошарашенных лицах вновь прибывших. Лагерь заставил выучить первые новые слова: *барак, баланда, бушлат*... Последнее врезалось особенно резко, когда он узнал в санчасти, что Бруно Строд «накрылся деревянным бушлатом». Фельдшер не поленился объяснить фраеру, что это значит. На руке у фельдшера блестели часы Бруно.

Лагерное начальство определило Роберта на общие работы, то есть лесоповал, для строящейся железной дороги. Он встретил известие спокойно — отчасти потому, что все происходящее с ним считал заслуженным, отчасти по неведению, ибо не только не знал зловещего смысла общих работ, но и представить не мог, что лагерь и все ему принадлежащее — совершенно иная цивилизация. Привезенным из России в каком-то смысле было легче внедриться в эту цивилизацию — они давно знали, что представляет из себя советская власть и большевики (а многие сами были большевиками), в то время как родина Бруно и Роберта получила годичную порцию советской власти, что-то вроде по-

спешной прививки тяжелой болезни, от которой лихорадит и нездоровится, но полное заражение не наступает. Однако работа за письменным столом, комфорт и уют западного города несовместимы с понятием «общие работы». Понадобилось бы совсем немного времени, чтобы метафора *деревянного бушлата* предстала в своей прямой дощатой сути, сопровождаемая биркой с номером на бесчувственной ноге. Именно так все и произошло бы, не приключись в лагере ЧП: бухгалтеру *воткнули перышко* (а вернее, сразу несколько *перышек*), да аккуратно перед сдачей отчета за последний квартал и за весь год. Среди вольнонаемных, как на грех, не нашлось ни одного специалиста. На утреннем разводе бригадир закричал:

— Бухгалтерá есть?

Скоро Рождество, подумал Роберт, и шагнул вперед:

— Я знаю бухгалтерское дело.

Конвойный отвел его в хозчасть. Там было тепло, и снова вспомнилось Рождество, горящая печка и аккуратно наколотые поленья, которые приносил дядюшка Ян. Здесь, на лесоповале, те дрова выглядели бы спичками.

Дверь открылась. В помещение злорадно ворвался холод. Тот же конвойный опять повел куда-то Роберта, а тот старался на ходу застегнуть бушлат быстро стынувшими пальцами.

— Фамилия? — спросил начальник лагеря, открыв папку с «делом» и глядя на фамилию Роберта.

— Эгле, Роберт Оскарович.

— Бухгалтером работал?

— Я экономист, — начал Роберт и, увидев, как непонимающе насторожились глаза начальника, торопливо продолжал, — и бухгалтерский учет знаю.

Начальник был в нерешительности. Чтобы нерешительность скрыть, он нахмурился и начал листать тонкую папку. Указание из Москвы не позволяло привлекать заключенных с 58-й статьей к работе в бухгалтерии. Однако отчет вынь да положь, и никто не будет докапываться, кем он составлен, вольняшкой или... экономистом с 58-й. Опять же, указание — не приказ, зато если отчет не будет представлен в срок, то он сам может загреметь на передовую. О перспективе оказаться в лагере начальнику такого как-то не думалось.

Заключенный стоял, сложив руки за спиной, как предписывала инструкция, и терпеливо смотрел на него. В глазах была усталость и безнадежность, но не страх. Все они такие, чужна непуганая. Посмотрим, какой из тебя бухгалтер. Легко и сладко было представить, как он напишет докладную и приложит к делу: «Рекомендуется использовать на тяжелых физических работах». Но сперва отчет, контра ты заграничная.

На отчет было выделено пятеро суток, усиленный паек и махорка. Роберт подбил баланс быстрее, чем надеялся, и дважды проверил результат. Работа неожиданно оказалась очень увлекательной. Здесь, в соответствии с документами, заключенные снабжались новыми телогрейками и нижним бельем, ватными брюками и перчатками для работы, а в пищевой рацион входило мясо, рыба, овощи... По всей вероятности, решил Роберт, рыбу символизировала селедка, а мерзлая брюква, которой заправляли баланду, — овощи. Мясо же, которым лагерь исправно снабжался и которое так же исправно поглощал, в соответствии с накладными и кухонной отчетностью, оставалось понятием метафизическим. То же самое наблюдалось по всем категориям работ, словно бригадные ведомости составлялись од-

ним и тем же человеком, для которого самое важное — гармония в бухгалтерии. Остальное было делом классических расчетов. К этому времени Роберт знал уже лагерное слово *туфта* и поражался его емкости.

Пятеро суток на отчет — много это или мало для одного человека? Какая разница. Для Роберта время остановилось в тот день, когда он узнал о смерти Бруно. Лагерная жизнь шла словно бы вне привычного времени, как и должно происходить в другой цивилизации, но слово «Рождество», одно только слово, толкнулось в душу — и вернуло назад.

Прежнее время нельзя было назвать вместительным и уютным словом «воспоминания» — оно вспыхивало слепящими пятнами, словно под лучом лагерного прожектора. Искаженное гневом лицо жены, испуганные, виноватые глаза Мариты, нетронутый стакан с молоком на столе. Как правильно, что все произошло в один день: молоко, хлопнувшая дверь спальни и звонок в дверь. Сам арест, обыск и дорогу к вокзалу на рассвете помнил только из-за того, что всхлипывал сынишка Бруно, и родители ласково его успокаивали. Их вагон загнали на дачную ветку, где он простоял два дня, но никого не выпускали наружу — и к ним не допускали никого. Да он и не верил, что Леонелла придет. Несмотря на долгий путь, на изобилие времени и схваченный второпях бювар, письмо так и не получилось. Фразы выходили длинные, сбивчивые, но не объясняли безнадежный «любовный треугольник», когда любишь того, кто позволяет себя любить, и позволяешь совсем другому любить тебя. Да разве кто-то мог это объяснить? Роберт, как и многие, считал свою ситуацию уникальной, а себя — как очень немногие — единственным ее виновником. К его огромному

облегчению, Марита от него отстранилась — как отшатнулась; это позволяло не думать о случившемся, словно ничего не было. Там, в прежней действительности и том времени, это удавалось, тем более что он не знал о будущем ребенке и не узнал бы до злосчастного дня, с нетронутым стаканом молока на столе. За все надо платить. Цена греха — вина: бремя, которое с него никто не снимет. Слово «бремя» он почти не связывал с девушкой — и она, и Леонелла застыли в том времени, в июньском закатном солнце, в столовой, где сейчас пахнет праздничной хвоей, Леонелла готовится к Рождеству, а на кухне пекут *пфэфферкухен*.

Отчет был готов. Оставалось переписать набело и вернуться на общие работы.

Преподаватель истории Андрей Ильич Шихов столкнулся с задачей потруднее, чем рассыпанная головоломка. Начать с того, что он перестал быть преподавателем истории — Французского лицея больше не существовало, а школы одна за другой переставали быть школами: в них устраивались казармы, лазареты и клубы для военных.

Каждое утро, тепло одевшись, он выходил из дому. Будучи по природе своей человеком трезвым и помня, как мыкался без работы, с клеймом «пятой колонны», Андрей Ильич не имел иллюзий. Рассчитывать можно было только на случайную удачу. Средних школ больше не было. Оставшиеся носили смиренное название «народных», наук вроде истории, естествознания и географии боязливо сторонились, зато ревностно почитали Закон Божий и великую Германию; обучение заканчивалось на седьмом году. В идеале же, согласно другому берлинскому меморандуму,

для местного населения предусматривались не более чем четырехклассные школы, по окончании которых выпускник умел бы расписаться, считать в пределах нескольких сотен и беспрекословно подчиняться немцам. «Обучение чтению считаю не обязательным», — заявил один из вождей Рейха. Новая власть здраво рассудила: чтобы добросовестно трудиться, излишняя премудрость только вредна для населения Остланда, ибо приводит к праздности и вольнодумству, этой проказе любого государственного устройства. К счастью, большевики оказали немцам неоценимую услугу, вовремя обеспечив высылку всех «социально нежелательных элементов». Задача новой администрации теперь сводилась к тому, чтобы предотвратить появление новых подобных «элементов»; скромное образование гарантировало успех.

Так рассуждал чудом уцелевший «нежелательный элемент», бывший преподаватель истории, которую преподавать было некому. Кроме средств к существованию, работа давала право на карточки, без которых ни продукты, ни самые необходимые вещи купить было невозможно.

Светились окна университета, и размещался в его стенах не штаб, не комендатура, а... университет. Андрей Ильич поднялся по знакомому вееру широких ступеней, толкнул тяжелую, как в соборе, дверь. Университет работал, однако ни исторического, ни юридического факультетов больше не существовало. Факт, что университет открыт, мог вызвать удивление; отсутствие факультетов не удивляло. В самом деле, какую историю и какое право могли бы здесь преподавать?..

Письма Шиховы получали теперь на отцовский адрес, поэтому никакой необходимости идти на Палисадную не было. Однако пошел — и встал как вкопанный, увидев двух-

рядный колючий забор, сомкнутый воротами — воротами гетто. Вооруженные солдаты впускали только людей со звездами, которых приводили группами полицейские, тоже вооруженные. Попад за колючий забор, люди сразу становились меньше ростом. Сколько же их там?..

Проехал автомобиль с двумя офицерами. Шихов свернул к Русской гимназии. Что там, клуб? Интендантский склад?

«JUDENRAT», неожиданно сообщила надпись над входом, куда ему входа уже не было — вдоль тротуара у бывшей гимназии тянулся колючий забор, уходя вверх, к Московской улице. Андрей Ильич повернул в противоположную сторону, ускорив шаги не от холода, а в невольном желании уйти как можно скорее: не можешь помочь униженным — не смотри на их унижение.

Он замерз. В маленькой кондитерской спросил горячего чаю и сухой бисквит. Раньше, когда он учительствовал, им с князем Гортыньским случалось бывать здесь. Хозяин выносил поднос с розовыми булочками как раз к большой перемене... Теперь за прилавком стояла незнакомая женщина, и Шихов почти обрадовался, что прежнего хозяина нет, как нет розовых булочек и большой перемены — наступили *большие перемены*... Мир превратился в дом без хозяина, проданный с торгов, где распоряжаются чужие. Миновало полтора года, но прожита эпоха. Все перевернуто или сдвинуто с места, будь то человеческие судьбы или мебель в квартире, где дочки играли в лото, дразнили пуделя Ерошку, занимались музыкой. Мерзнут в чужом краю немецкие солдаты. В русской гимназии находится ЮДЕНРАТ. Учитель усмехнулся: каков юридический казус — орган самоуправления для людей, лишенных всех прав!..

То, что не изменилось внешне, как это кафе, стало другим внутри себя — и тоже чужим, потому что нет сидящего напротив Гортынского, с его папиросой чуть на отлете, и не выйдет хозяин в белом колпаке, плоском и сдвинутом набок наподобие берета, и не подаст ему чай в стакане с подстаканником, каковой подстаканник только для Гортынского, похоже, и держал.

Историк не имеет права впасть в мистицизм, но Шихову казалось иногда, что все судьбы решены наперед. Иначе как объяснить, что накануне своего исчезновения Гортынский горячо советовал ему прочитать новый роман — «Приглашение на казнь» — и занес вечером свежерезанную книжку. На следующий день он сам был приглашен — в лучшем случае, в тюрьму, потому что дверь опечатали. Он сам, Шихов, за неделю до войны волей случая избежал ареста, когда весь рассветный город был запружен колоннами людей, насильно сдвинутых с места и перемещаемых чьей-то злою волею. И если все предопределено, не означает ли это, что ему уготована была иная судьба, и вместо того, чтобы греться чаем здесь, в знакомом и чужом кафе, он должен бы сейчас мерзнуть в окопе или сидеть, скрючившись, в землянке, или бежать с винтовкой... словом, воевать.

Шихов не ожидал войны, но был готов воевать независимо от того, пришлют ли ему повестку; ушел ведь отец тридцативосьмилетним вольноопределяющимся на ту, первую, войну? Письмо от него пришло в тот самый день, когда Андрей с двумя товарищами-студентами ждали своей очереди на призывном пункте. Одному из троих повезло: его взяли; Андрея с другом отправили обратно... Очки, которыми он немало кокетничал — сам себе казался взрослее — в тот мо-

мент возненавидел: из-за этих стекол ему отказали в праве воевать за Россию!.. Шихов-старший с недоумением встретил Февральскую революцию и понял, что война принимает какой-то непредсказуемый характер, а главное, затосковал по своей мирной ботанике, брошенной впопыхах. Красный бант не нацепил, но и к Белому движению не примкнул, и не оттого, что не верил в идею, а просто решил: каждому свое. Одни спасают Россию, каждый на свой манер, другие возвращаются к делу своей жизни. От войны осталось ощущение долгого и нелегкого дежурства, а главное, не очень-то и нужного...

Однако в июне сорок первого все получилось иначе: отец заболел, пришлось перебраться к нему, а потом случилось то, что случилось в ночь на 14 июня, а спустя еще неделю началась война.

Если бы он пошел в военкомат, его поняли бы и жена, и отец. Но куда бы он оттуда попал — на фронт, в лагерь или в ссылку, вдогонку уже высланным? Отец воевал за свою родину — в 1914 году родиной была Россия. Когда родился Андрей, Город оставался частью России, и после окончания гимназии он, как многие другие, уехал учиться в Санкт-Петербургский университет.

Но за что ты *сегодня* рвешься воевать, спрашивал он себя, за советскую власть? Нет: за Россию, как отец в 1914 году. Или за ту Россию, которая пришла сюда без приглашения и воевала со стареньким антикваром из 8-й квартиры и победила? За Россию, которая вышвырнула из себя русского князя, а потом догнала — и рассчиталась с ним?

Но ведь немцы — бóльшее зло, чем большевики. Значит, надо воевать, чтобы меньшее зло одержало победу над бóльшим?.. Отсюда следует безотрадный вывод: помогая

меньшему злу, ты делаешь его бóльшим. Глаза у Фемиды завязаны; а что чувствует ее рука, которая держит весы, и знает ли богиня, что лежит в чашках, Добро и Зло — или два Зла разного веса?..

Куцый декабрьский день стемнел и закутался в холодный туман. Андрей возвращался в отцовскую квартиру. Она стала их домом, пусть временным, но по устоявшейся привычке дорога называлась «к папе», мимо голого темного парка с мертвыми ослепшими фонарями. Скорее в дом, в тепло. Над парадным тускло мерцала лампочка. Трудно было представить, что через несколько дней наступит Рождество.

Доктор Бергман «размывался» после операции в легком, приподнятом настроении. Шел на внематочную беременность, а вместо нее обнаружил множественные кистозные образования на придатках. К тому же сделал небольшой и элегантный шов в виде полумесяца, чтобы не уродовать живот. Намного проще было рассечь вниз от пупка, как не задумываясь делают многие коллеги, однако Бергман не навидел эту простоту, которая навсегда оставляет грубые сборки на коже.

Пациентку он видел два дня назад и едва запомнил испуганное лицо, вздрагивающие губы и криво подстриженную рыжеватую челку. Бумажка из амбулатории и все симптомы говорили в пользу внематочной, однако болевой синдром был выражен слабо. 21 год, первая беременность, и то... Плохи ваши дела, мадам, если внематочная, размышлял Макс, листая расписание. Мадам? На вид гимназистка: небольшого роста, худенькая, очень гармонично сложенная — так выглядят индусские статуэтки. Второй раз видел только операцион-

ное поле, ярко-оранжевое от йода и обложенное стерильными салфетками. Красивый шов, улыбнулся сам себе, все еще видя короткую дугу, перечеркнутую ровными штрихами ниток.

Внизу, в гардеробной, встретил старого хирурга, который старательно обматывал кашне вокруг шеи. Вышли вместе.

— Заглянете? У меня большие новости. Да и чаем напую, — предложил старик.

Макс охотно согласился. Он старался бывать у Шульца почаще, не желая оставлять его наедине с пустым, хоть и безопасным теперь домом.

Новости оказались ошеломительными: письма! Письма, общим числом три, и одна открытка.

— Вообразите: открытка отправлена в августе; а несколько писем пропало вовсе, и не с кого спросить! — Хозяин поставил две рюмки, тарелки и чашки. Аккуратно открыл банку сардин («довоенные», пояснил с гордостью), нарезал хлеб и сало. — Сейчас разгорится как следует, — кивнул на печку, — а мы пока согреемся спиртом.

Согрелись.

— Я был не прав, — Шульц извлек сардинку и смотрел, как медленно капает золотое масло, — почему-то был уверен, что Райнер пришлет открытку. Вот вам и отцовская интуиция. Вы ешьте, пожалуйста, а я рассказывать буду. Только вот про сало я не подумал; вы?..

Макс улыбнулся:

— Ем; спасибо. На черном рынке раздобыли?

— Какое там! Страдалец-язвенник преподнес. Вернее, жена; ну и спасибо, я не щепетилен.

Сам положил себе на тарелку плотный ломтик сала и начал рассказывать, отщипывая хлеб маленькими кусочками.

...Выяснилось, что, хотя жена собиралась в Париж, уехать все же не решилась — боялась, что ей, иностранке, не разрешат обратный въезд в Швейцарию из оккупированной страны. Как и многие, она надеялась, что война — дело нескольких месяцев, а потом Элга должна будет вернуться в санаторий: осень — период обострений, туберкулез в это время особенно коварен. Они много раз писали Райнеру, но прошло немало времени, прежде чем получили первый ответ. Сын из Парижа уехал, чтобы избежать ареста и трудового лагеря, чего не избежали многие немцы из разных стран. В письме отцу Райнер рассказал, прибегая к иносказаниям и Эзопову языку, что ему удалось добраться почти до швейцарской границы, где устроился на молочную ферму и решил там дожидаться, как он выразился, «смены погоды». Уверяет, что сыт, ни в чем не нуждается, да еще отсылает матери деньги.

— Вот такая клюква, — закончил Шульц и с недоумением посмотрел в свою тарелку, где сардинка прикорнула рядом с ломтиком сала, как рыба, прибитая к льдине.

— Мой сын, — продолжал он, — изучал в университете лингвистику. Написал хорошую работу по старофранцузскому языку; его профессор был доволен. Теперь им доволен фермер. Разве я мог представить, что Райнер будет чистить хлев? Геракл обошелся без университета, и это облегчило ему задачу. Пишет теперь по-французски и даже подписывается: «Рене». Думаю, он прав — что мы знаем о цензуре? Такая вот...

— Клюква, — договорил Макс, и оба улыбнулись.

На улице стемнело.

— Что за дрянь они курят, — Шульц поморщился на тонкую немецкую сигаретку, встал и принес из кабинета коробку папирос — современницу сардин. — Курите, доктор.

Чиркнул спичкой и продолжал:

— За сына я спокоен, насколько это возможно при наших обстоятельствах. Элга сейчас в санатории. Моя жена... Она привыкла ни в чем себе не отказывать, а теперь живет в пансионе, где большинство — беженцы. Сейчас я хотя бы смог деньги послать; надеюсь, к Рождеству получит. После Рождества время начинает спешить, а там и весна... А весной, — добавил почти весело, — возможно, и *погода переменится*, как пишет мой новоиспеченный фермер.

Переменится ли, думал Бергман, торопливо шагая по твердому, утоптанному снегу. Должно быть, в каждом втором письме люди пишут друг другу о *перемене погоды*. Пока что меняется другое. Откуда взялись, например, штабеля свежих досок? Вернее, для чего? Еще одно гетто, в Кайзервальде? — Едва ли. Тогда что? И солдат сегодня больше, чем вчера. По обеим сторонам Большого проспекта стояли, на достойном расстоянии друг от друга, особняки, необитаемые и холодные. Вправо и влево от проспекта уходили аллеи и улицы, безмолвные и плохо освещенные; несколько широких аллей вели прямо в лес. Показалось ему или нет, что кое-где в домах прибавилось святающихся окон?

Нет, не показалось. На улочке за цветочным магазином, безнадежно увядшим очень давно, судя по ржавому замку, во втором доме от угла горел яркий свет. Если вернулись хозяева, то они вернутся и в другие дома. Снова переезжать?

Впереди послышался шум мотора. Автомобиль подъехал к освещенному дому. Выскочил шофер в форме, обежал машину и распахнул дверцу выходящему офицеру. Горящие фары высветили снежную дорогу и сосны, толпящиеся впереди, заслоняющие путь.

Из боковой улицы вышли двое солдат. Патруль. Собственная походка сразу показалась Бергману ненатуральной. Продолжал идти, чувствуя каждый свой деревянный шаг. Еще не так поздно; задержать могут только от нечего делать. Он кивнул приветливо и крикнул громче, чем хотел:

— Guten Abend!

Солдаты не останавливаясь пожелали ему в ответ доброго вечера и направились к проспекту. Макс прошел целый квартал, не позволяя себе ускорить шаг или обернуться, пока не свернул на знакомую улицу.

Понадобилось несколько десятков шагов, чтобы почувствовать, как оживают ноги. Зильбер бежал не от гетто — от собственного страха. Что легче — найти такой выход, как он, или обмирать от ожидания другого, которое само по себе страшнее исхода?..

Он отпер дверь чужого дома, где его ждала чужая жена с чужим ребенком, у которых никого ближе, чем он, не было. Тихо, чтобы не разбудить девочку, Макс вывел собаку, потом так же тихо поднялся к себе. Если Кайзервальд заселяется... что ж, там будет видно. Пока незачем говорить об этом Леонелле.

Можно забыть чье-то лицо или имя, можно изгнать из памяти целые куски жизни — как ножницами вырезать; но бывают дни, которые остаются навсегда, и не только не стираются, но делаются ярче, словно перед глазами проплывает знакомая кинолента. Таким остался для Леонеллы день поездки на мызу «Родник», обратный путь и собственное обмирание всякий раз, когда склонялась над младенцем: дышит?.. Такси от вокзала; свет в окне второго этажа, которому обрадовалась, а потом момент растерянности, но только

момент, потому что услышала свой голос и даже засмеялась от радости, что слова выговорились так легко.

Полное имя — Роберта — звучало слишком торжественно. Проще и короче было называть девочку Бертой, но Леонелла не заметила, как скромное и чинное «Берта» англизировалось, превратившись в «Бетти», уютное и мягкое имя, идеально подходившее для ласкового шепота и нежных бессмысленных слов.

Бергман привел коротенького толстого педиатра. Тот деловито осмотрел девочку, постучал молоточком по ножкам, ловко перевернул крохотное тельце на животик и долго озабоченно всматривался в спинку и куцую, сморщенную попку; осмотром остался доволен. Далеко не все из сказанного, Леонелла поняла, но тем старательнее записала в книжечку с золотым обрезаем, кивая и ловя взгляд доктора, что было не просто по причине его сильного косоглазия. Когда он ушел, уставилась в тихом отчаянии в записанные строчки: с чего начинать?! И вскочила в ужасе: деньги! Врачу...

Бергман от денег отказался: «Мы с ним в расчете». Думать об этом не хватало сил. Нужна была ванночка, коляска и уйма других вещей и вещичек, но в первую очередь — молоко и нянька.

...Хорошо сейчас, на исходе декабря, вспоминать эту панику со снисходительной улыбкой. А ведь если бы не Макс, так и сидеть бы ей, вцепившись в чашку остывшего кофе, с тоскливым и бессмысленным воспоминанием о магазине «МАТЬ И ДИТЯ», где она ни разу в жизни не была.

— Давайте сначала поищем на чердаке, — предложил Бергман.

— На чердаке?..

Так, с чашкой в руке, она поднялась за Бергманом на второй этаж. Коридор за его комнатой поворачивал, и за поворотом начинались крутые ступеньки. Лестничка никуда не вела, а упиралась прямо в стенку, на которой был криво прикреплен велосипед с задраным бодливым рулем, ободранным седлом и одной педалью. Можно было много раз пройти мимо и не заметить, что велосипед заслонял дверь, которая и вела на чердак.

В другое время Леонеллу удивило бы, наверное, с какой уверенностью недавно въехавший жилец движется по чердаку да и знает о самом его существовании — она никогда не обращала внимание ни на лесенку, ни на велосипед, поскольку бывала наверху редко; но где оно, другое время?

Сам чердак оказался просторным, несмотря на обилие мебели, вещей и останков вещей, связь которых друг с другом понятна и дорога только их владельцам. Запыленные стулья с витиеватыми ножками, припавшие сиденьями один к другому; воздетые к потолку олени рога на продавленном диване с торчащими пружинами; корзина с тряпьем в углу, из которой выглядывает ботинок без шнурка; многоярусный торт старинной этажерки, портрет какой-то дамы с высокой прической и лорнеткой в руке; дама требовательно смотрела в лорнетку прямо на этажерку.

Из-под продавленного дивана Бергман вытащил овальную цинковую лохань с двумя ручками.

— Вот вам и первый трофей. Уверен, что Робинзон чувствовал то же самое, — сказал он удовлетворенно, — ставьте кипятить воду.

Леонелла не знала, кто такой Робинзон; должно быть, доктор из евреев.

...Первое время ребенка купали вместе. Потом — Лео-
нелла сама не заметила — руки перестали бояться, вместо
страха пришла уверенность. Коляску — почти новую — уда-
лось купить на черном рынке: эlegantное кремовое яйцо на
колесиках, с ребристой складчатой крышей, как на автомо-
билях. Она незаметно перестала конфузиться, когда хозяй-
ка молочной, завидев ее с коляской, выносила на крыльцо
бутылки и спрашивала о «муже». Благодарила и улыбалась,
как привыкла улыбаться чужой любезности; хотела спро-
сить ее о няне, но что-то удержало.

— Правильно, что не спросили, — одобрил Макс, — и не
спрашивайте. Вы знаете эту молочницу без году неделю,
а няня должна иметь надежные рекомендации. Я как раз ин-
тересовался в отделении...

Не буди лихо, пока тихо, думал он, поднимаясь к себе. Мы
здесь на птичьих правах, только по-разному: у меня и пти-
чьих прав нет. Выше чердака не улететь, а оттуда — вслед за
Натаном. Мало ли что разноухает посторонний человек...

Обратился к педиатру, который смотрел девочку, не по-
советует ли кого-то? Тот расспросил о ребенке, покивал.
Поймать взгляд косящих глаз было невозможно: казалось,
доктор увлеченно рассматривает свою переносицу.

— У нас две медсестры остались без работы, — сказал
с горечью. — Не поладили с администрацией: все бумаги
теперь только на немецком, хочешь не хочешь. Сидят без
работы и без карточек...

Обещал прислать обеих.

В воскресенье пришла первая, и надобность в выборе от-
пала: няня понравилась. Не внешним обаянием, которого
у нее не было: небольшие серые глаза, жесткий скупой рот,

прямые седеющие волосы, — а спокойным достоинством и отсутствием суетливости. Анна не старалась понравиться, чтобы заполучить работу во что бы то ни стало, хотя в работе ой как нуждалась: вдова, двое детей; но об этом сказала далеко не сразу. Произнеся слово или фразу, твердо сжимала губы, словно прикусывая их изнутри. Да, каждый день. Если требуется, могу по хозяйству. Улыбнулась только один раз, после слов Леонеллы: «Надеюсь, вам понравится моя дочка», и ответила очень кратко:

— Я тоже.

Анна появилась на следующее утро. Быстро, но без суеты, причмокивания и сюсюканья, она кормила, умывала и переодевала девочку, потом укутывала и выставляла в коляске в сад. Пока та спала, так же быстро и ловко делала все необходимое.

Приходящая няня, она же прислуга, устраивала и Леонеллу, и Бергмана: идиллический миф о милой семье не развеялся.

— Очень милая семья, — повторяла молочница немногочисленным покупателям, — и прислугу наняли с хорошего дома, сразу видно.

Еще полгода назад Леонеллу называли «товарищ артистка» — теперь она стала «госпожой докторшей». Молчаливо согласившись с одной легендой, станешь ли придирается к другой? Тем более что к слову «товарищ» сейчас многие охотно бы придирались.

Гораздо хуже было, что кончались деньги. Советские рубли пока еще ходили наравне с марками. В конце каждой недели Леонелла отсчитывала несколько кредиток для Анны. Растрепанный конверт, перехваченный резинкой, который

заставила ее взять Зайга, стал почти невесомым. Печалило и вместе с тем успокаивало только одно: деньги, заработанные Маритой, тратятся на девочку.

Война не война — ребенок не должен ни в чем нуждаться. Даже если придется опять сделаться певицей. Разучить несколько немецких песенок не хитрость — пела же она советские и пользовалась успехом! Какая, в сущности, разница, кого развлекать со сцены, большевиков или немцев?

А только для Леонеллы разница была.

Однажды ей уже пришлось развлекать немца, очень давно, когда была она вовсе не «прекрасная Фея» и даже не Леонелла, а «Леона, сучка!..». Та давняя убогая жизнь, однообразная и тупая, как коровья жвачка, осталась далеко отсюда, в деревне, вместе с вечно пьяной матерью, ленивыми коровами, ухмылками батраков. Там же остался хозяин, вместе с приехавшим откуда-то гостем, которого все называли «герр гауптман», что было вовсе не фамилией, как она подумала вначале, а капитанским званием, которым тот чрезвычайно гордился, хотя форму не носил.

Не надо, нельзя туда заглядывать. Это не книжечка с золотым обрезом, а корявая щелястая дверь сарая, откуда мать и выволокла ее, спрятавшуюся от важного гостя: тебя убудет?..

Старая пьяница оказалась права: хоть интерес герра гауптмана, как и его визит к приятелю, был коротким, Леона осталась не в убытке, а, наоборот, с прибылью и несколькими мятыми рублевками, подаренными герром «на лакомства». К счастью, деньги удалось от матери утаить, как и прибыль, от которой избавилась при посредстве бабки с дальнего хутора — мастерицы на все руки. Домой оттуда

не вернулась, а заночевала в пристройке к деревенской кирхе, не осмелившись постучать в дом; утром ее нашла жена пастора. Потом Леона, блаженствуя, пила кофе на кухне, и — кто знает, вспомнилась бы ей когда-нибудь тяжелая горячая кружка, огромная плита с висящей над ней связкой лука, тряпичные половики, если бы не мыза «Родник» и не кухня Зайги, где случилось оказаться только по той причине, что Марита не послушалась ее и не кинулась к суетливой деревенской умелице?..

Хватит; а то еще вспомнятся туфли, которые дала жена пастора, и юбка — мятая, но чистая и совсем не старая... В тех туфлях она и убежала — от жалкой жизни, от злых языков, от доброго пастора. Убежала, чтобы не стать «сучкой Леоной», хотя путь к Фее Леонелле тоже не был усыпан розами, но... Хватит.

Юбку, еще одну, и три шелковых платья можно отнести на черный рынок хоть сегодня. И шляпку: такие больше не носят. Это лучше, чем петь для немцев. Сегодня тебя называют орхидеей, а завтра какой-нибудь герр гауптман будет совать мятые деньги.

Она столкнулась с Максом, когда выходила с пакетом из дома, и остановилась потрепать по шее сенбернара. Пакет упал, и нежный шелк выскользнул на снег.

Вечером, когда Анна ушла, Бергман постучал в дверь гостиной:

— У вас рюмки есть?

— Рюмки? — опешила Леонелла.

— Две рюмки, — терпеливо пояснил он, приподняв квадратную бутылку с прозрачной жидкостью, — я сегодня провел очень удачную операцию. Давайте отметим.

— Анна сварила кашу... Хотите?

— Еще бы! — Макс звенел рюмками. — Если, конечно, она не унесла кашу с собой.

Леонелла засмеялась.

Как странно она смеется, думал Бергман, точно плачет.

Спирт оказался вовсе не ужасен на вкус, как опасалась Леонелла, а каша отменно вкусна.

— Откуда сало? — Макс подцепил ломтик и снова налил рюмки.

— С черного рынка, — объяснила снисходительно, — там все что угодно найдете!

— Коли так, — он вытащил из кармана конверт и положил на буфет, — вы уж в следующий раз купите и на мою долю. Кроме того, я в долгу перед Анной — она у меня опять уборку сделала. Можно вам налить?

Бетти спала. Снег за окном был красив и неподвижен, как на рождественской открытке. Так уютно было сидеть за столом и болтать. Что он хотел сказать об удачной операции? С коляской, говорила Леонелла, теперь можно гулять только по Большому проспекту, все улочки завалены снегом. Хотела рассказать, как двое подростков с криками: «Жид! Жид!» гнались за третьим — длинноволосым парнем в светлом щегольском пальто; как он промчался по другой стороне проспекта, часто оступаясь, и метнулся влево, к сонам, откуда медленно выезжал автомобиль; как часто застукали выстрелы... Однако так уютно было за столом, что о неприятном говорить не хотелось, а потом она забыла.

Дом был уверен, что зима началась в тот день, когда закрыли ворота гетто: отныне их держали запертыми, а входить

могли только евреи и сопровождающие полицейские. Ударили первые нешуточные морозы, а уже в ноябре стали лютыми.

Немцы сильно мерзли. Согревали их не столько печки, сколько успехи под Москвой. Спесивая столица вот-вот падет, а дров и угля до этого часа хватит.

Дворнику не приходилось носить по квартирам дрова — этим занимались денщики, с особым рвением несущие свою службу — оттого, что здесь, а не под Москвой.

Темным зимним утром денщик гауптштурмфюрера из 8-й квартиры, которую некогда занимал старый антиквар, захлопнул сапогом дверь сарая и двинулся к лестнице. Он любил подняться на четвертый этаж, ни разу не остановившись и не уронив ни одного полена, а потом опять сбежать вниз, в погреб, за углем. Обидно, что сегодня кто-то из товарищей его опередил — в погребе слышалось легкое копошение. Он приостановился и носком сапога осторожно, чтобы не потерять равновесия, слегка потянул дверь погреба на себя: ни одно полешко не шелохнулось!

— Кто здесь? — крикнул в приоткрывшуюся щель.

Ответа не было, как не было видно света (в погреб ходили с фонариком, а дворник — со свечой). Чертыхнувшись, он начал осторожно освобождать правую руку — в кармане были спички, — но не успел: дверь внезапно распахнулась, и кто-то вылетел оттуда прямо на него.

— Стой! — заорал денщик, хватаясь за револьвер, которого, конечно же, не было, — кто ходит спозаранку за дровами с оружием?

Аккуратная охапка поленьев рухнула, а неизвестный уже несся к черной лестнице, хоть скудно, но освещенной, которая вела, по счастью, на чердак, а больше никуда.

Загорелись окна, сапоги застучали по обеим лестницам, и денщик гауптштурмфюрера в молниеносной панике успел подумать, что теперь-то уж его отправят под Москву, и одновременно — не собрать ли дрова, а больше ни о чем, потому что его отделял от бегущего только один пролет, но тот поднял руку и выстрелил.

Первые из ворвавшихся на чердак были встречены пулями из люка, ведущего на крышу. На улице стояли солдаты, задрав головы и приготовив автоматы, пока кто-то не догадался залезть на крышу казармы. Отсюда можно было различить фигуру за трубой. В люк уже лезли солдаты. Внезапно человек оттолкнул трубу и побежал, скользя, по крыше — туда, где ее больше не было, и кинулся вниз, во двор, как в колодец.

Он лежал на спине, прошитый автоматными очередями, во дворе, светлом, как никогда, распластавшись на снегу, и не только на снегу видна была кровь, но и на поленьях, которые он так мастерски колол когда-то. Кровь медленно текла по лбу, по виску, но одно пятно — на щеке — оставалось неподвижным.

Каждый день по улице проводили мужчин, замотанных шарфами, в завязанных шапках, с неизменными желтыми звездами. Рабов вели на работу. Вечером их приводили обратно, и они спешили в свои тесные, как норы, жилища, где ждали женщины и дети.

Гетто жило своей жизнью. Здесь была своя больница, где рождались дети, обреченные на смерть, и умирали старики, счастливые от того, что умирают своей смертью. На старом кладбище постоянно рыли новые могилы, если можно так

сказать о могиле, выкопанной на месте старой. Хоронили умерших, хоронили убитых.

В гетто были свои нищие и богачи, портнихи и шлюхи, философы и пьяницы. Были свои сумасшедшие. Была своя тюрьма, куда своя полиция сажала своих воров и жуликов. Были свои большевики и свои же яростные их противники. В гетто устраивали свадьбы и праздновали юбилей.

А по утрам людей опять вели группами на работу. Они перебрасывались короткими, понятными только для живущих в гетто, фразами, из которых складывалась причудливая и уродливая мозаика их жизни.

- Куда сегодня, в Старый Город?
- Нет, копать траншеи. Сахар есть?
- Только на табак.
- Сколько вчера?..
- Это не траншеи.
- Табак какой, махорка?
- Говорили: троих. Дай спички.
- У меня трубочный.
- Как не траншеи? А что это?
- ...лучше, чем на дамбу.
- Я слышал: двоих.
- Крутите папиросы сами!
- Подумай сам, зачем им траншеи?
- Ладно. Сахар кусковой?
- Упаси бог на дамбу. Лучше траншеи.
- Рафинад.
- Один на проволоку бросился. Вместе — троих...
- Папиросы только на масло.
- В Старый Город пильщики нужны.

- Лезвия «жиллет», на шпек.
- Мне махорка подходит; на что?
- На шерстяные носки.
- А кто сахар предлагал?
- Ушел сахар. За трубочный.
- Давай носки. Новые?

Начался ноябрь, когда вдруг вылетело новое слово: *акция*. Острый, режущий холодом ветер швырял его от одного к другому: *акция* — *акция*... Кто-то сострил торопливо: *акции*, мол, остались на бирже, но никто не поддержал, и не потому, что в гетто не было биржи, а — ждали *акции*.

В семь часов утра 29 ноября всем мужчинам, кто может работать, было приказано построиться в колонны. Из больших и маленьких групп, спешащих сюда из боковых улиц, на Палисадной сбивается одна длинная и плотная колонна. Приказ стоять и ждать. Курить запрещается. По тротуару взад и вперед ходят полицейские, сегодня их особенно много.

Люди в колонне стоят уже полтора часа, и с верхних этажей дома видно, что колонна часто-часто подрагивает — люди прыгают на месте. Спустя еще какое-то время это уже не колонна, а плотная толпа. Слева, со стороны гетто, несетя частое постукивание: ставят новый — внутренний — забор. Головы часто поворачиваются назад, хотя ничего разглядеть нельзя. Это и есть *акция*?.. Губы плохо слушаются.

- Лучше бы уж работать!
- Чертов холод!
- Америка обещала выступить...

- Долго еще?..
- Спроси коменданта — скажет!
- Когда акция?
- Дай потянуть.
- Держи.
- А забор зачем?
- Потихоньку выдыхай, чтоб не видно...
- Ног не чувствую.
- Я точно знаю, что Америка...
- Чем так стоять, лучше на дамбе...
- Нужны мы Америке...
- У меня отец...
- Найдут, зачем забор; немцы зря ничего...
- А у меня сын!
- Может, и дух святой?
- ...и дочка грудная.
- Чтоб вторые ворота ставить, вот и забор.
- Околеть можно...
- Если ворота, зачем забор?
- Америка...
- А зачем вторые ворота?
- Говорят, Америка уже выступила...
- Какие ворота? Просто гетто уменьшают!
- Скоро совсем закроют.
- Именно: Америка предъявила немцам ультиматум.
- А забор?!
- Не ультиматум, а ноту.
- ...потому и забор.
- Нельзя ж так сразу...
- А нас — куда?..

Выстрел и звук молотка не всегда легко отличить друг от друга. Особенно, когда они звучат одновременно. Дом не раз видел строящиеся и проходившие колонны: в июне сорок первого, когда Роберт Эгле и Бруно Строд не смогли не оглянуться, в ноябре, во время ожидания акции, которая была первой, но далеко не последней, но уже в тот ноябрьский день люди узнали, что акция — это убийство.

Дом видел акцию, и седина плотным белым инеем выступила на темном граните, а людей строили и куда-то уводили, и это называлось: война.

Другой войны, с линией фронта, окопами, артиллерийским огнем и воронками, рвущими тело земли и людей, дом не знал. Хранимый счастливым номером, он видел только одну бомбежку да колонну танков, которые медленно ползли по бульвару, не стреляя и не взрываясь. Однако те, кто воевал на фронте, не видели ни одной акции. У фронта другие законы — безоружных берут в плен, но не убивают.

Счастливые время быстротечно; черное, страшное время растягивает каждый проживаемый день, как бессонную ночь, а ночь превращает в ожидание следующего дня. Эти бесконечные дни выстраивались цепочкой, как люди в очереди — или в колонне, ведь колонна — это не что иное, как очередь в ожидании новой акции. Как слухи в очереди, клочки разговоров в гетто внезапно оборачивались реальной и беспощадной истиной. И забор ставили не зря, отсекая одну часть гетто от другой, потому что гетто действительно сжималось после каждой акции, как белье при стирке; и трубочный табак — самый выгодный обмен, что на шпек, что на сахар; и более того — Америка выступила, открылся

второй фронт, но никто в гетто этому порадоваться не мог, потому что через два года, в ноябре 43-го, его обитатели лежали в собственноручно выкопанных траншеях, которые, конечно же, оказались не траншеями.

После беспрецедентного происшествия с цыганом Мануйлой дом № 21 находился под усиленной охраной, а дверь погребца стали запирают на замок. Дворник, конечно, был допрошен, и не здесь, а в печально известном здании в центре Города. Допрашивал офицер с позвякивающим черным крестом на кителе и повязкой на рукаве, тоже с черными полосками. Лица Ян не запомнил. Кроме следователя, в кабинете сидел гауптштурмфюрер из 8-й квартиры, временно оставшийся без денщика, барышня-стенографистка с красной помадой на сером лице и переводчик — малый лет тридцати в гражданском костюме. Ему приходилось говорить больше других, и он делал это, умудряясь не смотреть в глаза ни следователю, ни допрашиваемому.

Да, дворник знал этого человека: он помогал ему пилить и колоть дрова. Нет, не сейчас; до войны. Нет, фамилии не знаю.

— Jude?

— Я не спрашивал паспорт.

— Что он делал в погребце?

— Не могу знать; я спал.

— Как он туда проник?

Старик посмотрел прямо на следователя и четко ответил, словно тот мог его понять:

— Ваши солдаты караулят вход; почему вы спрашиваете меня?

Переводчик затарахтел, уставившись следователю в фуражку. Гауптштурмфюрер вскочил и заговорил гневно и быстро. Барышня бесшумно перевернула страницу.

— Откуда у него оружие?

— Не могу знать. Я оружия не держу, можете обыскать.

На следователя смотрел спокойный равнодушный старик, усталый настолько, что напугать его было невозможно. О чем он думает, молится?

Некуда было парню бежать, думал Ян, только на крышу. Мануйла высоты боится, отчетливо прозвучал в ушах голос трубочиста, с ним на крыше несподручно. Однако ж не испугался и пули ждать не стал — сам бросился. Если б у меня были крылья, мечтательно говорил Мануйла, отирая потный лоб, я никогда бы по земле не ходил, дядюшка. Хорошо птицам — раскрыл крылья — вот так! — и полетел!..

Может, он успел почувствовать радость полета, кто знает...

— ...обязанность — следить за домом! — Переводчику пришлось повторить.

— За домом я слежу, — твердо ответил дворник, — никто из жильцов не жаловался.

— Плохо следите! — рявкнул гауптштурмфюрер. Он хотел сказать: «средишь», но как-то не выговорилось. — В погребке жид — и это порядок?!

Старик устало пожал плечами:

— Мы живем в гетто, господин офицер.

Переводчик неожиданно взглянул Яну в глаза и тут же отвернулся к немцу, бесстрастно артикулируя страшные слова.

Обыск у дворника оказался совершенно бесплодным, хотя даже содержимое Лайминой рукодельной корзинки

было выброшено на пол. Некоторое удивление вызвало плотно маслом с милейшей деревенской фройляйн и дорогая люстра арт нуво, но ни взрывчатки, ни какого-то иного оружия не нашли.

Усиленная охрана состояла из часто сменяющихся у входа солдат. Они же каждые два часа обходили двор.

Одна власть извела Каспара, другая — Мануйлу; третья возьмется за меня, думал Ян.

Гетто больше не было. Пустые улицы, переулки, дома и переполненное кладбище безмолвно лежали за колючим забором, как огромный убитый еж. Однако второй фронт открылся, у Советского Союза появились союзники, поэтому рассуждения о «третьей власти» совсем не казались странными.

ЧАСТЬ 4

Первым из дома № 21 исчез штурмбанфюрер Грюндер: с тем же удивленным лицом, словно вот-вот чихнет, сел наконец в автомобиль и уехал. Спустя час подкатила другая машина, сразу вслед за ней еще две. Последними протопали по лестнице денщики с чемоданами, и дом освободился.

Он освободился еще раньше, чем был освобожден Город, и не сразу поверил, что чужие ушли, однако казарма рядом тоже быстро опустела. Ветер носил по Палисадной листья, ключья газет, перекатывал окурки; ветер пахнул дымом — немцы жгли бумаги, а чаще просто жгли дома, в которых эти бумаги находились. Везде по-прежнему висели флаги со свастикой, но кое-где уже всплескивали на ветру красно-бело-красные — от этого становилось тревожно и радостно; появлялись и незабытые красные, с серпом и молотом.

Немцы держали город цепко, отступали не по своей воле, а потому старались не оставить камня на камне. Все, что не было вывезено в Германию, подлежало уничтожению, о чем оглушительно грохотали частые взрывы, и камней как раз осталось предостаточно — больше, чем людей. Одни уехали в Германию, соблазнившись сытой жизнью, других угна-

ли — вон лежит поверженный забор со старым плакатом: «Твой труд в Германии — залог победы!», третьи... Их больше нет, они не вернутся никогда. Но, может быть, вернется те, кого заставили уйти первыми — тогда, в июне сорок первого? Или вынужденные покинуть дом из-за того, что он приглянулся немцам?

13 октября 44-го красноармейцы срывали с уцелевших домов флаги со свастикой и ставили в освободившиеся кронштейны победоносные советские.

Дом № 21 оставался в числе счастливых — немцы не заминировали подвал. Ни Палисадная, ни прилежащие улицы не захлестнула волна разрушения, если не считать загаженного нутра и выбитых стекол бывшей казармы, но это была примитивная инициатива солдат, без творческого подхода, которую они не посмели распространить на соседний дом, где три года обитало важное начальство.

Одна власть извела Каспара, опять думал дядюшка Ян за чашкой желудевого кофе, другая — Мануйлу. Третья, он был уверен, вспомнит о нем. Однако третья власть придет скоро, и нечего думать о ней, когда немцев прогнали большевики. Коли дотянулись бы досюда американцы, так и флаги висели бы другие; однако ж пришли советские... Солдаты не похожи на тех, первых, которые суетились, уходя в 41-м. Куда? Неважно; главное, что — отсюда. Говорят, немцы тогда почти всех в плен взяли. Кого в лагерь, кого... дальше; раненых добила. Эти не уйдут: хозяева.

Все окна были распахнуты. Дом жадно вдыхал осенний воздух. Чтоб духу ихнего не было, бормотал себе под нос дворник, обходя квартиры и чиркая что-то в обшарпанном блокноте. Где плинтус отошел, где кран в ванной капает,

и на белой стенке отпечатались ржавая дорожка; а вот дверь просела: петли разболтаны. По малости легче поправить, а то вернуться люди...

Сквозняк разнес ворчание дядюшки Яна по всем этажам, с балкона на балкон, вниз по лестнице, и скоро дом не мог думать ни о чем другом, как только о словах: вернуться люди.

Значит, они вернуться?

Кто, интересно, появится первым?

Первой пришла зима, мягкая и рыхлая. Обильный снег щедро и милосердно заваливал искореженные улицы, холодными компрессами остужал черные ожоги уцелевших стен. Так хозяйка мечется по комнате, стараясь торопливо скрыть перед приходом гостя следы беспорядка: задергивает занавески, поспешно застилает кровать и, не успев убрать остатки завтрака, набрасывает белую салфетку на тот угол стола, где стоит недопитый чай, открытая сахарница, и хлебные крошки на скатерти перемешаны с яичной скорлупой.

Палисадная улица выглядела почти нарядно. Колючий забор, надобность в котором давно отпала, постепенно исчез: ржавые колтуны колючей проволоки собрали и куда-то вывезли, а столбы вывезти не успели — их растащили на дрова.

Город оживал. Надвигалось Рождество, и по бывшим улицам гетто люди шли кто в церковь, кто в костел. Так непривычно было вновь свободно здесь ходить. Колокола звонили громко и торжественно.

После окончания мессы тетушка Лайма подошла к Деве Марии. Она стояла справа от входа, в глубокой нише; толстые желтые свечи горели ровно и ярко, освещая гибкую девичью фигурку в голубой ризе. Богоматерь стояла, сложив у груди

сведенные ладони, глядя прямо на Лайму, и так скорбен был ее взгляд, что хотелось ступить туда, в глубину ниши, и обнять и защитить хрупкую фигурку. Лайма обмакнула кончики пальцев в каменную чашу с водой, опустила на колени и сложила руки, шепча с закрытыми глазами: «Спаси его и помилуй, Матерь Божия; помилуй и спаси». Знала: услышит заступница, услышит и поймет. Кому же, как не Ей...

Шли назад по мягкому, праздничному снегу. Спешить было некуда — дом пуст. Сделали большой круг: миновали каменные ворота старообрядческого кладбища, православный собор и спустились по бегущей вниз улице, тесно заставленной домиками и домишками. Их не взорвали и не спалили — это была сердцевина гетто. Видимо, немцы решили, что оно стерлось, исчезло с лица земли так же, как были стерты его обитатели.

В некоторых окнах горел свет, к калиткам в заборе то здесь, то там были протоптаны в снегу тропинки; на дальнем дворе лаяла собака. Воротились ли к своим очагам прежние обитатели, или здесь нашли приют те, кто остался без крыши над головой, когда город сотрясали вулканы взрывов? Лайма радовалась светящимся окнам и в то же время не могла вообразить, как можно смеяться, есть, читать газету, ласкать детей в тех же комнатах, где были убиты люди, которые тоже ели, смеялись, читали газеты и прижимали к себе детей; но их детей убивали вместе с ними, пока не убили всех.

Можно ли поселиться на кладбище? Только если не знать, что оно здесь...

Каждое утро Ян и Лайма ждут почтальона: вдруг письмо из деревни, от брата? Раз в две-три недели письмо прихо-

дит. Густав пишет коротко и только о самых важных делах, близких любому хуторянину. *Вода в колодце зацвела, почистить бы надо, да сам не управляюсь, а молодых в округе нету никого; крышу на гумне чинить пора, брат, мне одному не под силу, а нанять некого — одни старики по соседству...* Читая эти однообразные жалобы, оба успокаивались: значит, Валтер в лесу, с «братьями»; можно перевести дух до следующей весточки. Прошлым летом брат посетовал на детишек: *сбивают незрелые яблоки, кто палкой, кто из рогатки, а не то драку затевают прямо в саду; я уж стар за ними гоняться...*

То был тревожный сигнал, и Ян не откладывая отправился на хутор, благо недалеко, и весь недлинный путь гадал и не мог разгадать братову притчу, да и не удивительно: не все горожане знали о советских партизанах, появившихся в лесах, о яростных схватках с «лесными братьями», и уж, конечно, не на рогатках.

Однако на хуторе его ожидало еще одно известие: сын решил записаться в легион.

Ян читал газету «ОТЧИЗНА», а если бы не читал, то листовки всюду расклеены были, да и люди рассказали, что объявлен призыв в Национальный добровольческий легион, объединяющий в своих рядах «лучших мужчин и юношей местного населения, чтобы плечом к плечу с воинами Великой Германии защитить родную землю от кровавого большевизма».

— Двое наших записались, — Валтер задыхался от волнения, — потому что немцев в легионе не будет. Подготовку ведут наши офицеры, Национальной Гвардии. Форму выдают. Ну, платить и снабжать будут хорошо, как немцев.

Ян молчал.

— Форму дадут, — повторил Валтер без прежней уверенности — молчание отца обескураживало, — и двое у нас... уже...

— Что ж только двое? — негромко спросил Ян. — А то, может, сразу бы все?

Валтер скинул сапоги. Они качнулись, как кегли, и повалились на пол.

— Обут, — Ян кивнул на сапоги, — приоденут тебя; паек немецкий получишь... Оно и кстати: засиделся ты на дядькиных хлебах.

Жена Густава как раз поставила на стол кувшин с молоком и тихонько вышла.

Валтер вскочил:

— Я с шестнадцати лет работаю! Ты забыл, сколько я на шведском корабле плавал?.. Потом в гавани, еще перед армией; потом служил. А тут война...

— Не забыл; все помню. Война уж третий год, а тетке на хуторе помочь некому, разве что мать из города приедет.

— Тут партизаны кругом! Ты не знаешь, а мы...

— Вы теперь, — продолжал Ян, — к немцам служить пойдете, а партизаны за харчами явятся. Им тоже жрать хочется, а где ж взять, как не на хуторах?

— Не к немцам! — закричал Валтер, — там все наши офицеры!

— Во как! А в какую форму офицеров оденут, ты не знаешь? Как и вас всех — в немецкую; забыл? И харчи — немецкие. Собаку — и то задарма не кормят: служить надо. Так что, все еще «наши»?

Валтер стоял перед ним — рослый, сильный, загорелый, — и беспомощно искал нужные слова, чтобы спорить,

потому что не может быть, чтобы отец был прав; искал и не мог найти.

Не было таких слов.

— Не просчитайся, сынок, — Ян говорил очень тихо, — и парням скажи: не того хозяина выбирают. Немец стелет мягко, а придется ли вам спать, когда большевики по вашим шинелькам палить будут? Подумай, сынок!..

Он тяжело поднялся на ноги, и они шагнули одновременно навстречу друг к другу, обнялись крепко и молча.

...Мальчик, мальчик... Одумался, к счастью, отшатнулся от легиона; а где сейчас, неизвестно. Густав тоже ничего не знает, кроме того, что знают все: большевики охотятся на «лесных братьев», и нет пощады тем, кого поймали. Оттого и плачет Лайма украдкой, будто он не знает.

Кабы уметь плакать. Кабы слезы помогали...

Весна начинается не капелью, не таянием сугробов и не птичьей болтовней — весна наступает, когда меняется воздух так, что каждый звук становится чистым и отчетливым, словно мир проветрили, как хорошая хозяйка проветривает комнаты, выбросив из окон плотную, слежавшуюся вату и вымыв стекла, издающие под ее тряпкой счастливый писк. Вот тогда легко расслышать ксилофон капли, увидеть, как съеживаются серые сугробы, а с голых деревьев несется громкий птичий вздор — это горланят скворцы и грачи.

Сначала мир озвучивается, затем в нем проступают краски — точь-в-точь как на детской переводной картинке, где ничего не видно, кроме мутно-сероватых пятен, но если щедро намочить нетерпеливый палец и потереть с изнанки, серая муть обернется на бумаге либо изысканным букетом,

либо экзотической рыбой, а то и девой сказочной красоты, окрашенными с одинаковой тропической яркостью.

Только-только отгремел победный май 1945-го. Над парадным дома № 21 тоже висит красный флаг. Пустырь с правой стороны покрылся яркой травой, и желтоклювые дрозды — коричнево-сине-зеленые, с металлическим отливом, как навозные жуки, челноками выются в траве, выискивая навозных жуков, таких же зелено-сине-коричневых и блестящих, как дрозды, только без клювов.

Острая зеленая травка пробивается кое-где и между серых бульжников, несмотря на то, что проезжали лошади с телегами и машины. Вот еще одна едет, такси; тормозит прямо по рыженькому одуванчику и останавливается. Женщина в бежевом летнем пальто и маленькой шляпке на белокурых волосах выходит из машины, а вслед за женщиной, держась за ее руку, появляется упитанная румяная девочка лет четырех. Такси уезжает. Одуванчик, прижатый вонючей резиной к мостовой, не может опомниться от пережитого ужаса, как дом не может опомниться от радости: Леонелла вернулась! Фея... Товарищ артистка...

Они возвращаются!

Господин Мартин Баумейстер возвращался из кабинета врача. От горной лечебницы до маленького деревенского отеля, где его ждала молодая госпожа Баумейстер, урожденная Шульц, было не более получаса езды, если ехать очень медленно. Мартин не спешил. Вполне хватало времени, чтобы донести обе новости, хорошую и плохую, но чем ближе он подъезжал к гостинице, тем меньше представлял

себе, как же сообщить о плохой. Элге двадцать семь лет, и она мечтает о ребенке, особенно сейчас, когда состояние улучшилось настолько, что врач с легким, по его собственному признанию, сердцем отпустил ее. Это была хорошая новость, богато иллюстрированная рентгеновскими снимками. Доктор водил карандашом над поверхностью дымчатой пленки, восхищенно приговаривая: «Зарубцевалось! И здесь, и даже — видите? — нижняя доля!..» и приглашая Мартина разделить его ликование. Мартин добросовестно следил за докторовым карандашом, но отчетливо видел только ребра — откровенный скелетный каркас, и не мог поверить, что это — Элга.

— Прогресс удивительный, редчайший, я не боюсь этого слова, — продолжал врач, — а я ведь знаю фройляйн... простите, фрау Баумейстер почти семь лет! Глубокие эмоции, представьте, оказываются сильнее болезни.

Мартин знал, что в стенах лечебницы ни пациенты, ни доктора не произносят слово «туберкулез», а заменяют его более общим: «болезнь»; в сложных случаях — «обострение».

— Пациенты уезжают, — продолжал врач, — и я счастлив не получать от них никаких вестей, кроме рождественских открыток!

— Открытки, доктор, я вам обещаю, — улыбнулся Мартин.

И хорошо бы вот так, на взаимных улыбках, попрощаться, крепко пожав руку славному немцу, но вышло совсем иначе, и Мартин не сразу убрал с лица неуместную уже улыбку, потому что доктор стал серьезен:

— Ремиссия не есть выздоровление, поймите. Болезнь прячется; затаивается. Возможно, я доживу до тех времен,

когда ее научатся излечивать... А сейчас главное лекарство для вашей жены — вы и ваша любовь. Ребенок ее убьет.

Он помолчал, потом встал:

— Очень трудно говорить... такое.

Словно ему, Мартину, принести «такое» молодой жене было легче.

Или... ничего не говорить? Сказать только о хорошем, о снимках этих, а слово «ремиссия» — будто автомобиль замедляет ход и останавливается, — слово «ремиссия» производить вовсе не нужно. Именно так.

Элга стояла перед зеркалом и, придерживая левой рукой шляпу, правой осторожно заправляла под нее уложенные волосы. Повернулась радостно и нетерпеливо, и длинные рыжеватые пряди выскользнули на плечи.

— Отчего ты так долго?.. Как тебе нравится мое новое платье?

Жена всегда задавала несколько вопросов сразу. Мартин знал эту привычку давно и свыкся с нею, хотя всякий раз не мог удержаться от улыбки, как не удержался и сейчас.

— Чудесное платье; мы отправимся пировать прямо сейчас. Не прячь волосы, оставь вот так...

Он сделал рукой неопределенный жест, отчего Элга рассмееялась и начала подкалывать одну тяжелую рыжеватую прядь за другой. Щелкнула пряжкой широкого пояса, опять надела шляпку, чуть сдвинув набок, — и шляпка сразу стала единственной в мире, не похожей на все остальные шляпки.

— Тебе нравится? А куда мы поедем?

Плотный темный шелк цвета графита напомнил о рентгеновских пластинах. Ремиссия, черт побери. Как трудно об этом не думать. Пока он заводил мотор, Элга разгладила узкие полы

платья, чтобы не помять, и привычно положила руку ему на колено. Длинная перчатка доходила до локтя; загорелое предплечье казалось совсем тонким в широком расструге рукава.

После ресторана гуляли по берегу озера. Остановились около ограды небольшой кирхи, где год назад, седьмого апреля сорок пятого, они венчались.

Из родных присутствовали двое — мать и брат невесты, однако молодые были уверены: не за горами время, когда можно будет увидеться и с господином Шульцем, к которому Мартин заранее проникся симпатией, и с господином Баумейстером-старшим, несмотря на то, что от него не пришло ни одной весточки, даже после того как Город, их общий с Элгой город, был освобожден.

— Может быть, как раз поэтому, — осторожно предположил Рене (он же Райнер), брат Элги. Он походил на сестру улыбочивостью и веснушками, хотя был темноволос, крепок и широк в плечах.

Госпожа Шульц, статная, все еще стройная дама, с такими же, как у дочери, густыми волосами, стянутыми в тяжелый валик (слово «теща» к ней никак не подходило), промолчала: муж не ответил на радостное письмо о свадьбе дочери, но нужно ли говорить об этом сейчас, когда эти двое сияют от радости?.. Должно быть, ответное письмо задержалось, да; не иначе.

В глубине души Мартин разделял мнение нового родственника, да и молчание отца только подтверждало худшие подозрения. Не мог бы отец не ответить, когда Мартин написал о знакомстве с Элгой, сожалея, что фотографической карточки нет, хотя какая карточка даст представление о продолговатых зеленых глазах, улыбочивом лице и уди-

вительных волосах цвета темного меда... Нет, проще было напомнить отцу о боттичеллиевской Венере, которой они вместе любовались когда-то в Италии. Правда, лицо Элги выглядело худеньким по сравнению с гладким ликом богини, зато Венере — Мартин был твердо в этом убежден — явно недоставало обаятельной улыбки Элги.

Отец не ответил.

Не было ответа и на другое большое письмо, в котором Мартин сообщал о помолвке: «...Представь, они жили в пятнадцати минутах от твоего дома, и мы ни разу не встретились! Я так благодарен, что ты настоял именно на Швейцарии... Позволь, отец, считать этот жест твоим благословением нашего союза». Ни это письмо, ни следующее, о судьбоносном апреле, назад не вернулись, что давало смутную, зыбкую надежду: получены?.. Однако отец молчал необъяснимым, годами длящимся молчанием, и существующее беспокойство Мартина уступило место печали. Он доставал записку шестилетней давности и читал поблекшие чернильные строчки, с пропущенным в спешке предлогом:

«Ни в коем случае не возвращайся.

Меня задерживают объективные обстоятельства.

Все полномочия у господина Реммлера.

Обнимаю, всегда тобой,

Отец».

Увы, теперь полномочия господина Реммлера ничем не могли помочь, зато он сам, вместе со своей представительной супругой, с достоинством выступил свидетелем во время венчания.

Мартину приходилось бывать на чужих свадьбах, наблюдать и слушать одно и то же, но в тот день, произнося простые и пронзительные слова, он с трудом удержался от слез: *...Хранить и беречь друг друга отныне в счастье и несчастье, в богатстве и бедности, в болезни и здоровье; любить и лелеять, пока смерть нас не разлучит.*

Прогулки часто приводили их к старой кирхе. Это была строгая постройка из желтого кирпича: две маленькие башни по бокам и одна центральная, возносящая к небу крест — не для того, чтобы дерзкой высотой проткнуть облака, а смиренно обозначающая Божий храм.

В июне солнце садится поздно, однако пора было возвращаться — после заката Элге гулять нельзя. Мартин укутал узкие плечи жены шерстяной шалью.

— Постоим немножко? — попросила она. — Знаешь, о чем я подумала? Когда у нас будет... Когда родится ребенок, мы принесем сюда его крестить, верно?

Только здесь, у старой кирхи, стало ясно, что молчать нельзя, иначе все разрушится, рассыплется, и чистые пронзительные слова превратятся в свинцовые литеры наборной кассы.

Элга слушала, но не слова, а голос мужа, усталый и словно постаревший за последние минуты. Слушала, чуть склонив набок голову, как Венера у Боттичелли, только на голове у Венеры не было французской шляпки; поэтому, должно быть, обладательница шляпки улыбалась немножко снисходительно. Она положила руки Мартину на плечи и ответила, в обычной своей манере, сразу несколькими вопросами:

— Это тебе доктор сказал? А если родится девочка, то мы назовем ее Ингой, ты согласен? Скажи, Мартин, ты согласен?

Оказывается, дом перестает жить, когда из него уходит ребенок. В гостиной по-прежнему стояли белый рояль, ставший привычным, и удобные глубокие кресла. Из распахнутой в сад двери тянуло трезвым осенним холодом. Бергман часто сидел на ступеньках, курил и прислушивался к замершему дому. Никакого топота за спиной, никто не закроет ему ладошками глаза и не скажет «страшным» голосом: «Макс, угадай: кто я?». До чего же стойкая привычка... Четыре месяца назад Леонелла вернулась в старый дом, на Палисадную, и особняк внезапно стал чужим, почти враждебным — таким, как Макс его увидел в 41-м. Каро, произнес он вслух и вздрогнул от неожиданности. Голосом он пользовался на работе, по необходимости. Возвращаясь домой (когда особняк был домом), разговаривал с Леонеллой и с маленькой Бертой, чью круглую румяную рожицу видел в окне — девочка ждала его, нетерпеливо подпрыгивая у подоконника. Вечером, когда поднимался в свою комнату, за ним спешил Каро. С раннего детства пес выслушивал одинокие монологи хозяина, дергая, в знак несогласия, ухом или недоуменно поднимаясь на передние лапы.

Поздним ноябрьским вечером прошлого года Макс пожелал, как обычно, Леонелле доброй ночи и пошел наверх. Пес последовал медленно и словно бы нехотя, а на середине лестницы неожиданно споткнулся и упал на передние лапы. Тут же вскочил — и рухнул, сползая по ступенькам: нижняя половина туловища дрожала мелкой дрожью, но не двигалась. Макс втащил его в комнату, кинулся к саквоюжу, а потом на кухню — кипятить шприц, что заняло положенное время — ровно столько, чтобы он уже не понадобился. И не в стерилизации было дело, какое там; просто паралич действовал быстрее, словно торопясь избавить пса от долгих

мучений. Каро жадно лакал воду из подставленной миски, и каждый новый глоток давался с трудом, а когда беспомощно повисла губа, вода потекла обратно, и все кончилось.

Каро, Каро... Ты же настоящий Мафусаил, пробормотал Бергман и закурил папиросу, словно тот мог услышать и дернуть ухом. Сенбернары редко так долго живут; тебе ведь хорошо с нами было, верно? Рука с папиросой застыла. С нами, вот оно что. Он переехал в особняк, движимый только одним желанием: оказаться как можно дальше оттуда, от гетто, и замуровать себя в спасительном одиночестве, наедине с собакой. И что же? Чужая жена и чужой ребенок без всякого труда лишили его этой защитной брони, зато теперь пришло настоящее одиночество — безысходное, лютое, волчье. К тому же — в чужой норе...

Дома в округе по-прежнему выглядели необитаемыми. За исключением нескольких. Теперь, когда немцев больше не было, казалось, что пустых домов стало больше. Если бы завтра вернулись хозяева особняка, они нашли бы дом в идеальном порядке, так же как и документы неожиданного обитателя.

...Что-то остановило Бергмана от похода в префектуру, какое-то суеверное чувство, хотя приехал в центр и даже приблизился к зданию. У обочины стояло несколько легковых автомобилей. Вход охраняли вооруженные красноармейцы. Он прошел целый квартал по противоположной стороне, посмотрел на часы — и тут же забыл, сколько времени, повернул за угол и через полчаса стоял перед деревянным домом на Малой Речной улице, где до войны располагался полицейский участок, о чем свидетельствовала эмалевая табличка. Однако табличка эта осталась разве что

в памяти Макса, ибо в 40-м году полицейский участок превратился в отделение милиции. Что здесь находилось при немцах, Бергман не знал, но заметил как-то входящих и выходящих мужчин с повязками на рукавах — местную полицию. Власть меняется, но учреждения правопорядка сохраняют свою суть. Немцев больше нет, и дверь, которую он толкнул, снова вела в отделение милиции.

Внутри Макс никогда не был. За шатким столиком в передней солдат чистил промокашкой перо.

— По какому вопросу?

Бергман коротко сообщил о потере паспорта. Солдат потянул к себе большую тетрадь и записал его фамилию. Перо явно было вычищено плохо — за буквами тянулся чернильный шлейф.

После недолгого сидения в коридоре Макса позвали в кабинет — просторную комнату с грязным дощатым полом, где стояло два стола. Один был необитаем, за вторым сидел худой лейтенант лет тридцати с глазами навывкате.

Бергман настолько сжился с историей «утраченного» паспорта, что сам наполовину ей поверил и повторил легким и обыденным голосом.

Лейтенант выслушал скептически, но не перебивал.

— Сейчас многие теряют паспорта, — сказал наконец, сделав на слове «теряют» особый упор, — а у вас документ какой-то имеется?

— Вот, — Бергман достал из портмоне ветхую бумажку, — мой пропуск.

— Метрика требуется, — голос лейтенанта стал чуть менее скептическим, — или профсоюзный билет. Чтоб фотография имелась.

— Мне в клинике приходилось работать по восемнадцать часов, — веско ответил Бергман, — а из квартиры выселили, как и остальных жильцов. Где я сейчас найду метрику? Зато здесь, — обвел широким жестом комнату, в которой никогда не был, — находятся сведения о моей прописке и обо мне. Если вы не можете выдать паспорт взамен утраченного, я обращаюсь в префектуру.

— Что вы меня префектурой вашей?.. Я могу вас задерживать как беспаспортного! — крикнул лейтенант и вскочил на ноги.

У него базедова, понял Макс; потому глаза такие и взвинченность. Спокойно поднялся со стула и протянул руку:

— Доктор медицины Макс Бергман.

Теперь они стояли, разделенные столом, и лейтенант недоуменно смотрел на протянутую ладонь, потом неохотно пожал ее:

— Лейтенант Егоров, — и сел, кивнув Бергману на стул. — Медицины... А какой еще доктор-то бывает?

— Философии, например, — невозмутимо ответил Макс, словно только за этим пришел, — математики, физики... Да любой науки.

Главное — не улыбаться; никакой снисходительности, только ровный и доброжелательный тон.

— Нам тут... не до науки. Место работы?

— Больница Красного Креста, — ответил Бергман, избегая обращения: «товарищ» звучало бы слишком поспешно.

Все оказалось не так сложно. Требовалась справка с места работы, две фотографии и свидетельство дворника; когда прощались, Егоров первым протянул руку.

Сложно (чтобы не сказать — невозможно) было другое: вернуться в дом, где бросил мертвого друга, сжег в печке свое еврейство и где живет женщина, без которой он сам, оказывается, жить не умеет. Поэтому замедлил шаги еще на углу и шел по Палисадной не торопясь.

После переезда в Кайзервальд появился здесь только один раз — не столько проведать «Федора Шаповалова», сколько выполнить обещание, данное ответственному старичку в конторе приюта. Не застал, однако, ни бывшего раненого, ни самого старичка, да и вообще никого: дом призрения был пуст. Бергман обошел просторные гулкие коридоры и только на выходе столкнулся с энергичным рыжеволосым человеком. Нет, не знаю, ничем помочь не могу; да помилуйте — с какой стати, у нас своих калек полно! Только тут Макс увидел повязку с надписью JUDENRAT у рыжего на рукаве...

Чем медленнее он шел, тем больше изменений бросалось в глаза. Высокий забор из свежеструганых досок скрывал то, что было хибаркой горбатого Ицика. Зато ограда вокруг приюта, наоборот, была снесена, и дорожка от тротуара вела к широкой лестнице главного входа в... «ГОРОДСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», если верить вывеске под толстым стеклом, и приходилось верить, хотя бы потому, что в стороне от здания стояли все те же каштаны, посаженные самыми первыми обитателями дома призрения, о чем свидетельствовали таблички на стволах деревьев, куда более скромные и незаметные. Вот и скамейка, где они так часто разговаривали с Зильбером, пока сенбернар с достоинством обходил деревья. Разрослись ввысь и вширь кусты жасмина, и прежде на редкость густые: Макс помнил,

как крохотный пуделек Шихова сдуру сунулся да и застрял в ветвях, безнадежно запутав поводок и заходясь истеричным визгом, и как они с учителем в четыре руки извлекали дрожащее исцарапанное существо. Так хорошо запомнилась эта собачонка, всегда буйно яростная, при своей миниатюрности, что и об учителе вспомнил благодаря ей. Где он, интересно? И дантист — он ведь первым съехал в начале войны, еще до выселения? И как там дядюшка Ян?..

Оставалось войти в дом.

Кто сказал, что нет ничего более постоянного, чем временное? Кем бы ни был этот философ, он прав, и Андрей Ильич Шихов готов был подписаться под этой банальной истиной обеими руками. Более того, бесхитростной мыслью можно было жонглировать до бесконечности, ибо самое что ни на есть постоянное в нашей жизни может оказаться временным, а то и кратковременным; в свою очередь, временное, стоит чуть привыкнуть к нему, притворяется, что присутствовало в жизни всегда.

Предвоенный год учителя Шихова прошел под гостеприимной крышей Французского лицея — всего лишь год, а какой утратой обернулся этот срок, когда не стало лицея, а стало быть, работы! Помнил свое отчаяние, которое нельзя было скрыть от Тамары, помнил ее терпеливые уверения: «Это временно, Андрюша, вот увидишь!»

Конечно, временно; как и война. Однако пока шла война, то казалось, конца ей не будет. Война оставила его без дела: школы закрывались одна за другой. И все же именно тогда случилась — иначе не скажешь — работа, сразу после Рождества 41-го, как раз вследствие закрытия школ. Сколь-

ко продлится война, никто не знал, но семьи, в которых были дети, встревожились по-настоящему.

Шихов-старший к этому времени почти оправился от болезни. Ничего удивительного, уверял он невестку и сына, большие беды прогоняют малые! Он снова мог читать, охотно выходил на прогулки в парк — словом, оживал на глазах. Очень обрадовался, когда его зашел навестить старый друг, настоятель церкви Николая Угодника; они долго беседовали в кабинете, а потом отец позвал Андрея...

Идея была проста. Поскольку немцы относятся к церкви весьма благосклонно, отец Артемий набрал большую группу детишек для воскресной школы и начал искать учителей; сам продолжал вести Закон Божий.

Теперь ожил Андрей. Непривычно было вести урок не в лицее и не в гимназии, а в церкви, без классного журнала, без указки и не вешать карты на доску не только по причине отсутствия доски, но и оттого, что опасно было приносить такие вещи, как карты и учебники. Дети рассаживались по сторонам длинного прямоугольного стола и поначалу просто слушали, бросая друг на друга заговорщицкие взгляды: всем нравилась бесхитростная конспирация, нравились уроки, столь не похожие на привычные школьные уроки, нравилось, что не грозят постылые контрольные и что можно сидеть, болтая ногами, и слушать учителя вполуха, а то просто рассматривать потемневшие иконы на стенах и вдыхать запах прелой кожи от черных, захватанных сотнями рук, псалтырей, ровно разложенных по периметру стола, — тоже для конспирации.

Привлечь внимание разновозрастных детей, многие из которых недоедают и почти все мерзнут, намного трудней, чем вести обычный урок.

— Если бы пещерный человек умел смеяться, — прямо от дверей начинал Андрей Ильич, — история пошла бы по другому пути... Кто согласен? Так-так... Вы все смеетесь — значит, мы далеко ушли от пещерного человека; это хороший знак.

Дети хохотали. Учитель не останавливал — он тоже улыбался. Внимание схвачено, теперь нужно его удержать. Он бросал вопросы азартно, словно мячи в корзину. Почему они не смеялись? А грустить пещерные люди умели? Чем же они были заняты? Почему? Стоп, стоп: при чем тут сфинкс?.. Когда начали строить пирамиды, кто помнит?

Число ребятишек очень скоро увеличилось, их разделили на группы, а к весне импровизированные лекции-беседы (только Тамара знала, как долго и тщательно муж к ним готовился) — к весне эти беседы стали больше похожи на уроки, да и разношерстная ватага ребятишек выглядела совсем иначе.

— Ты не очень-то, Андрюша, — осторожничал Шихов-старший, который вел занятия по естествознанию и биологии, — к чему, в самом деле, цитировать Оскара Уайльда? Пустые парадоксы, сотрясение воздуха.

— Парадоксы — да, однако не пустые, если заставляют думать. А мне только это и нужно.

Он работал жадно, азартно. На столе громоздились, смея друг друга, Геродот и Ключевский, Цицерон и Пушкин, Плутарх, Карамзин, Блок... Не скованный требованиями школьной программы, Шихов позволял себе экскурсии в самые разные эпохи, рассказывал о событиях, до сих пор спорных, но тем более увлекательных. Пусть запомнят хоть часть, хоть ничтожную толику из рассказанного, но — запомнят.

Вместо того чтобы слоняться по улицам, дети бегали в просторном прицерковном дворе — в теплое время «бесе-

ды об истории» проходили прямо там. Родители неуклюже пытались «отблагодарить», однако отец Артемий все «благодарности» направлял в церковную кружку и раз в неделю аккуратно выплачивал деньги «отцу и сыну», как он сам говорил, с неизменно присовокупляемым: «Прости меня, Господи, раба грешного!». Осенял себя крестом, задевая широким рукавом рясу белую, как у Деда Мороза, бороду. Он и впрямь был похож на Деда Мороза, только в очках — не то стальных, не то серебряных, — и ряса выглядела на нем так же уместно, как на том — красный тулуп.

Отцу Артемию многое простится и многое зачтется в свое время, и не только за детей, которых он уберег от соблазнов и опасностей улицы, но и за Бориса — хромого студента-математика, которого отыскал где-то, полузамерзшего и голодного, захлебывающегося кашлем.

Даже отъявленные сорвиголовы не смеялись над его хромотой; правда, за глаза называли монашкой — должно быть, оттого, что математик носил рясу. Ни разу Шихов не видел, чтобы Борис уходил. После занятий он неизменно шел на кухню причта, где заваривал себе какой-то чай из корешков, которым лечил кашель.

Как-то Борис попросил разрешения поприсутствовать на шиховских «беседах» и сидел в углу, слушая с почтительным вниманием и без улыбки. Ни дать ни взять молодой послушник, подумал Андрей. Как нелепо он выглядит в этой рясе, однако; совершенно нелепо.

А все было просто, просто и страшно. Борис был евреем и бежал во время облавы, но не в дверь, а в окно второго этажа. Прыгнул в соседний двор, прямо в сугроб, который и спас ему жизнь на первом этапе за пустяковую, в общем-

то, плату — поломанную ногу. На втором этапе жизнь парня спас о. Артемий — и спасал в продолжение всей бесконечной войны совершенно бескорыстно, если не считать того, что рисковал каждый день собственной жизнью; он же и придумал надеть на математика рясу и не велел снимать: мало ли — досужих людей хватает, а береженого и Бог бережет.

Зачтется ему и за друга юности, профессора Шихова: именно теперь и здесь, в окружении детей, старый ботаник окончательно перестал себя чувствовать больным. Он даже вернулся к своим довоенным записям и начал их систематизировать: готовил монографию.

Какова же была его радость, когда сразу после войны его пригласили читать лекции в университет! Флаг с серпом и молотом над входом профессор принимал как историческую неизбежность, едва ли способную повлиять на физиологию растений. На кафедре не было лаборантки, и Тамару приняли на работу, в соответствии с рекомендацией профессора.

...Теперь, когда закончилась очередная временность, а новая еще не началась, Андрей Ильич остался не у дел. Школа снова во власти советской власти, для которой он всегда будет пятой колонной. Или клеймо тоже было временным?

Невеселым раздумьям можно было предаваться и у себя дома: теперь отца можно было спокойно оставить и вернуться к себе на Палисадную, о чем они с Тамарой давно мечтали. Однако именно теперь, когда ничто не мешало это сделать, переезд откладывали почему-то с воскресенья на воскресенье и собирались медленно и бестолково, почти неохотно, что объяснить можно было только старой истиной: нет ничего более постоянного, чем временное. Вскоре медленные сборы, связки книг на полу и вещи, бессмыслен-

но перекладываемые с места на место, тоже грозили стать чем-то постоянным, поэтому Андрей Ильич отправился наконец на Палисадную.

Дом казался пустым. После свежего октябрьского полдня Шихов попал в прохладу коридора и по привычке вытер ноги, хотя на улице было сухо. Высокое зеркало на стене чуть потускнело, в уголке появилась небольшая трещина — или была раньше? Зеркало снисходительно предъявило чуть растерянное лицо с седеющей бородкой (надо подстричься) и сутуловатую фигуру в потертом пальто.

Квартира была, как показалось Шихову, в том же виде, в каком он ее оставил. Он снова запер дверь, спустился и позвонил к дворнику. Яна не было; тетушка Лайма радостно засуетилась: аккурат завчера для вас почта была. Принялась искать очки, попутно рассказывая, что снова домком объявился, только уж другой; так вы скорей возвращайтесь, а то, не дай Бог, вселят чужих. Вот, господин учитель, — и почтительно протянула две открытки.

Одна призывала его вступить в ряды ОСОАВИАХИМа (вступительный взнос — 1 рубль); вторая предписывала явиться в то самое учреждение на улице Карла Маркса, где он уже побывал по «делу о вредительстве» трубочиста; как же его звали?..

Явиться надлежало завтра, в одиннадцать ноль-ноль.

В аллеях и тропинках Вознесенского кладбища Тихон Бойко чувствовал себя спокойно и уверенно, словно дома. Так оно, в сущности, и было. Когда другие работники расспрашивали, где он раньше жил да откуда приехал, Тихон отмалчивался самым простым способом: доставал папиросы, закури-

вал и предлагал любопытствующим. Пока чиркали спичками на ветру, пряча огонек в руках, перемазанных землей, пауза затягивалась, и можно было ничего не отвечать. Если он и видел, что товарищи иногда добродушно перемигивались, то не подавал виду. Чаше других с ним заговаривал Валерка — молодой парень, стриженный «под бокс», с противной привычкой часто и мелко сплевывать. Как-то во время перекура второй могильщик, Макарыч, кивнул Валерке в сторону: отойдем. Отошли недалеко, к ближайшей липе, откуда и загудел сердитый голос: «Чего пристал как банный лист, ему и без тебя тошно... Вся семья от бомбы... сопляк ты...».

На пути в сторожку, где хранился инвентарь, Макарыч объяснял: «Ты на него, Савельич, зла не держи: дурак он. Привык к дармовым папиросам, да еще курятник растопыривает. Дай закурить».

Валерка скоро ушел со скучной работы, и не только он: рыть могилы — занятие тоскливое, не то что на заводе или на стройке, да и платят гроши. В ведомости регулярно расписывались только двое: Макарыч и Тихон. Кассирша, привозившая зарплату, всегда указывала ногтем: «Вот тут распишитесь». «Вот тут» было напечатано на машинке: «Бойко Т. С., могильщик», и проставлена сумма. Эти слова настораживали Тихона: в них была какая-то незаконченность. Однажды, уже заноса обмакнутую в чернила ручку, он вдруг произнес:

— Могильщик буржуазии.

Кассирша, вынимавшая деньги из брезентового мешка, замерла. Подняла глаза и увидела растерянное лицо с подрагивающими губами и напряженно сведенные брови; избразила, на всякий случай, строгость и повторила:

— Распишитесь.

По всей вероятности, кому-то из начальства тоже не нравилось слово «могильщик», потому что в один прекрасный день могильщики стали называться *работниками коммунального хозяйства*, и смятение Тихона забылось.

Макарыч работал на кладбище давно. Он не только не тяготился работой *гробокопателя*, но относился к ней с горделивым уважением, а клиентами считал не родственников и не ответственных за похороны лиц, а самих усопших, что и выражал в двух фразах: «Покойник ждать не может» и «Покойник — штучный товар». Маленького роста, но очень жилистый и выносливый, он всегда ходил в старом ватнике. Раз в год работникам выдавали новый, тугой и пухлый от несвалявшейся ваты, пахнущий новой мануфактурой. Макарыч примерял его, сняв для этого случая фетровый колпак, похожий на цилиндр с обрезанными полями, застегивался на все пуговицы, а потом ватник исчезал вместе с Макарычем. На следующий день Макарыч появлялся вновь, с красными вспухшими глазами, но без ватника, и, ничего не объясняя, надевал старый, вытертый и заношенный. Когда увольнялся очередной временный работник, его ватник, не отслуживший положенного года, переходил к Макарычу, который принимал его так же естественно, как и могилу, не выкопанную предшественником до конца. Заведующий каждый раз грозился «не потерпеть», однако терпел. Так уж сложилось, что новый ватник был чем-то вроде ежегодной жертвы, которую никак нельзя было не принести: временных работников много, а Макарыч один.

Он никогда не лез к Тихону с разговорами, а тем более с вопросами. Если обедали или перекуривали вдвоем, то сидели молча, и молчание не тяготило ни одного ни другого. Нарушал его изредка Макарыч, и всегда неожиданно.

— Смотри-ка, в один день, — ткнул папиросой куда-то вправо.

Тихон перевел взгляд на высокий памятник черного мрамора с пятью высеченными строчками:

«Ольга Венедиктовна Заенчковская

27.02.1830 — 14.04.1896

Трифон Петрович Заенчковский

11.03.1822 — 14.04.1896

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

— Тыща восемьсот девяносто шестой, — протянул Макарыч, — это мне уж двенадцатый год шел. Я вот думаю: как это они, в один день-то?

И продолжал помолчав:

— Не иначе, кони понесли; они и расшиблись насмерть. Или от холеры...

На следующий день Тихон пришел к памятнику один и несколько раз перечитал надпись. Ему было 74, ей — 66. Считал он легко и необыкновенно быстро; читать было сложнее: буквы не хотели складываться в слова, перепрыгивали с места на место, а иногда делались неузнаваемыми. Крупные буквы «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» он одолел, и от этого усилия лоб сделался влажным. Из надписи следовало, что память должна быть вечная, и это сбивало с толку. Его собственная память простиралась назад не дальше кладбищенской сторожки, где он жил сколько себя помнит. Сейчас 1947 год; значит, ему сорок восемь лет. Из всего, что происходило с ним до кладбища, помнил только уютную комнату с тремя кроватями, куда часто приходили двое мужчин. Они назы-

вали друг друга «доктор», но доктора Тихон видел здесь, на кладбище, когда один из могильщиков упал нечаянно в свежевыкопанную яму и сломал ногу. Приехала громкая машина, и оттуда выскочили люди в белых халатах. Одного из них называли доктором. Те двое халатов не носили, это он помнил. Одна кровать была пуста, на второй спал он сам, а на третьей... Нет, про третью не помнит. Но что было еще раньше, до той комнаты и тех то ли докторов, то ли просто чужих людей? Да правду сказать, ему все были чужими.

А — свои? Ведь у других есть — или были раньше; должны где-то быть и у него! Был отец по имени Савелий, однако имя матери не вспоминалось. Семья... Выходит, была семья — вон Макарыч говорил про бомбежку — и что все погибли. В один день, как эти Заенчковские.

Вдруг осенила его простая мысль: отыскать своих здесь, на кладбище. По фамилии.

Надежда выгоняла его из сторожки в любую погоду. Тихон мысленно разбил всю территорию кладбища на квадраты и шел, внимательно всматриваясь в памятники, надгробия и склепы, покрытые экземой серо-зеленого мха. Когда надписи были слишком длинные, начинала болеть голова — не так, как при перемене погоды, когда боль разрывала голову изнутри и перед глазами плыли разноцветные круги; нет, не так, но все же сильно, и он, потирая беспомощно лоб, возвращался к легким занятиям: убрать сломанные ветром ветки, проверить инвентарь — не нуждается ли в починке, потом скинуть сапоги и вытянуться на старом топчане.

На следующий вечер все повторялось, но своей фамилии он пока нигде не встретил.

После бесхитростного ужина — «бородинский» хлеб с копченой треской или куском колбасы над измятой оберточной бумагой — и чая, который он заваривал прямо в жестяной кружке, ложился, но долго не мог уснуть. Когда закрывал глаза, видел могилы, где покоились «любимая незабвенная мать», «нежный отец», «возлюбленный брат» и просто чья-то «милая, незабвенная!». В памяти проплывали памятники разной формы и высоты, скромные и помпезные, с проникновенными надписями от скорбящих мужей и жен, детей и родителей, от прихожан; от «господ офицеров и нижних чинов». Видел старые, покосившиеся плиты статских советников и купцов, потомственных почетных граждан, младенцев, почивших в Бозе, сестер милосердия и почтмейстеров. Засыпал, окруженный наивными и безнадежными словами, чтобы завтра снова заняться поиском — то ли семейного захоронения, то ли одинокой могилы кого-то из Бойко, то ли собственной своей утраченной памяти.

В начале августа их с Макарычем послали копать на один из самых дальних и старых участков. Здесь стояло особенно много склепов, так что все пространство похоже было на тихий безлюдный городок. Один кусок земли был пуст.

— Комсомольцы расчищали, — пояснил Макарыч, — тут бомбой склепы разнесло. Пока обломки вывезли, пока что... Теперь можно и могилку разметить.

У Тихона сильно забилося сердце. Он присел на скамейку и полез в карман за папиросами.

— А... могилы чьи были? Фамилию не помнишь?
Макарыч удивленно повернулся к напарнику.

— Да кто ж их знает? Это года три тому, как немцы отступать начали. А могилы тут самые старые, их уже никто не хватится.

— Я вот... хватился. Своих ищу.

Макарыч кивнул. Докурили, взялись за лопаты.

— Раньше к покойникам больше уважения было, — лопата чиркнула о камень, и Макарыч отбросил его в сторону. — Ты сам посмотри: склеп да ограда кованая, ручной работы. И слова какие, глянь!

Подопшли ближе. Слова были наивными и трогательными, столь же чужими сегодня, как и старинная вязь письма с буквами, давно выброшенными из азбуки:

«Здесь покоится любезная моя родительница Виринея Афанасьевна Тулаева, урожд. Вальде. Скончалась 11-го августа 1867 года. Жития ея было 63 года.

И сотвори ей Господи вечную память».

— Склепы, они зачем? — продолжал Макарыч. — Тоже вроде как дом. И стены, и крыша; своим и спокойней.

Когда уходили, сказал негромко и равнодушно, не поворачиваясь к Тихону:

— Я тоже посматривать буду, Савельич. Авось найдем.

На кладбище жара была милосердней, чем на улице. И все же духота, густо настоящая на запахах горячей листвы и земли, бывала невыносима, и уснуть было так же трудно, как не думать о нежных словах, выбитых на камне могилы, которую он еще не нашел.

На улице было много хуже, поэтому Тихон появлялся там только по необходимости: в небольшой гастроном на углу,

рядом с которым удачно был расположен хлебный, да изредка в тесный галантерейный магазинчик напротив гастронома. Первая гипсовая буква отвалилась, поэтому магазинчик называл себя «...алантерея». Здесь можно было купить зубной порошок, шнурки, мыло и бритвенные лезвия, которые Тихон покупал вначале, а потом отпустил бороду и сам ее подравнивал перед маленьким зеркальцем из той же «алантереи». Раз в неделю ходил в баню, там же стригся, но баня находилась дальше, в переулке. Район здесь был тихий, без трамвайного дребезга; разве что неторопливо проедет велосипедист, привычный к тряскому бульжнику. Иногда появлялись машины. Если Тихон находился поблизости от ворот кладбища и слышал шум мотора, он подбегал к ограде и долго смотрел вслед проехавшему автомобилю со странным чувством тревоги и ожидания. Руки дрожали, ладони становились мокрыми. Это беспокойство всегда кончалось головной болью. Боль изводила. Она так сильно распирала голову, что хотелось пробить в темени отверстие и выпустить ее, вместе с тягостной тревогой, имя которой было: машина.

Случалось, что боль вдруг хватала его за плечи и выгибала, лицом к небу, с дикой силой, заставляя делать «мостик», а потом швыряла на землю, но ни удара, ни боли он не чувствовал, только слышал чей-то долгий и громкий крик. Когда это случилось впервые, он очнулся на земле, все лицо было липким и мокрым. Доплелся до сторожки, повалился на топчан и уснул мгновенно. В прошлом году такое случилось летом, во время работы, и он понял, что сейчас будет, но сказать не успел, потому что кто-то закричал рядом диким криком. Когда вернулось небо и листва над головой, то совсем близко увидел перепуганное лицо заведующего,

а рядом Макарыча, который говорил: «Черная немочь это, падучая болезнь. Не надо в больницу. Пусть отлежится сегодня; голову, небось, напекло». Иногда случалось ночью, прямо во сне, и весь следующий день он чувствовал себя слабым и полубольным, даже на курево не тянуло.

...Августовское утро быстро переходило в горячий, звенящий от жары день, который к вечеру остывал медленно и неохотно. Наконец лето, пыльное, пряное и пьяное, само устало от собственного буйства и захотело прилечь в холодок.

Тихон с утра разметил где копать: вбил в землю колышки, натянул и закрепил веревку и присел в тени на теплую траву в ожидании Макарыча. Думалось привычно и обо всем сразу: что в сторожке половицы кое-где подгнили, менять надо; что завтра хорошо бы отнести в прачечную белье и что своей фамилии он, как ни искал, так и не нашел ни на одной могиле.

— Савельич, — напарник раздвинул кусты, — тут ищут тебя...

Тихон обернулся. За Макарычем стояли двое военных. Один поправил фуражку:

— Бойко Тихон Савельевич? — И, не дожидаясь ответа: — С нами пойдете.

В сорок седьмом году дядюшка Ян познакомился с новым начальством. Начальство называлось домоуправлением и явилось в лице самого управдома — высокого лысоватого мужчины со впалыми щеками и без правой руки. Он ловко и уверенно орудовал левой, что-то записывая в толстой тетради, которая не падала только чудом, удерживаемая, помимо чуда, обрубком правой; наполовину пустой рукав пиджака был засунут в карман и пристегнут английской булавкой.

Управдом пришел не один. Его сопровождала статная женщина лет сорока, с портфелем и в пиджаке наподобие мужского, но нет, не мужском: очень уж рельефно он обхватывал ее щедрые формы, бугрясь где положено. Из-под юбки виднелись крутые икры. Голова выглядела несоразмерно маленькой, зато ее украшали косы, уложенные «корзиночкой» на затылке.

— Это товарищ Доброхотова, из исполкома, — уважительно произнес управдом, и дворник понял: начальство.

Женщина критически посмотрела на зеркало, но поправила на лацкане значок и пригладила волосы; подняла взгляд на доску с фамилиями и недовольно сощурилась. Не меняя выражения, взглянула на Лайму; озабоченно отогнула рукав, посмотрела на часы, потом повернулась к управдому:

— У меня в горкоме планерка в четырнадцать ноль-ноль. Давайте посмотрим в отношении жилплощади.

Дворник взял ключи, и все трое пошли наверх. Тетушка Лайма осталась стоять в легком оцепенении от непонятных слов женщины, прищуренных глаз и чуть поджатого рта.

По мере того как дворник отпирал одну необитаемую квартиру за другой, недовольный прищур исчез, рот не то чтобы улыбнулся, но помягчел, а в бумаге, извлеченной из портфеля, товарищ Доброхотова что-то отмечала карандашом.

Квартиру № 12 Ян отпирать не стал, а позвонил. Леонелла открыла дверь, и женщина с портфелем застыла в недоумении. Она вошла в гостиную. Взгляд задержался на портрете, скользнул по тяжелым портьерам, дурацкому диванчику на паучьих ножках — ни самой лечь, ни гостя положить — по шикарной люстре, которой положено в райкоме висеть, а не у этой буржуйки; по нарядной щекастой девочке с затейливым «эклером» на голове и в лакированных ту-

фельках; и пока взгляд все это впитывал, вернулся прищур и поджалась губы, а недоумение сделалось враждебным.

— Жилой фонд разбазариваешь, Шевчук, — сказала жестко, с тем же прищуром, — за безответственность знаешь что бывает?

Дворник на всякий случай запомнил фамилию однорукого.

— Так ведь согласно прописке, товарищ Доброхотова, — оправдывался управдом.

— Это какой-такой прописке? — брезгливо удивилась та. — Ты ее прописывал сюда? Нам бывшие хозяйчики не указ!

Шевчук мог бы возразить, что он рад был бы прописать такую кралю, однако прописка — дело милиции, а не домоуправления, где он работает меньше года, потому что перед тем воевал, а еще раньше жил под Донецком и знать не знал ни о крале, ни о домоуправлении, ни о тебе, кобыла с портфелем. Мог бы, конечно; однако промолчал, только культия напряглась в слишком просторном рукаве.

Буржуйка между тем без всякого объяснения вынула из сумочки и протянула — нет, не Доброхотовой, а управдому — паспорт. В паспорте была указана прописка, полностью соответствующая месту проживания, а также другие сведения. Однако исполкомовская женщина не обратила внимания ни на что — настолько она была потрясена советским паспортом, выданным 21 мая 1941 года; даже поднесла его совсем близко к лицу, что в некоторой степени делало понятным прищур.

Товарищ Доброхотова нечасто оправдывала свою фамилию — и уж во всяком случае не сегодня. Паспорт, знаете ли,

паспортом, а четыре комнаты — это жирно будет; ей ли не знать, какие очереди на квартиры.

Похоже, что Леонелла тоже знала о квартирных очередях, потому и сообщила обалдевшему управдому, что ей полагается дополнительная жилплощадь.

— На каком основании? — Доброхотова резко повернулась и в первый раз посмотрела хозяйке в лицо.

— Для репетиций. Я артистка.

Управдом Шевчук никогда прежде не находился в одной комнате с артистками, а потому восхищенно смотрел, как она поправляет девочке воротничок и одновременно объясняет ему, Шевчуку, что со дня на день должны привезти рояль, а рояль в любое место не поставишь: звучать не будет; смотрел и знал, что как раз ей необходим и рояль, и дополнительная жилплощадь; кому ж, как не ей?..

— Ну, это мы еще посмотрим, — пообещала Доброхотова, захлопнула портфель и не прощаясь двинулась к выходу. Впрочем, она и не здоровалась.

Для чего Леонелла приплела рояль, который никто ей, разумеется, привозить не собирался, она и сама не знала. Во дворце пионеров, где она вела кружок мелодекламации, рояль, конечно, был, и с аккомпаниаторшей Леонелла прекрасно ладила. Та подрабатывала в балетном училище. Она же и рассказывала, с негодованием тряся жидкой прической, о знакомой балерине, которая сумела вытребовать у начальства казенный инструмент плюс ходатайство на дополнительную жилплощадь и, что самое удивительное, получила и то и другое. Если бы в голове не осел этот нелепый разговор, то и управдом ничего бы не услышал о несущем

ствующем рояле, хотя не для него это было сказано, а дразнить такую стерву опасно даже сейчас, когда Леонелла прочно стояла на ногах.

Именно потому и опасно — есть что терять. Не только пионеров, но и два заводских клуба самодеятельности, где она вела кружки народных песен. Эту работу Леонелла обрела по счастливой случайности: гуляя с Бетти в парке около оперного театра, встретила певицу, у которой перед войной брала уроки вокала. Певица больше не давала уроков, а пела, несмотря на пожилой возраст, и не где-нибудь, а на оперной сцене. На самом деле, пожилой возраст — это и сорок, и шестьдесят, однако сейчас она выглядела намного лучше, чем перед войной. Да, лицо выдавало борьбу косметики с беспощадным сценическим светом, но волосы были уложены театральным парикмахером, корсет прекрасно ладил с фигурой, а фигура — с костюмом, так что, напрягши воображение, можно было представить ее не только Брунгильдой, в роли которой она раньше блистала, но и Травиатой. Буржуазное происхождение певицы не было ни забыто, ни прощено: такое не прощается; просто на него сейчас смотрели сквозь пальцы ради «восстановления культуры», как это называли в газетах. «Некому петь, — с горечью прошептала она, — перед войной всех, всех... в Сибирь». О том, как она не попала в число «всех», одна не говорила, а другая не спрашивала. Певица умиленно, как все бездетные дамы, восхитилась Бетти («копия мамы...») и дала две контрамарки на «Аиду». Задала осторожный вопрос о муже. «Никаких известий», — коротко ответила Леонелла. По гравию ходили широкогрудые голуби с розовыми лапками. Бетти, в стайке других детей, бегала у фонтана.

Услышав о Дворце пионеров, певица горестно покачала головой: «Вы, с вашими данными — и так мизерабельно, мой Боженька...». Слово Леонелла не поняла, но смысл угадала безошибочно.

Оперная прима не забыла о своей собственной мизерабельности в страшное предвоенное время, не забыла и щедро оплачиваемые Леонеллой уроки пения; обещала помочь — и помогла незамедлительно. Благодаря ее вмешательству Леонелле теперь улыбалось заводское начальство, потому что самодетельность очень поощрялась Министерством культуры. Теперь она уходила из дому в полдень, а возвращалась поздно вечером. За Бетти она была спокойна — за ней присматривала тетушка Лайма, щедро отдавая накопившуюся любовь, так и не востребованную собственными внуками по причине их отсутствия. Она и слышать не хотела ни о каких деньгах, помилуй Бог, госпожа Эгле! Однако госпожа Эгле, веря в бескорыстные намерения, не верила в безвозмездные услуги и раз в месяц аккуратно рассчитывалась с дворничихой.

По правде говоря, настоящей мизерабельности она не испытала, ибо время от времени на ее имя приходили местные денежные переводы без обратного адреса. Угадать отправителя большого труда не составляло, но не было возможности поблагодарить. Особенность денег в том, что они всегда оказываются кстати, а Макс — она имела возможность убедиться — относился к ним очень легко.

...Утром, отправив девочку в школу, Леонелла тщательно собиралась. Зеркало давно отказалось от всяких компромиссов и говорило только правду, как в сказке, которую они читали с Бетти. Зеркало помнило ее двадцатипятилетний возраст: он длился долго, и отменила его даже не война,

а девочка в корзинке. Не нужно стало каждый день доказывать требовательному стеклу, что тебе двадцать пять, когда и ты, и оно твердо знали: сорок, да и в самом зеркале почти отпала необходимость, потому что девочку ее возраст не интересовал. Сама Леонелла смотрела не в зеркало, а в дочкино лицо. Зеркало нужно было, чтобы торопливо поправить волосы, а не затем вовсе, чтобы заметить восхищенный взгляд Бергмана; однако заметила.

Теперь — дело другое: чужие взгляды, и не всегда доброжелательные. Мало выглядеть хорошо — надо выглядеть уверенно, ты — артистка.

Странным образом статус артистки прочно закрепился за Леонеллой — возможно, потому, что, страстно желая ею быть, она играла роль артистки и вжилась в эту роль. Многим нравилась ее манера исполнения: негромкий голос (Леонелла знала свои возможности), задушевная интонация и какая-то особая улыбка. Особенно хороша она была в национальном костюме, с традиционной брошью на груди и обручем на волосах, падающих красивой и все еще золотистой волной. Выступать она не любила и пела очень редко, разве что по «настоятельному желанию публики». Кружком руководила так же, как некогда оперная певица — ею, то есть учила сообразовываться с собственными голосовыми данными и держаться на сцене так, чтобы каждый зритель был уверен, что поешь лично для него. Научить шарму невозможно, однако несколько девиц из ее кружков уже вышли замуж, а другие, вдохновившись их примером, пылко заинтересовались народными песнями и ринулись в самодеятельность.

Можно было бы покончить с постылой мелодекламацией: Леонеллу передергивало всякий раз, когда она видела

руки с грязными ногтями, поднятые в пионерском салюте, но Бетти тоже ожидало пионерское будущее. Кроме того, не следовало забывать, где ее отец. Если исполкомовская гадина еще не докопалась, найдется другой... Следовательно, работу во Дворце пионеров нельзя было бросать ни в коем случае, да и Бетти пора называть полным именем, во избежание косых взглядов... Новая власть снисходительно относится к грязным ногтям, но хмурится на иностранные имена.

Девочка не спрашивала об отце, и это тревожило. Вместе с тем Леонелла малодушно радовалась отсрочке: не спрашивает — можно не отвечать. Да и что ответить, «папа скоро вернется»? Но жив ли он, и если да, то вернется ли?

Должен. Если только жив, должен вернуться. Она ничего не предпринимала, чтобы разузнать о Роберте, боясь оказаться там же, где он; зато она возвратилась в эту квартиру, чтобы ему было куда вернуться — или послать весточку. Жадно прислушивалась, когда разговор заходил о вернувшихся «оттуда», стараясь не обнаружить своего интереса, но сведений было мало, а возвращений и того меньше.

Нет, Громова не ждала. Не было ему места в ее нынешней жизни. Толстая пачка почтовых открыток так и лежала в бюро, никуда она не стала их отсылать. Бессмысленно окликать любовь «до востребования». Будь Костя жив, он давно бы ее нашел.

На столе в гостиной — ветка рябины в вазе. Она отщипнула ягоду и разжевала. Вкус любви: терпкий, обволакивающий и горький. Горечь потери. Что ж, беспокойных ночей осталось не много: ее женское время подходит к концу. Рябина пожухнет, кончится осень; впереди зима.

Или будет иначе? Звонок в дверь — нет, у Роберта есть ключи, зачем он станет звонить, — поворот ключа — и он войдет. Ничего не успеет сказать, потому что из комнаты выглянет Бетти, и они улыбнутся друг другу совсем одинаковыми улыбками, а наговориться успеют потом, после... И про Мариту Леонелла расскажет потом, когда дочка будет спать. Она запрещала себе думать о возвращении мужа: это походило на бесконечную репетицию ненаписанной сцены, но не думать не могла, особенно о том, как они вместе встретят Рождество, и елка будет пахнуть смолой и холодом.

...Холодным январским утром раздался звонок в дверь. Почтальон вручил Леонелле конверт, попросил расписаться и зашаркал вниз, взвалив на плечо массивную сумку, хотя только что выгрузил самую большую тяжесть: «ИЗВЕЩЕНИЕ О СМЕРТИ» Эгле Роберта Оскарвича.

Не прошло и недели после того как управдом приво-
дил исполкомовское начальство, а в доме появились новые жильцы — старые большевики муж и жена Севастьяновы. Их сопровождал однорукий управдом. Предъявив ордер на бывшую квартиру хозяина, они напрямиком направились туда. Осмотром, похоже, остались довольны и переехали на следующий день вместе с собакой — здоровенным догом, носящим неожиданно аристократическую кличку Граф.

Севастьяновы не были стариками в полном смысле слова, но так уж сложилось, что иначе как «старые большевики» их не называли. Они боролись за советскую власть еще в 19-м году, но боролись явно недостаточно, так как советская власть первой закваски не продержалась и года. Чем занимались коммунисты Севастьяновы, в ту пору «молодые

большевики», в следующие двадцать восемь лет, никто не знал; возможно, готовили нынешнюю советскую власть.

Старуха Севастьянова говорила громким голосом, носила круглую гребенку в седоватых прямых волосах и любила поговорить о «нашем славном прошлом». Ее муж, осанистый старик с густыми, желтыми от табака усами и такими же желто-седыми волосами, явно имел только совещательный голос — либо не мог соревноваться с громогласной женой.

Только-только Лайма убрала на лестнице мусор, неизбежно сопровождающий любой переезд, как появились еще одни жильцы, прямо в холостяцкую квартиру № 7, которую раньше занимал доктор Бергман с сенбернаром. Именно «появились», потому что переезда как такового не было: новые жильцы несли в руках по одному чемодану. Это была тихая еврейская семья, приезжие из дальнего и не известного Яну города Челябинска. Семья состояла из пожилых родителей и дочери лет тридцати, очень молчаливой и застенчивой.

В первый же вечер все трое постучали в квартиру к дворнику и, как догадался Ян, звонком не воспользовались тоже от стеснительности. Пришли, как выяснилось, познакомиться. Это очень тронуло обоих, и тетюшка Лайма тут же засуетилась над кофейником.

Выяснилось, что в далеком Челябинске Иосиф Моисеевич Шлосберг был учителем математики, в результате чего приобрел профессиональную учительскую болезнь — ларингит, отчего говорить мог только напряженным полупшепотом, переходящим в сипение, и так нелегко ему давались слова, что его становилось мучительно жаль. Его жена («Анна, зовите меня просто Анной») была медсестрой и надеялась быстро устроиться на работу. Мать и дочь были внешне похожи: обе

медно-рыжие, обсыпанные веснушками, и даже имена — дочь звали Инной — звучали родственно.

Новые евреи сильно отличались от старых большевиков. Севастьяновы приняли как должное всю обстановку, остававшуюся в квартире господина Мартина; Шлоссберги волновались за мебель, оставленную прежним жильцом, и совсем не потому, что некуда было поставить свою, которой у них попросту не было, но от неловкости, что — чужая, и «люди хватятся»... Коли не хватились до сих пор, так и не хватятся; но объяснять дворник не стал, а вместо этого дал адрес больницы, где работает доктор Бергман, и поступил, как выяснилось, очень мудро, потому что Анна Шлоссберг не только получила в полное распоряжение мебель («мне так неудобно, так неудобно...»), но и устроилась на работу. Не зная, как благодарить за неожиданную и щедрую помощь, пригласила его «на чашку чая». Бергман поблагодарил и обещал «непреренно, как-нибудь», а на обратном пути она мучилась нелепостью ситуации: получилось, что пригласила этого милого человека в его же квартиру, ах, как бестактно все вышло...

Нет, доктор Бергман не торопился идти «к себе в гости», как он сам говорил, хотя отдавал, конечно, отчет, что уже не «к себе» вовсе. Там живут другие люди, и если они переставят стол или шкаф, то все равно стол помнит сидящего за ним Натана. В ту квартиру нельзя войти, как нельзя войти в одну и ту же реку. Новые жильцы здороваются на лестнице с Леонеллой, а может быть, и с ее мужем — он мог вернуться, почему нет?

...В тот вечер, когда Бергман пришел к дому, но в дом не вошел, Шульц не удивился его появлению и ни о чем не

спрашивал. Охотно позволил переночевать, а спустя несколько дней неожиданно предложил:

— Тут ведь вот какая клюква, доктор... Я надеялся, что жена вот-вот придет, но как-то все не складывается. К чему это я клоню... Если вы нигде не прописаны, то устраивайтесь-ка здесь и не ломайте себе голову. Вы не думайте, — он жестом остановил Бергмана, который хотел что-то ответить, — я не по доброте душевной предлагаю вам; напротив. Человек я своекорыстный: боюсь, поделят ко мне многодетную семью какую-нибудь. Жена придет, а здесь такая клюква... Вы для меня человек свой — вот я официально и пропишу вас к себе.

Неожиданное предложение оказалось в некотором роде спасительным. Отпала необходимость возвращаться по вечерам в Кайзервальд, в пустой и намного более чужой, чем прежде, особняк; не нужно было идти к нервному лейтенанту Егорову, а самое главное, уговаривал себя Макс, с глаз долой — из сердца вон. В его новом паспорте появилась прописка, а сам он стал теперь возвращаться в дом, к которому, оказывается, основательно привык.

Старый Шульц ликовал. Теперь, когда ему перевалило за шестьдесят, одиночество начало тяготить, и все, что стало нужно теперь — это видеть свет в окне, когда возвращаешься домой. Тревога немного улеглась, хотя письма от жены все чаще задерживались и, судя по содержанию, доходили не все, а от сына вообще перестали приходиться. За вечерней папиросой он рассказал Бергману, что дочь в Швейцарии вышла замуж; представьте, доктор: мой зять — наш соотечественник, они на концерте познакомились. Теперь Элга ждет ребенка, а это опасно — может обостриться процесс; где сын — непонятно, вот какая клюква...

В сорок седьмом письма совсем перестали приходить, а в августе, когда за вечерним окном трещали обезумевшие кузнечики, за Шульцем пришли. Он не удивился и даже, казалось, не очень растерялся, только обвел комнату долгим взглядом. В дверях успел сказать Бергману: «Вознесенское кладбище, доктор...»

В середине 30-х годов статистика зафиксировала, что в числе новорожденных явно преобладают младенцы мужского пола. Этот научный факт неожиданно получил отнюдь не научную трактовку: рождаются мальчики — быть войне, говорили старики. Про статистику они знать ничего не знали, однако те, кто ждал внушек и правнушек, были вознаграждены внуками и правнуками. К войне, вздыхали бабки, не иначе; ишь, опять малец...

Объясняла ли как-то статистика, почему в самый первый год войны кривая рождаемости девочек резко пошла вверх? Едва ли. Во-первых, статистика в первую очередь считает, а не объясняет, а во-вторых, в сорок первом году на первом месте была статистика военная, а не демографическая.

Леонелла, счастливая своим неожиданным материнством, не подозревала, что Ирма, ее соседка из десятой квартиры, родила ребенка, тем более что это случилось очень далеко, в таежном поселке, выросшем между небольшой деревенькой и тем самым лагерем, куда были отправлены отцы обеих девочек. Судьба распорядилась так, что бывший офицер Бруно Строд умер, не зная, что скоро станет отцом, в то время как бывший экономист Роберт Эгле, продолжая жить, тоже не знал о рождении дочери.

Появление еще одной сосланной никого не удивило — люди были потрясены грянувшей войной. Комнатенка в деревенской избе, за занавеской, а затем в бараке, после четырехкомнатного столичного уюта, могла повергнуть в ужас, но по сравнению с телячьим вагоном эта каморка оказалась раем, к тому же с дверью, которую можно закрыть. Расставаясь с мужем, Ирма не знала, что больше не увидит его ни живым, ни мертвым, и ревностно принялась наводить какой-никакой уют, в то же время ломая голову, как узнать о самочувствии Бруно, которое, признаться, ее волновало больше, чем война.

В стороне от барачков стояли крепкие, основательные дома из цельных бревен — деревня. Каждая крыша глубоко нависала над окнами, будто дом отпрянул и хотел спрятаться, как прячет лицо человек, натягивая козырек на лоб. Присмотревшись, Ирма догадалась, что эти хмурые дома сложены давным-давно, еще дедами, если не прадедами, нынешних хозяев, а бараки торопливо построены для таких, как она, неожиданных и нежеланных пришельцев, причем построены руками самых первых, кто был сюда изгнан. О том, что многих уже не было в живых, Ирма не знала, как ничего не знала о муже. В милиции хмуρο отвечали: «Справок не даем» или «не положено», что означало одно и то же. Кто станет искать себе работу, когда ее и так вполне хватало: начали прибывать эвакуированные, всех надо расселить да прописать.

Там, где кончались картофельные поля, начинался лес — предмет лесоповала, где работали заключенные, в числе которых были Бруно и Роберт, их сосед. Туда, где начиналась зона лесоповала, ходить категорически запрещалось. По сравнению с таежным тот лес, который Ирма знала и любила с детства, казался игрушечным — веселые лохматые

сосны с рыжими шелушащимися стволами, еще более рыжие — как солнечные зайчики — стайки желтых лисичек в нежной зелени мха, скользящая под ногами сухая хвоя, матовые, словно затуманенные чьим-то дыханием, ягоды черники... В новом лесу было темно и оттого мрачно: здесь господствовали ели, насупленные и угрюмые. Сосны тоже росли, но и сосны были какими-то другими. Далеко уходить она боялась: легко заблудиться или, чего доброго, забрести в болото. Только одно примиряло и успокаивало: вереск. Хоть здесь его называли немножко иначе — *верес*, но было этого вереса-вереска вокруг много. Упругие ветки, щедро усеянные крохотными сиреневыми цветками, пышными охапками взрывались из темного мха.

Встретиться с вереском было все равно что услышать родной голос. Вереск помог прижиться.

Научилась многим премудростям, что другие и за науку-то не считали: доставать воду из колодца, топить печку, варить невнятный суп из картошки и преступно малого количества крупы, взятой по настоянию Бруно. Осваивала кулинарную науку, украдкой присматриваясь к соседкам на общей кухне. А стирка! А ежедневная каторга — картошка на колхозном поле! Эрик, оставленный в бараке, потому что больше нигде его оставить, и все внутри ныло от страха и тревоги: как он там один?

Оказалось, вовсе не один. У детей сильнее, чем у взрослых, развит звериный инстинкт. Вначале замерев в недоумении, они скоро начинают смыкать кольцо и обнюхивать чужака. А он и был чужаком, в своей матроске с золотыми пуговками, в сапожках, хитро застегивающихся сбоку, и в невиданном берете с помпоном на макушке, какой

берет легко опознал бы французский моряк. Морской берет и определил судьбу чужака.

Окружили его днем во дворе, несколько ребятшек разного роста и возраста, и старший, лет восьми, властно протянул к помпону худую руку:

— Мена? — и сплюнул на землю.

Ничего не поняв, Эрик настороженно ответил: «Мена», однако плевать не стал — боялся, что не получится.

— Айда, что ли? — предложил новый знакомый, на что Эрик кивнул из-под нахлобученного картуза, снова ничего не поняв:

— Айда.

Эрик был *принят*, несмотря на заграничное имя, и Серега не без труда натянул себе на голову берет с помпоном, а вернувшись домой, Ирма увидела перемазанного сынишку в какой-то невообразимой фуражке с треснутым козырьком, и это уже был не совсем Эрик — теперь его звали Свисток, что означало человека, обогащенного новым бесценным опытом, и на полпути к тому, чтобы плевать не хуже Сереги. Эрик был счастлив не столько от своего *приобщения* (на коленках у мамы хотелось всегда оставаться Эриком), сколько от того, что главные сокровища — оловянную пушку и бесценного часового при ней, он же главный артиллерист, хоть индеец, а также карандаш с таинственной надписью — удалось уберечь от новых товарищей и слова «мена».

Ирма регулярно заходила в милицию осведомиться о муже. Наступил ноябрь — разгар зимы. Шубка с трудом застегивалась на выпирающем животе. Человек в форме глянул на изыбшую женщину и кивнул на стул, чего раньше ни разу не делал. Ирма села, а он листал бумаги на столе,

поплеывая на пальцы. Наконец выдернул листок и, подняв глаза, переспросил на всякий случай:

— Строд, Бруно Густавович? — После чего кратко закончил: — Скончался.

Хорошо, что сидела: падать ближе.

Очнулась в сельской больничке не от нашатыря — от боли, которую ни с какой другой болью не спутать, а через несколько часов родила дочку, словно та услышала страшную весть и заторопилась на этот свет — еще одна девочка в демографической статистике!

Недоношенный «человеческий детеныш», причудливый плод на скользком черенке пуповины, крохотный и жалкий, с кулачками не больше ореха, всей своей хрупкой тяжестью лег на руки врача, она же фельдшерица и акушерка в одном лице, которая и вклеила младенцу традиционный шлепок.

Девочка только что отделилась от матери и первым делом обрела клеенчатую бирку на ручонку, где химическим карандашом был обозначен ее вес, рост, время рождения и фамилия матери. Полгода назад ее отец, с фанерной биркой на ноге, *накрылся деревянным бушлатом*, что являлось эвфемизмом общей могилы, куда он был сброшен. Приходит ли человек в этот мир или покидает его, бирка неизбежно ему сопутствует...

Девочка была еще безымянной, а врача звали Мария Федоровна, и она была старше новорожденной на пятьдесят лет. Порфиرونосное имя заземлялось безопасной фамилией Косых, но в поселке, куда она попала в числе эвакуированных, ее звали Графиней за привычку то и дело приговаривать «господа хорошие». Графиня не графиня, но внешность ее вполне соответствовала имени — во всяком случае, пря-

моты стана и решительности у Марии Федоровны хватало. Прежде черные, а теперь пепельные от обильной седины волосы завязывала греческим узлом на затылке, голову держала высоко. Она приехала из Москвы с шестилетним внуком Алешей — замкнутым, неулыбчивым мальчиком. Местный фельдшер ушел на фронт, так что появление Марии Федоровны здесь оказалось как нельзя более кстати.

Квартирная хозяйка, у которой она поселилась, особенно не присматривалась к московской докторше; известно: деревенская работа от темна до темна. Присела вечером, как всегда, корову доить, а тут квартирантка подходит:

— Смотрите, красотища-то какая!

И смотрит на закатное небо, где гуси летят.

Вскинулась Архиповна от непривычных слов:

— А? Что?.. Где?! — подскочила на месте, опрокинув подойник, и несколько минут глядела в небо, но сколько ни силилась, ничего не увидела.

— Во чокнутая! — сказала в сердцах, хоть та стояла рядом и не сводила глаз с удаляющегося треугольника.

С легкой руки хозяйки у Графини появилось второе прозвище: Чокнутая. Архиповна предупредила дочку, Валентину, чтоб не смела разговоры разговаривать с квартиранткой, чокнутая она.

Как-то в воскресенье Валентина с Марией Федоровной собрались копать картошку. Шли берегом реки, чтобы сократить путь. На неровном обрыве дрожали светлые блики, и Мария Федоровна невольно залюбовалась.

— Давайте, Валюша, посидим. Посмотрите, диво какое!

Валентина, девка на выданье, удивилась: берег как берег. Знала, что в свое время с этого берега сбрасывали бе-

логвардейцев, а более ничего примечательного за ним не водилось. То ли подействовал докторский статус, издавна вызывающий в деревне уважение, то ли ласковое имя «Валюша», вместе с уважительным «вы», — одним словом, Валентина присела на валун, а чтоб зря не сидеть, поведала, чем славен обрыв; напомнила про картошку.

— Посидим еще, — отозвалась квартирантка, — смотрите, какая тут красота!

Сидели, вглядываясь, — одна с восхищением, другая хмуро и старательно, — в реку, небо, обрывистый берег. Короток здесь осенний день; небо стало гаснуть, кто ж в потемках картошку копает.

Дома Валентина со злостью швырнула мешки в угол и на вопрос матери о картошке только рукой махнула:

— Верно ты сказала: чокнутая она. Сидели на берегу, смотрели красоту какую-то. Чего-то она на обрыве высматривала, откуда беляков сбрасывали.

Архиповна недоверчиво нахмурилась:

— А ты, дура, сидела смотрела?

— Так она ж... — и не договорила, не умея объяснить то, что и сама не понимала.

Поселок принял Марию Федоровну примерно так же, как Валентина: привычно-уважительно, но с поправкой на «чокнутость».

Лечила она хорошо, с немногочисленным персоналом обходилась справедливо, поэтому быстро завоевала авторитет. Никто из начальства не возражал, когда она потребовала еще одну санитарку в больницу и добилась, чтобы на работу взяли Ирму. Что ею двигало, неизвестно; одного взгляда на тонкие Ирмины руки хватало, чтобы понять: са-

нитарка из нее никакая, однако все познается в сравнении, а сравнение — для Ирмы — было в пользу больницы.

Девочка родилась в ноябре, но была названа Майей — не потому, что мать к тому времени изрядно намаялась, а просто день рождения Бруно был в мае.

Ирма брала девочку с собой на работу. Когда Мария Федоровна оставалась на ночное дежурство, она тоже не уходила домой; детей укладывала спать в крохотном, но теплом чулане.

...Если все время молчать, то что-то сгорает внутри, сгорает или взрывается. Бывает, что помогают слезы. Во время родов Ирма не кричала, а только стонала; потом лежала на койке и плакала, плакала, а слезы не кончались. Она не слышала, как вошла Мария Федоровна, но услышала слово: «Деточка...» и почувствовала руку у себя на лбу. Не смогла больше молчать — и прорыдала хриплым шепотом самое страшное бремя, от которого нет способа разрешиться.

Ирма и Мария Федоровна сильно отличались друг от друга, и разделяло их тоже очень многое, не говоря о двадцатилетней разнице в возрасте, однако роднила и сближала непохожесть на других и понимание этой непохожести. Довольно скоро Ирма рассказала, как Бруно был арестован, каким неузнаваемым он вернулся и как рыдал в прихожей — не от боли, а оттого, что она видит его *таким*. Рассказала про страшную короткую ночь и про долгий мучительный поезд, и даже про жуткий картуз на голове сынишки, так ее поразивший.

Ничего не говорила про бывшую свою кукольную жизнь, про то, как они с Ларисой играли в светских дам — об этом даже вспоминать было стыдно, особенно после того, как спустя несколько лет услышала рассказ Марии Федоров-

ны, которой слезы давно перестали помогать. Повествование было коротким и ни разу не повторялось, однако Ирма запомнила его слово в слово, будто не услышала, а прочитала и выучила.

Я курсистка была, а он — председатель ревтрибунала. Тонкий, интеллигентный — такие встречались; вот и мне встретился, только ненадолго. Умер от солнечного удара, когда купался. Счастливая смерть; только представить, что его ожидало...

Скоро я замуж вышла, за морского офицера, и через год дочку родила; зато мужа потеряла. Гражданская война, господа хорошие... Одни умирали, другие голодали, болели — и тоже умирали.

В 33-м году я опять замуж вышла. Не за военного — за инженера. Умница редкий, а как меня любил! И сегодня любил бы, да Сталин у меня мужа отнял.

Всё, что мне судьба щедро давала, люди отнимали, всё и всегда.

Мария Федоровна тоже выплеснула из себя далеко не все, а только то, что пролилось из переполненной чаши человеческого терпения. В скобках — или на полях — осталась нерассказанная часть — осадок, твердеющий на дне чаши терпения. Там лежала горькая память о дочке, умершей в проклятую Гражданскую, о чем никому не нужно было знать. Как и о том, что Алеша приходился ей отнюдь не внуком, а родным племянником, сыном сестры, которую арестовали вместе с мужем. Мальчику был обеспечен детский дом соответствующего режима, если бы он не гостил у деда на даче. Сама Мария Федоровна разделила бы судьбу мужа, инженера и редкого умницы, но уберегла судьба: оба

терпеть не могли формальностей и брак не регистрировали. Оказывается, человека может погубить — или спасти — бесконечно малая величина, случайность. Марию спасла девичья фамилия, которую она ни разу не меняла и потому уцелела, тем более что было за чем: Алеша.

Вначале их спас отъезд из Москвы, а потом война и поспешная эвакуация. Эвакуированный, как известно, что полумный: сунет в узел сапожную щетку или хрустальную розетку для варенья, а документы забудет. Доктор Косых паспорт при себе имела, а внуку паспорт иметь не полагается, господа хорошие. Мальчик легко привык к дедовой фамилии, а если бабушку звал, случалось, Машей, так это дело семейное.

Эта часть жизни — и рассказа — никому не была известна.

Время от времени доктора Косых вызывали в лагерь для консультации. Ей не только удалось узнать о судьбе Роберта, но и передать от Ирмы небольшой пакетик... свежесмолотого кофе.

Экзотический дар объяснялся весьма прозаично. Источником божественных зерен явилась не знойная Африка, а поселковый магазинчик, иначе — сельпо. Продавались в нем разные жизненно важные товары, большинство которых Ирма видела впервые. Купила Эрику и себе валенки, а к ним — блестящие и тугие, как баклажаны, галоши. Она присматривалась, что покупают другие, а потому вскоре держала в руках кулек со снетками, плохо соображая, что будет с ними делать, и собралась уходить, но остановилась как вкопанная, увидев... кофе. Не мираж, не рисунок, а самые настоящие кофейные зерна, тускло лоснящиеся за стеклом. Купила, в радостном возбуждении не заметив изумленных

и настороженных взглядов, и заторопилась домой, где в чемодане давно скучала ничемная до сих пор кофемолка.

Когда первый кулечек иссяк, снова отправилась в странную лавку, опасаясь, что ароматного чуда не увидит. Напрасно опасалась — кофе был, а все же купила побольше, не замечая, как бабы в очереди переглядываются и подталкивают друг друга локтями. Продащица, утомившаяся от непонятной мороки, не выдержала первой:

— Это вы для какой такой надобности берете?

Ответ Ирмы удовлетворил самых дотошных: интерес в глазах стал гаснуть, и чей-то голос разочарованно протянул:

— Стало быть, молотить надо? А то мы варили-варили, а бобам этим хоть бы хны, нипочем не упевают...

Ирма радовалась, когда могла что-то передать для Роберта, но как-то раз очередной пакетик с кофе Мария Федоровна принесла обратно. В лагере появился новый начальник, жена которого получила ставку бухгалтера, со всеми причитающимися надбавками, и Роберт, добросовестно исполнявший эту должность за одну только лагерную баланду, был отправлен на *общие работы*, что означало лесоповал. Это произошло в сорок пятом, а в крещенские морозы сорок седьмого он оделся таким же бушлатом, как и Бруно, получив фанерную бирку на околеченувшую ногу.

Тихон держал паспорт в сторожке. Его удивило растерянное лицо Макарыча и то, что оба военных пошли вместе с ним. Из конторы выбежал заведующий: «Я, со своей стороны...». Ему коротко бросили: «Вызовем».

У тротуара стоял «газик». Кроме шофера, внутри сидел еще кто-то, тоже в военной форме.

— Поедете с нами, — сказал один из сопровождающих, и Тихон хотел сесть рядом с шофером, но его остановили: «Вам сюда», один распахнул заднюю дверь, а второй добродушно прибавил: «Это не такси». Все трое засмеялись, и шофер тоже улыбнулся.

Ехали очень быстро. Тихон с любопытством осматривался, хотя было неудобно, потому что сидел не у окна, а посредине тех двоих, что спрашивали паспорт. Машина притормозила у высокого здания, которое ему показалось знакомым, но рассмотреть его не смог. Сидевший впереди легко выскочил, и «газик» въехал во двор.

Сперва Тихон считал лестничные пролеты и коридоры, а потом бросил: от быстрой ходьбы сильно колотилось сердце и начало ломить голову. Он никак не мог избавиться от навязчивого запаха машины. Теперь, после тряской дороги, он чувствовал, как глубоко въелся в кожу и в ноздри этот тревожный запах. Твердо решил завтра пойти в баню, хотя знал, что по пятницам всегда очереди.

В одном из коридоров велели обождать. Тихон поворачивал голову на звук шагов, надеясь узнать или угадать кого-то из родных. Но ходили главным образом военные, приветствуя друг друга. Он быстро привык к этому коридору. В какой-то момент показалось даже, что он здесь уже был — или в другом, похожем на этот, коридоре, но в том другом — он твердо помнил — на полу лежали ковровые дорожки и стены были выкрашены не коричневой, как здесь, а зеленой краской. Тихон прикрыл на миг глаза — так ясно вспомнился длинный ковер густого красного цвета, с зелеными полосками по обеим сторонам. «Бойко!» — позвал кто-то. Сейчас он увидит отца: был уверен, что именно отца,

ведь могилы он не нашел, увидит — и сразу узнает; или отец первым узнает его?.. Один из сопровождающих открыл перед ним дверь.

Вначале показалось, что в комнате много народу. Он сильно утомился, после просторной тишины кладбища, от множества незнакомых лиц, от машины, лестниц и коридоров. Несколько раз тайком вытирал мокрые ладони о рубашку, но сейчас забыл об этом, жадно всматриваясь в присутствующих. Обрадовался, узнав человека на портрете — это был Сталин. Военный за столом что-то писал, в левой руке держа потухшую папиросу. На стуле в центре комнаты, спиной к Тихону, сидел обритый наголо старик, но Тихону подойти не разрешили, а показали на стул у стены. Он сел, но рассмотреть отца не успел, потому что снова открылась дверь, и вошедший мужчина, кивнув ему, занял место рядом. Тихон машинально кивнул в ответ, а потом улыбнулся, узнав доктора без халата, там был еще один...

— Свидетелям не переговариваться! — Человек за столом посмотрел прямо на Тихона.

— Я поздоровался, — спокойно возразил сосед знакомым голосом, и Тихон хотел сказать ему что-то приветливое, но уже звучал другой голос, громкий и монотонный: «...для дачи свидетельских показаний по делу обвиняемого Шульца, Отто Вильгельмовича, 1883 года рождения...». Шестьдесят четыре, моментально подсчитал Тихон, а голос продолжал:

— Свидетель Бойко!

У Тихона опять взмокли ладони и лоб, в затылок застучала боль, точно кто-то вколачивал ее туда, как гвозди в крышку гроба. Он подошел к столу.

— Вы знакомы с обвиняемым?

Тихон кивнул.

— Отвечайте: «да» или «нет».

Зачем он сказал «да»? Теперь не отвяжутся. В самом деле, посыпались новые вопросы, и от каждого все сильнее болела голова, а главное, он ничего не мог ответить, кроме «не помню». *Когда и где вы познакомились с обвиняемым? При каких обстоятельствах? Обвиняемый утверждает, что вы поступили в клинику... в клинику... в июне... в июне... в состоянии...*

Отец не приходил. Тихон не знал, как о нем спросить, и начал смутно подозревать, что он и не придет вовсе; да и откуда здесь, в чужой комнате, взяться его отцу? Он чувствовал, как закипает раздражение у следователя, и от этого тревожно сдавливало сердце и пересыхало во рту. Вначале тянуло курить, особенно когда следователь закуривал, но теперь хотелось только одного: скорее на воздух.

Он смотрел на исхудавшего доктора и удивлялся, отчего он, всегда так аккуратно одетый, сидит без галстука, в измятой рубашке и смотрит на него так, словно знает, как ему сейчас нехорошо. Так временами смотрит на него Макарыч. Опустив глаза, Тихон увидел туфли без шнурков.

— Кто находился с вами во время... лечения?

На последнем слове следователь скривил губы, взял папиросу и чиркнул спичкой. Она сломалась, и он яростно бросил ее на пол. Чиркнул новую; она вспыхнула неожиданно ярко и вдруг осветила одному Тихону видимую худую юношескую фигурку, на цыпочках идущую к двери, и пустую кровать. Он успел удивленно воскликнуть: «Мальчик! Мальчик!..» — и бросился следом — остановить, но кто-то рядом

пронзительно закричал и одновременно сильно и точно ударил его, швырнув на пол захлебываться пеной и разом освободив от боли.

Хуже всего было по воскресеньям, когда впереди у Макса был целый пустой день. В больнице привыкли, что он охотно подменяет коллег во время дежурств, даже в праздники. Однако, будь то праздник или будний день, он неизменно кончался, и тогда нужно было снять халат, превратившись из доктора Бергмана просто в Бергмана, мужчину «очень интересного», по мнению женской половины персонала. Представительницы этой половины знали, что он одинок, и Макс часто замечал долгие значительные взгляды, посылаемые с дальним — или хотя бы коротким — прицелом, взгляды, полные одиночества, терпкой тоски и надежды. Война опустошила постели и места за столом, но заполнила могилы, а новые дети рождались, вопреки всему, — ему ли не знать об этом! — и все больше почему-то девочки.

Наутро после ареста Шульца попасть на Вознесенское кладбище не удалось. После двух плановых операций был обход, а когда собрался уходить, вызвали в приемный покой: привезли женщину с тяжелым кровотечением. На следующий день было дежурство по графику; сразу выяснилось, что подменять дежурящих коллег гораздо легче, чем найти кого-нибудь, кто заменил бы тебя. Зато в четверг операций не было, и ничто не мешало бы отправиться сразу после обхода, если бы его не вызвали, прямо из палаты, в административный корпус.

В кабинете главврача ждали, не присаживаясь, двое военных, и главный тоже послушно стоял за собственным сто-

лом, не решаясь сесть. Срочность объяснили «делом государственной важности». Один любезно пояснил Максу, что он необходим как свидетель по делу, а второй дополнил: «По делу вашего Шульца», словно у главного или Макса оставались какие-то иллюзии.

— Машина внизу, — почти весело закончил первый.

Печально известное здание по улице Карла Маркса осталось тем же печально известным зданием, каким было в страшном 40-м году, когда Бергман приходил сюда свидетелем по «делу о вредительстве», тоже общегосударственного масштаба. Шутка ли: один трубочист угрожал всему советскому строю! Дом был покрыт, как паршой, неровными грязно-серыми пятнами: его собирались красить.

Когда Макс вошел в кабинет следователя, бывший раненый сидел на стуле у стены и напряженно всматривался в Шульца. Почти ничего не роднило его с тем дрожащим перевязанным человеком, которого они со старым хирургом так бережно несли на носилках через двор клиники; на вид он ничем не отличался от рабочего, только что закончившего смену. И все же Бергман узнал его, несмотря на бороду, поздоровался, и тот ответил благодарным кивком. Старый Шулец здесь выглядел по-настоящему старым, с покрасневшими и беспомощными без очков глазами, в мятой рубашке поверх брюк, так не вязавшейся с его всегдашней подтянутостью.

Первым вызвали раненого. Было видно, что с новым именем он давно сроднился, а настоящее так и не вспомнил до сих пор, как и все то, что превратило его в Тихона Савельевича Бойко, работника коммунального хозяйства, о чем он сообщил, отвечая на вопрос следователя, со скромной цеховой гордостью. Невозможно было заподозрить его в при-

творстве, хотя нервничал работник коммунального хозяйства очень явно: то и дело вытирал ладони и часто смотрел на дверь, словно ждал кого-то или не терпелось уйти. Бергман помнил, с каким трудом, заикаясь, он выдавливал из себя первые бессвязные слова — и замолкал надолго, будто не заговорит больше никогда. Теперь он не заикался, хотя на вопросы отвечал очень скованно и нерешительно. Следователь выстреливал вопрос за вопросом, а человек растерянно переводил взгляд с Шульца на свои ботинки со следами песка и глины, и в глазах металась беспомощность. Вдруг поднял глаза к потолку, резко запрокинув голову, громко, отчаянно выкрикнул: «Мальчик! Мальчик!..» — и рухнул, заколотившись в припадке.

Бергман рывком сдернул с себя пиджак и комом подсунул его под голову больного, бьющуюся об пол, другой рукой повертывая набок лицо. Рядом суетился солдат, хватал дергающиеся руки.

— Оставьте, — строго остановил его обвиняемый Шулец, и солдат послушно поднялся с пола, — сейчас это кончится.

В дверь уже просунули носилки, на которые через несколько минут переложили вялое, обмякшее тело с лицом без выражения, и осторожно вынесли.

Свидетельские показания Бергмана в тот день больше смахивали на лекцию о контузиях и травматической эпилепсии. После этого вызывали неоднократно, и он доводил до бешенства следователя Панченко новыми показаниями, потому что они требовали проверки. Проверка ничему не помогала, а только накручивала лишнюю морочу на вполне, казалось бы, ясное дело: обвиняемый — немец, всю войну провел на оккупированной территории, занимаясь

якобы врачебной деятельностью, в то время как семью заблаговременно отправил в Швейцарию, явно целясь со временем туда перебраться. Последний пункт был сильным козырем следователя, потому как письма жены были подшиты в дело; а план и, главное, способ перемещения в далекую Швейцарию, он знал, никого не заинтересует: главное, все грамотно увязать, а там, глядишь, и шпионаж вытанцовывается, статья 58-6. Следователь курил и сощуривался — не столько от дыма, сколько от приятных мыслей о новой звездочке на погонах.

Немец, однако, оказался с душком: вместо того чтобы обучаться в Германии, окончил с отличием Петербургский университет и был принят в Пироговское общество русских врачей. Народ там, видать, был неразборчивый, коли немцев брали. Другие немцы перед войной репатриировались — он остался; это ли не доказательство связи с абвером?

Следователя Панченко больше всего возмущал тот факт, что этого контрика и фашиста защищают! Вот характеристика с места работы — хоть орденом награждай. Вызвал главврача: вы знали, что у вас немец работает? Он, видите ли, не думал об этом, его интересует только профессиональный уровень. Откуда было следователю знать, что главврач готов молиться на доктора Шульца — сам же и выдернул его из постели, когда привезли после аварии девушку с разрывом селезенки — его, главного, единственную дочку; кто, кроме Шульца, взялся бы оперировать...

Следователь дунул в папиросу, прикусил было и отложил; перелистал «ДЕЛО» в самое начало, где обвиняемый — здесь так и написано — *требовал* вызвать свидетелей. Панченко покрутил головой: непуганый народ. Хотя Бойко ему сразу

понравился — простой затурканный работяга, с ним трудностей не предвиделось. Записывая однообразные ответы, он сначала раздражался, а потом смекнул, что Бойко свидетель ценный как раз потому, что ни черта не помнит, а знает, и не может подтвердить, что Шульц его лечил. А припадок закатил, точно настоящий вор в законе, и пена — как из огнетушителя... Разобрались: пена оказалась настоящая, без всякого мыла. Так ведь и невменяемость не пришьешь — он вполне нормален, работоспособный, собакой не лает и на прохожих не кидается, а трясет его после контузии. Шульц уверяет, что военный, а тот сам-то ничего не помнит; форма и документы уничтожены по приказу обвиняемого. Имя, фамилия, звание? — И этот не помнит! Я не «не помню», поправил его Шульц, я не знаю; все было в крови, его санитары передевали, как и тех двоих. Вот, страница 19-я «Дела»: «трое раненых». Интересно, что одного Бергман сплавил в дом призрения, а второй сбежал. Почему, спрашивается, сбежал? Почувствовал что-то?.. Сбежал так сбежал, ему, Панченко, легче: свидетеля все равно что нет. А где взяли документы для двоих? Ах, паспорта умерших, как удобно... Не логичней ли предположить, что документами обеспечил немецкий разведцентр? Клинику, куда раненые поступили, проверили в первую очередь — а там детский сад. Наведались в дом призрения — там после войны транспортное управление, в котором о доме призрения ничего не знают, и о калекх тоже: во время войны куда-то их вроде... рассредоточили. Стало быть, второго свидетеля тоже нет, а третий — Бойко, псих контуженный.

Оставался Бергман, и хоть он, Панченко, ничего не имеет лично против евреев, ворошиться с таким свидетелем — унеси ты мое горе, точно в смоле вязнешь. Всю войну у немцев под

носом — еврей! — спокойно прожил. Следовательно не выдержал — вопрос как-то сам собой выскочил: как же вам удалось уцелеть? Бергман и глазом не моргнул. Закурил папиросу и — нахально так, глаза в глаза: «Вы считаете, я обязан был подчиниться приказу оккупационных властей — и погибнуть?».

Звезды на погоны с неба не хватают...

Товарищ Доброхотова относилась к вверенному ей жилому фонду бережно, ведóмая простой истиной: квартир мало, а желающих много — всех не обеспечишь. Незвестно, чем она руководствовалась, распоряжаясь, кому сразу выписать ордер, а кого помариновать в списке очередников. Не только коньяк проверяется выдержкой — люди тоже: коньяк делается мягким, а люди податливыми, вся резкость и строптивость уходят. Очередь двигалась медленно, и дом № 21 как единица жилого фонда был наглядной иллюстрацией этого трудного процесса.

К концу 48-го года у старых большевиков Севастьяновых появились соседи, бездетная пара: шофер Кеша Головка и его жена Серафима Степановна. Кеша возил на «ЗИМе» первого заместителя кого-то совсем уж важного; сам не говорил, а спрашивать было неловко. Жена работала в школе учительницей русского языка и литературы. Обоим было лет по тридцати — или под тридцать, но Кеша так и остался для всех Кешей, в то время как жена, которую Кеша представил полным именем, только полным именем и могла называться. Широкоплечий и крепкий Кеша, с открытой улыбкой на сероглазом лице, и жена — статная, высокогрудая, с тяжелой русой косой, скрученной на затылке, очень подходили друг к другу. У Серафимы Степановны тоже были серые глаза, близко по-

ставленные к переносице, но их обладательница не улыбалась; по крайней мере, никто из жильцов этого не видел. Улыбалась ли она мужу, неизвестно, только скоро эту пару стали называть «Кеша и его СС», с легкой руки нового жильца квартиры № 5, где жил некогда господин Гортынский.

Семья Кравцовых состояла из Михаила, Марины и годовалого ребенка — девочки, в соответствии с демографической статистикой, по имени Наташка. История их вселения заслуживает отдельного описания.

Мишка Кравцов, коренной ленинградец, студентом ушел на войну, дошел до Берлина, как следует выпил с друзьями за Победу — и со всех ног бросился обратно в Ленинград, чтобы убедиться: никто не выжил из большой веселой семьи, где он был старшим сыном. Никто не забыт и ничто не забыто, только ни одной маминой фотографии не сохранилось; тощая пачечка писем — и все. На дом бы взглянуть — где там! Весь квартал как сбрили, питерцы на развалинах не сидят, все что можно расчищено. И такая тяжесть подступила, что не мил уже Литейный, и ноги сами повернули в сторону, в поисках тихого двора — не стреляться же на людях. Покружил по Петроградской стороне, свернул в каменный зев подъезда, впереди — анфилада таких же; скинул мешок и верхнюю пуговку гимнастерки зачем-то расстегнул. Когда потянулся к кобуре, услышал плач — и позавидовал: кто-то может плакать. Однако шагнул во дворик разведать (пуля никуда не уйдет).

Девчонка в полевой форме стояла, прислонившись к стене дома, и плакала в собственную пилотку. Не затем Михаил нашел такой удобный двор, чтобы девчонкам сопли вытирать, но девчонка была фронтовичкой, все равно что сестрой — священно фронтовое братство, — и ленинградкой: кто еще

мог плакать в питерском дворе?.. Сквозь слезы и рукав смог расслышать: «Мама... с голоду... а у нее буфет мамин!..», оттащил от стены, плеснул ей из фляги; выпил сам.

У радистки Марины не было большой и веселой семьи — только мама, а теперь и мамы не было. Историю типичной и жуткой блокадной смерти услышала от дворничихи, где встретилась с буфетом, из которого в детстве таскала мармелад; мама отдала его, в обмен на что-то. Заглянуть в буфет дворничиха не позволила: «Там запасы». В квартире живет кто-то другой.

Михаил увлек ее подальше от страшного двора, в скверик, прикончил флягу, после чего предложил уехать отсюда и... купить новый буфет. Первую часть плана они осуществили — оказались в городе, который уже шесть лет никакая не граница, а часть моей родной страны, которая была широка, а стала еще шире. С буфетом оказалось сложнее, потому что его некуда было ставить: оба жили в заводском общежитии.

В свои двадцать семь лет Михаил выглядел старше: был высок, костляв и сутуловат. Из войны вынес несколько ранений, безграничную веру в Сталина, вследствие чего вступил в партию, и туберкулез, который у него был обнаружен в первом же полевом госпитале, но не помешал довоевать до конца. Кашлял он все сильнее. Марина тоже кашляла — то ли заразилась, то ли носила в себе палочки Коха независимо от мужа, но ребенка решила родить во что бы то ни стало, что и сделала.

Раз в неделю Михаил Кравцов приходил на прием к товарищу Доброхотовой. Терялись диспансерные справки о болезни — и выправлялись новые, требовались из военкомата подтверждения об участии в войне — и добывались эти под-

тверждения, запрашивались справки с места работы — и он бегал по несколько раз в отдел кадров, а потом возвращался сюда, и все затем, чтобы в один прекрасный день товарищ Доброхотова посмотрела с прищуром на Кравцова М. А. и укоризненно сказала:

— Вот вы приезжаете отовсюду и хотите, чтоб вам сразу квартиру предоставили; а люди годами ждут!

Кравцов не знал, что товарищ Доброхотова приехала в этот город в 45-м году, но вспыхнул:

— Так вы здесь для того и сидите, чтобы квартиры предоставлять, а не гонять меня, как мальчишку!

Не выдержал — закашлялся, полез за платком, а исполкомовша поднялась во весь рост и дождавшись, когда докашляет, изрекла гневно и громко, чтобы в приемной слышно было:

— Вы меня на жалость не берите — ишь, раскашлялся!

Но и Мишка перешел на ты, и тоже громко, тем более что стоял уже в дверях:

— Я чухотку в сталинградских окопах заработал, пока ты здесь <...> растила!

И хлопнул дверью.

Прием был прекращен, но ни один человек в очереди не пожалел об этом. Люди расходились, опустив глаза и спрятав улыбки, а на лестнице с удовольствием повторяли услышанное так, как сказал этот Кравцов — без купюр.

Через неделю его вызвали в исполком — не пошел и жене ходить не позволил. Так она его и послушалась; Марине тоже было что сказать этой бабе, хоть мужа она бы не переплюнула, да и не стремилась. Одним словом, пошла, но «бабу» не застала: товарищ Доброхотова уехала в отпуск. В Кисло-

водск, зачем-то пояснила секретарша и протянула Марине ордер на квартиру.

Вскоре после Кравцовых появились новые соседи у Леонеллы: в квартиру покойного нотариуса Зильбера въехала большая семья с короткой фамилией Штейн, тоже приезжие, но не из Челябинска, как Шлоссберги, а откуда-то с Украины. Яков Аронович, глава семейства, был назначен главным технологом на обувную фабрику, его жена Аля была учительницей музыки, а годовалые близнецы Илька и Лилька пока что просто были годовалыми близнецами, несколько нарушившими статистику рождаемости противоположностью полов. Пятым — если не первым — членом семьи была Алина мать — маленькая, тощая кривоногая старуха, обладающая оглушительно гулким басом, за что была наречена Боцманом все тем же Мишей Кравцовым, и даже застенчивая Инна Шлоссберг прыснула, как девчонка, сраженная меткостью определения. Громогласная бабка, при всей своей мелкости, обладала неисчерпаемым запасом энергии, без чего немислим настоящий боцман, и даже пеструю ситцевую козынку завязывала где-то над ухом решительным матросским узлом. Говорят: взгляни на тещу — увидишь, какой станет жена. Яков Аронович явно не удосужился свести предварительного знакомства с Боцманом, потому что сейчас Аля походила на мать разве что комплекцией. При виде хрупкой миниатюрной и нервной Алечки рядом с солидным, коренастым мужем вспоминалось предостережение насчет телеги, в которую *впрямь не можно коня и трепетную лань*. Оказалось, можно, чему свидетельством явилась бесконфликтная жизнь трепетной Алечки и Якова Ароновича. Развертывавая сравнение с конем, его можно было уподобить скорее

коньку-горбунку, так как при своей коренастости Штейн был коротконог и сутул, как будто, прежде чем выбиться в обувные технологи, прошел всю школу сапожного ученичества таким еврейским местечковым Ванькой Жуковым и часами сидел, согнувшись над заказанным сапогом. Возможно, так и было; кто знает? Во всяком случае, хоть был он главным технологом, за ним по лестнице неизменно тянулся запах новых ботинок, который может привязаться в цеху, а не в кабинете. Голоса Якова Ароновича никто не слышал: здороваясь, он кивал и поправлял очки на переносице, словно от короткого кивка они могли упасть.

Квартира № 9, где обосновалось семейство Штейнов, до сорокового года фигурировала в документах как «квартира из трех комнат и девичьей», поскольку девичья, как правило, находилась в распоряжении прислуги, прислуга же — величина переменная: сегодня приходящая, а завтра согласна работать только «с проживанием». Поэтому девичья комната иногда стояла необитаемой, чтобы быть готовой принять горничную или кухарку. После войны, при пересмотре и учете «жилого фонда», бывшая квартира нотариуса, равно как и любая другая трехкомнатная квартира с девичьей, стала называться четырехкомнатной. Оно и понятно: прислуги больше нет, тогда как комната есть; туда ее, в «жилфонд»!

В эту-то девичью комнату девятой квартиры водворилась вторая дочка Боцмана — незамужняя Алина сестра Софа, студентка-вечерница какого-то трудного, но перспективного в матримониальном отношении института. Днем она работала чертежницей, а вечерами долго прихорашивалась, после чего исчезала на таинственные посиделки со строгими названиями *семинар* или *коллоквиум*.

Бабка-Боцман вела хозяйство, нянчила близнецов, беспокоилась о затянувшемся Софином девичестве, но в пятницу вечером ни о каком коллоквиуме слышать не желала и зычно, нетерпеливо созывала семью на ужин:

— Алька! Илька! Лилька! Софка! Шо такоэ?!

И в конце, уважительно:

— Я-ака-ав!

Разносясь по лестнице, зычный голос бабки-Боцмана вгонял в оторопь почтальона, но не проникал за закрытые двери квартир. Леонелла вежливо здоровалась с новыми соседями по площадке, готовясь к тому, что в квартиру слева, которую занимала семья офицера, тоже въедет большая семья. Уходя на работу, почти столкнулась с одноруким управлением в сопровождении молодой женщины. Одинокая; как мило, промелькнуло в голове, в то время как Шевчук сконфуженно поздоровался, добавив:

— Вот, привел вам соседку...

И сбивчиво объяснил, повторив несколько раз слово «ордер», пока до Леонеллы не дошел смысл сказанного, вследствие чего пришлось снова отпереть дверь.

Товарищ Доброхотова, которой не давала покоя просторная квартира «той буржуйки», выполнила свое обещание весьма простым способом: ордер был выписан на девичью комнату квартиры № 12. И хорошо еще, что все свелось к девичьей: если бы не смутно маячивший в перспективе рояль, требующий дополнительной жилплощади, гражданку Лапину могли вселить, например, в спальню. Пока означенная гражданка радостно осматривала свое новое жилье, управлением не преминул сообщить Леонелле, как ей повезло — мог-

ли ведь вселить семью с ребенком, сейчас ох как трудно с жильем... Это моя квартира, мой дом! — беззвучно закричала Леонелла, но лицо оставалось любезным и неподвижным: что-то, а это она умела еще с тех времен, когда приходилось смотреть с безмятежной улыбкой в зрачок фотокамеры. «Ухаживайте за лицом органически — требуйте в парфюмерных магазинах ночной крем SINDA». Проходите, пожалуйста; кухня здесь, ванная и туалет — налево. Прошу прощения, я должна уходить; вы когда переезжаете?..

Ия Лапина — широкоскулое курносое лицо, веселые глаза, густая челка — жила у тетки, а потому готова была вселиться прямо сейчас. Работала на телеграфе, как сама выразилась, «день через день плюс дежурства», и добавила, что надо раскладушку «прикупить»: тетка не позволит забрать кровать. И тут Шевчук был сражен щедростью и великодушием крали — неужто все артистки такие? «Если вам подходит эта кровать, — повернула голову, и остальные послушно повернули головы за ней, — можете располагаться; здесь никто не спит». Телеграфистка только руками всплеснула: ох... а ну как вам самим понадобится? Нет-нет, заверила Леонелла, и столик тоже можете взять, они из одного ансамбля. Услышав рядное слово, Ия почти оцепенела от восторга, но надо было уходить — хозяйка уже стояла в дверях.

Ничего подобного Леонелла не задумывала, все получилось самопроизвольно. А что «самим не понадобится», будьте покойны: после Мариты здесь никто не спал, никаких следов ее пребывания с тех пор не сохранилось. На жалость об утраченной комнате накладывалось горькое облегчение, хотя представить, что посторонняя женщина будет постоянно мельтешить перед глазами, было нелегко.

Однако либо у страха глаза велики, либо страх ни при чем, а в ней самой что-то притупилось после смерти Роберта, но присутствие жилички мучило меньше, чем Леонелла ожидала. Мучила до изнурения, до бессонницы вина, сильнее всего терзающая ночами. Вина не за измену — когда это змеиное слово приходило в голову, она только кривила губы, — и не за нелюбовь, а за недоданное тепло, в котором, она знала, Роберт всегда так нуждался. Восемь с лишним лет прошло с того июньского рассвета, когда она потеряла двоих сразу, мужа и любовника, но если Громов помнился сосредоточенным и строгим, как во время последней прогулки около озера, то муж виделся очень по-разному: то во фраке, на каком-то приеме, то на пляже, с влажными волосами, но чаще всего — таким, как накануне ареста, когда встал со словами: «Это мой ребенок». Какой же мерзавкой надо было быть, чтобы не сказать — не крикнуть — ему: твой! Чтобы не отыскать его, не попросить прощения, не улыбнуться ему и не увидеть ответной улыбки. Мерзавка, дрянь. Это твой ребенок, Роберт, — и мой — слышишь? Это наш ребенок!

Не слышит — и не услышит никогда.

После изматывающей ночи нужно было поднять себя с постели, чтобы отправить девочку в школу. Если посчастливится, иногда удавалось провалиться в сон без сна на час-полтора.

По сравнению с этими терзаниями что такое присутствие, пусть и бок о бок, какой-то телеграфистки? В ванной комнате появился кусок земляничного мыла, что прежде было немислимо, но теперь он имеет все основания здесь находиться, как и его владелица, «согласно прописке». Другое дело, что ванной в прямом назначении жиличка почему-

то не пользовалась, отдавая предпочтение цинковому тазу с двумя ручками; в нем же стирала белье, но отжимала плохо, что выяснилось позднее, когда оно бывало вывешено для просушки прямо над ванной. Это Леонеллу раздражало, как и розовое мыло, положенное без мыльницы прямо на край ванны — оно имело обыкновение стремительно соскользнуть и затаиться у самого стока. Раздражало — и в то же время вызывало жалость — застиранное вафельное полотенце, свисающее с бортика ванны.

Однако это были сущие пустяки по сравнению с главным преимуществом: жилищка не «мельтешила». Ия проводила дома очень мало времени и жила как-то незаметно, если не считать паршивого мыла, замызганного полотенца и нескольких появившихся на кухне тарелок с угнетающе непонятной надписью по краю: «Нарпит». Она много работала, часто в ночную смену, но приходила очень тихо, а на следующий день отсыпалась. Она курила, но делала это на удивление аккуратно, не усеивая пеплом кухонный стол; никогда не оставляла в пепельнице окурков. Дома ходила босиком, иногда что-то напевая; телефоном не пользовалась совсем, а кухней до смешного мало — чай вскипятить или сварить яйцо, вот и вся кулинария. Когда у нее выпадало два выходных дня подряд, ездила навестить тетку; иными словами, очень удобная жилищка.

Если бы Леонелла не была так погружена в самоистязание, бесполезное и мучительное, она заметила бы некую закономерность, своего рода симметрию в заселении дома. Особенно явно она выявилась, когда в бывшую квартиру лейтенанта Бруно Строда въехал военный человек, капитан второго ранга с женой. Капитан был хорош собой необычайно, несмотря на простецкое лицо: нос картошкой,

глубоко посаженные глаза под отнюдь не соболиными бровями, бородавка на превосходно выбритой щеке — все это восполнялось строгой эlegantностью формы, кортиком на боку и перчатками, причем восполнялось с лихвой, отчего закрадывается сомнение: все ли в человеке должно быть прекрасно, при такой одежде?..

Жена капитана, которой больше подходит наименование «супруга», принадлежала к особой касте офицерских жен, со всеми знаками отличия оных от жен неофицерских. Им была свойственна солидность облика, при любом внешнем калибре: одежда, сшитая на заказ — скорее дорогая, чем модная, словно кроили и шили тоже офицерские жены; холеные ногти, прически и уверенные лица, причем на каждом лице можно было заметить какое-то легкое недовольство... Так примерно выглядела жена капитана в своем бежевом пальто из габардина, шляпке с регламентированными полями и таким же углом наклона, солидной кожаной сумкой и рукой в перчатке, продетой в полусогнутый локоть капитана. Она бросила снисходительный взгляд на большое зеркало в коридоре, но не стерла недовольство с лица, поскольку обнаружилось отсутствие лифта, на что тупоносые туфли настойчиво пеняли ступенькам с первого этажа по пятый, а протестующий голос их обладательницы — мужу. Как происходило внедрение этой пары в квартиру № 10, неизвестно: капитан большую часть времени проводил на службе, в то время как его жена не нарушала внутрикастовых законов и поддерживала отношения только с себе подобными.

Заметил ли сам дом симметричную преимуществом заселения, начиная с того, что старые большевики Севастьяновы жили в бывшей квартире хозяина, и продолжая все-

лением еврейских семей как раз в те квартиры, где прежде жили евреи? Успело ли наблюдательное зеркало заметить сходство между молодой телеграфисткой и девушкой со свежим лицом и виолончельной фигурой? Едва ли: ведь Мари-та почти не пользовалась парадной лестницей, да и сходства никакого не было, кроме разве что молодости, какой-то тетки да проживания в девичьей комнате. Но красавец капитан, с его бравой выправкой, не мог не напомнить стройного лейтенанта давно не существующей Гвардии.

Правда, симметрия обнаруживается неполная, потому что шофер Кеша Головка с женой, как и все советские граждане, не имеют никакого отношения к благотворительности, и то, что они живут в квартире, которую раньше занимала госпожа Нейде, чистая случайность. Семья Кравцовых, в свою очередь, бесконечно далека от исчезнувшего князя Гортынского как в социальном, так и во всех других аспектах, хотя... хотя князь Гортынский некогда бежал из своего родного города, который стал потом называться Ленинградом и откуда спу-стя двадцать семь лет бежали Михаил с Мариной.

Доска незыблемо висит на своем месте, напротив зеркала, где отражаются имена людей, которых мало кто помнит. Уже стало понятно, с появлением тихих Шлоссбергов, что доктор Бергман не вернется. Не вернется, при всем желании, и его коллега — дантист: прописавшись на новой квартире, он потерял прежнюю прописку. Это тем более обидно, что Ганичи хотели вернуться на протяжении всех лет, прожитых в другом доме. К счастью, миляга-сержант в милиции предупредил, что выписаться они могут хоть сейчас, но где гарантия, что их пропишут на довоенной жилплощади? Руки с протянутыми паспортами повисли в воздухе; Вадим

Ганич с опозданием поблагодарил парня (тот мог ничего и не говорить) и записался на прием в квартирный отдел, к некоей Доброхотовой. И случилось же ему сидеть в очереди как раз в тот день, когда прием был внезапно прекращен в связи с беспрецедентным поведением Михаила Кравцова. Осторожный дантист счел за лучшее устраниваться от учреждения, где выяснения принимают такой... прямолинейный характер. Сыграли свою роль и невольно услышанные в очереди разговоры про маету в общежитиях, перенаселенные комнаты в бараках и темные, сырые подвалы. Здесь сидели и ждали милости обитатели хижин, а он жил во дворце.

Дома коротко сказал — как доложил: отказали. Лариса не расспрашивала и вроде даже не очень огорчилась, зато твердо вознамерилась сделать ремонт. Вадим перевел дух: ремонт так ремонт...

Палисадная улица тоже постепенно менялась. Кто-то поговаривал, что скоро здесь пустят троллейбус, прямо от Гоголевской, но пока функционировало только транспортное управление — с половины девятого утра до шести вечера; возможно, там и вызревала троллейбусная идея, с перерывом на праздничные и воскресные дни. Конечно, это управление не имело никакого отношения к дому призрения, для которого некогда было выстроено это здание с широкой лестницей. У дома № 19, где во время войны размещалась немецкая казарма, другая судьба; он снова, как в тридцатые годы, стал похож на тяжелого хронического больного, ибо здесь опять шел затяжной ремонт. После ремонта дом ожил в виде ремесленного училища, и теперь его заполнили пареньки в одинаковых серых гимнастерках.

Как прежде, стоят скамейки около каштановых деревьев, рядом с бывшим приютом, но часть жасминовых кустов выкорчевали, и перпендикулярно к улице проложили широкую колею, уходящую куда-то в глубину. Здесь часто гудят грузовики и тяжелые самосвалы, а над въездом висит круглый знак со словами: «БЕРЕГИСЬ АВТО». От начала колеи, то есть от «БЕРЕГИСЬ АВТО», тянется крепкий новый забор, и мало кто помнит домик, чьи обгорелые обломки там когда-то были, домик горбатого Ицика.

Зато пустырь так и остался пустырем. Забором его не обнесли — значит, строить ничего не будут. Летом пустырь густо зарастал мощными лопухами, подорожником и всякой сорной травой. Берта срывала лютики и ставила для мамы крохотный букетик в кофейную чашку, к восхищению телеграфистки, если той случалось быть дома. Надо сказать, что обе отлично ладили: например, жиличка разрешала девочке прыгать на своей кровати, капать на ладошку одеколон, который Ия называла почему-то духами, и однажды дала намазать губы помадой (потом стерли). Лайма ничего не знала ни о помаде, ни о «духах», но к возникшей приязни относилась с большим неудовольствием. Больше всего она тревожилась, что девочка «нахватается дурных манер». Что дворничиха под этим подразумевала, не знал даже дядюшка Ян; уж не курение ли? Так ведь и я курю. Придвигая к себе пепельницу, часто вспоминал, как был потрясен, когда в октябре 44-го вошел в опоганенную немцем квартиру господина Мартина и увидел женскую мраморную ладонь дивной красоты, тоже опоганенную окурками. Не смог удержаться — принес домой, тщательно отмыл и поставил на полку, где стояли часы и ваза, которую так любит жена.

Ничего особенного: матовое стекло, сверху и снизу пошире, а в середине сужается, зато на стекле нарисован длинноногий журавль с красным клювом и таким озорным глазом, словно вот-вот подмигнет. Находка встала рядом, и рука протянулась прямо к журавлю на вазе; Ян не удержался от улыбки. Так и стоит. Гладкая мраморная ладонь казалась теплой. Однажды маленькая Берта положила на нее яблоко, щекастое и румяное, как она сама. С тех пор так и повелось, когда в доме случались яблоки, а в Пасху тетушка Лайма непременно клала в ладошку пестрое раскрашенное яйцо.

Берта любила прибегать прямо из школы в дворницкую. Из Лаймы получилась преданная, ревностная и, как выяснилось после вселения телеграфистки, ревнивая нянька. Правда, Ян тоже баловал девочку, и ничего не существовало такого, что бы ей запрещали в их тесной квартирке. Правда и то, что тетушке Лайме уже было нелегко подниматься на пятый этаж, а горячий и густой суп с перловкой ничем не хуже куриного бульона, который ребенок съест позднее. За маленьким столом, покрытым клеенкой, можно было болтать ногами, а за большим, над которым висела красавица-люстра, никто не ел, зато ей разрешали делать уроки, читать и рисовать. Напротив стола висела картина с сидящей девушкой, и Берте не надоедало ее рассматривать. Однажды она радостно воскликнула: «Ой, как на нашу Ию похожа!», и тетушка Лайма почему-то огорчилась: то ли от досадного сходства, то ли от слова «наша». Хмуρο взялась за штопку. Улучив момент, Берта обняла ее за плечи:

— Можно посмотреть секретики?

Лайма всегда вздыхает, когда маленькие пальцы перебирают и раскладывают на столе крохотные случайные памятки чужих жизней: неотправленное письмо, забавную

статуэтку, плоский камешек, латунную пуговицу, некогда ярко начищенную, а нынче потускневшую, да ободранный детский кубик; больше ничего не осталось, если не считать фамилий на доске. А фамилии долго ли продержатся? Когда начальница приходила квартиры считать, то прямо палец вверх подняла: убрать. Потом однорукий прибежал. Пальцем не тыкал, но уговаривал Яна: снять, мол, приказала. Я не военный человек, Ян ответил, надо мной генералов нету. Велит снять — присылайте людей; я человек пожилой, калечиться не буду. А только доска тяжелая, старой работы — ее так просто не сбросишь. Ну, сорвут; а кто стенку потом чинить станет, генеральша твоя? Управдом озаботился, головой покрутил. Постояли во дворе, покурили вместе, а про доску больше разговора не было. Кому она, в самом деле, мешает?..

Дом продолжал заселяться. Ожила, после многих лет запустения, квартира № 8, некогда похожая на лавку древностей. Бывший хозяин, старый антиквар, частенько не любил расставаться с диковинами, в коих знал толк, и все они оседали у него в шкафах и на полках, как в настоящей лавке. Теперь сюда вселился человек по фамилии Дергун, прошедший войну, включая легендарный Сталинград, в интендантских войсках, а ныне заведующий комиссионным магазином. С ним въехала довольно молодая особа слишком яркой окраски, чтобы можно было принять за жену, хотя ведь интендант — что моряк, у него в каждом порту жена. Внешность самого Дергуна опрокидывала все стандартные представления о типичном интенданте, ибо он был аскетически худ, строг лицом и аккуратно зачесывал на пробор тусклые, деревянного цвета волосы. Всем обликом он скорее напоминал учителя.

А вот учитель пропал. В последний раз дворничиха видела Андрея Ильича два года назад — он собирался со дня на день вернуться, однако не вернулся, зато в доме побывал милиционер и повесил на дверь Шиховых печать, а что это значит, уже было известно.

...Придя в тот день домой, Андрей после некоторого колебания решил все же сказать жене и отцу о зловещем приглашении: иди знай, суждено ли прийти назад.

— Я пойду с тобой, — решительно заявила Тамара.

Спор грозил перерасти в ссору, но вмешался отец. Отодрвавшись от микроскопа (довоенный, цейссовский), долго тер уставшие глаза, а потом взял в руки повестку. Посмотрел; перевернул, как положено, и вынес приговор:

— Андрюша, не ходи.

И объяснил, глядя прямо в тревожные лица:

— Здесь не написано, зачем тебя вызывают. Не написано, кто вызывает, только указан номер комнаты. Одним словом, филькина грамота. Далее, — привычным жестом лектора остановил возражения, — давайте подумаем, в чем тебя могут обвинить?

И сам приготовился загибать пальцы, однако ничего, кроме нарушения паспортного режима, в профессорскую голову не пришло.

— Во время войны многие жили кто где, — возразила Тамара, — а в нашем доме немцы стояли...

— Война... — профессор махнул рукой, — о ней забывают, когда удобно. А вот одному доценту с кафедры биологии кровь попортили: он наполовину немец. Не ходи — целее будешь.

— А повестка? Повестку-то я получил?

— Не ты — тебя дома не было; дворник получил.

— Дворничиха.

— Хорошо, дворничиха; но не ты. Подумай сам: если бы ты не пришел в тот день, бумажка еще месяц валялась бы.

— Отец... Они новую пришлют.

— Пускай шлют! Пойми, там не знают, что ты не живешь дома — иначе прислали бы сюда. — И пришлют ведь, трезво подумал старый ботаник, а вслух продолжал: — А так — на нет и суда нет.

— Предположим, — Андрей потер лоб, — но ведь могут сюда прислать. Тогда что?

Удивительным образом отцу удалось снизить нервный накал обоих. Говорили долго, словно пасьянс раскладывали. В результате родилось неожиданное решение: уехать.

— Куда? — опять вскинулся Андрей. — На деревню к дедушке?

— Это мысль! — обрадовался профессор. — Именно в деревню, в сельскую школу. Сейчас ведь все в город рвутся, скоро яблоку некуда будет упасть. Главное — быстро. И запомни, — добавил очень серьезно, — *ты не получал никакой повестки, вот и все*. Дворничиха не помнит, кому что присылали. На квартиру больше не ходите.

Как всегда бывает после сильного напряжения, разрядились шутками: вот и вещи уложены, никаких хлопот.

Старый Шихов нарочно не обсуждал судьбу несчастного доцента. Кто-то на кафедре тихо, но метко заметил, что немцам после войны так же трудно уцелеть, как евреям во время войны. Хотя биолог был немцем только наполовину, работы он лишился сразу и полностью, а что его ждало в дальнейшем, можно было только гадать. Главное — не быть на виду; авось гроза пройдет стороной.

Так Андрей Ильич Шихов отбыл из родного города на север, в соседнюю *братскую советскую республику*. С памятного сорокового года отношение к внезапно обрушившимся русским не только не поменялось, но стало более враждебным, и только вежливость викингов, помноженная на северное хладнокровие, помогала его скрыть. Опять же отношением, а против власти не попрешь — школьники обязаны учить русский язык, русскую литературу и русскую историю, при том, что преподавателей наперечет; вот и крутись, викинг... Шихов — человек солидный, а главное, почти свой, ибо хоть русский, но не российский; и то слава богу!

Деревня не деревня, город не город, а — городок. Маленький, самодостаточный и потому скучноватый. Существовала здесь и русская старообрядческая община — крохотная, но сплоченная. Главному наставнику этой общины Андрей и передал письмо от отца Артемия, а через неделю вошел в класс настоящей семилетней школы. Вошел не «пятой колонной», а штатным учителем истории, и долго еще дивился особенности маленьких городков, где церковь не так категорически отделена от государства. Переписка старовера отца Георгия с православным отцом Артемием резко оживилась, в то время как отец Артемий зачастил к профессору ботаники, и следствием этого полудетективного сюжета явились сургучные печати на дверях бывшей шиховской квартиры.

Свято место пусто не бывает, а хорошая квартира тем более. Что вскоре и подтвердилось. Если бы фамилия нового жильца появилась на доске, она выглядела бы весьма экзотично, хотя внешне Акрам Нурбердыев ничего особенного из себя не представлял: крепкий невысокий мужчина лет

тридцати, с круглым доброжелательным лицом и ямочкой на подбородке. Одевался, при таком имени, совершенно по-европейски, потому что приехал на постоянное жительство, а не на фестиваль дружбы народов. С ним была жена Галия, тут же для удобства окружающих переименованная просто в Галю. Она очень мило улыбалась, и от улыбки широкие скулы плоского лица приподнимались, наполовину скрывая черные блестящие глаза. Галия была «в интересном положении», как изысканно выразилась Серафима Степановна, никогда в таком положении не пребывавшая. Беременность нисколько не портила милое лицо Галии, только походка с течением времени становилась все более неуклюжей и косолапой.

Акрам, потомственный скорняк, работал начальником цеха на меховой фабрике. Он страдал душой и мрачнел от безграмотного обращения с нежными каракулевыми шкурками, обозначенного умным словом «технология». Выходя с фабрики, вдыхал полной грудью и торопился домой, по дороге примеряя имя будущему сыну. Рафик? Нет; лучше Тимур. Или Карим — «великодушный». Очень хорошее имя для первого сына...

Откуда они появились в западном портовом городе, никто толком не знал. Шофер Кеша называл эту пару *чучмеками* — за глаза, конечно, хоть и беззлобно. Слово было емкое и в равной степени могло обозначать как выходцев из Сибири и Средней Азии, так и поголовно всех жителей Кавказа: широка страна моя родная!

Старый Шульц получил двадцать пять лет лишения свободы. Повернись судьба иначе, мог получить всего девять, только не лет, а граммов свинца, однако в мае 47-го смерт-

ную казнь заменили двадцатипятилетним сроком, что позволяло Шульцу выйти из лагеря в восемьдесят девять лет.

По сравнению с двадцатипятилетним сроком конфискация имущества представлялась сущей безделицей: кому и зачем понадобится имущество через двадцать пять лет? Нагим пришел человек в этот мир, нагим уходит... К тому же следователь Панченко обнаружил досадную оплошность: во время ареста обыск был сделан поспешно, а потому небрежно, и не были опечатаны двери, поскольку в одной квартире с осужденным проживал гражданин Бергман — тот настырный свидетель, которого Панченко охотно посадил бы рядом с Шульцем за одну только настырность. Неприятность заключалась в том, что прописан он был на общую площадь, и никак иначе дело обстоять не могло, поскольку все три комнаты располагались одна за другой, то есть две из них являлись проходными, что исключало раздел.

Бергман только сейчас узнал об этих нюансах и о том, что остался единственным жильцом уютной, обжитой и давно привычной квартиры. Конечно, сюда приходили — еще при Шульце — люди из домоуправления и уходили, узнав про дочку в санатории и жену, поехавшую ее «проведать», как выразился хозяин, что полностью соответствовало истине, датированной апрелем 40-го. Усталая управдомша не стала расспрашивать, в каком санатории: дело деликатное, а Швейцария в любом случае не пришла бы ей в голову: на работе разрываешься, потому как печников нет, водопроводчиков нет, маляры пьют день-деньской, и нет им дела до жильцов, точно ей одной больше всех надо, а ей надо троих детей поднять — спасибо, старшего удалось в ремесленное определить, хорошо бы и малого туда через годик, да за доч-

кой нужен глаз да глаз, а то мать из дому — она к подругам, долго ль до греха...

Конфискация, таким образом, прошла с запозданием, и Макс успел собрать старые немецкие журналы, блокноты с выцветшими обложками, заполненные четким, совсем не докторским почерком, и письма из Европы, которые Шульц хранил в огромном, как скрижаль, медицинском атласе. Атлас не был изъят, по-видимому, из-за неподъемного веса. В результате получилась внушительная стопка. Поколебавшись, Бергман вернул журналы на полку шкафа, предварительно перетряхнув каждый в отдельности. Пусть забирают, если кого-то интересует внутривисцеральная хирургия.

Теперь стопка уместилась в докторском саквояже. А дальше что? Дождаться следующего обыска и уверять, что все это принадлежит ему? Достал папиросы, закурил. Взгляд упал на газету: «СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В ЛЕСОПАРКЕ».

В Лесопарк (бывший Кайзервальд), больше некуда. Если только не появились хозяева, старые или новые. Или зарыть в дюнах около озера.

В полупустом трамвае человек с медицинским саквояжем ни у кого не вызвал подозрений. Знакомый проспект, усеянный желтыми листьями, был почти безлюден. Вот и знакомый поворот; под ногами шуршит и пружинит гравий. Макс остановился поодаль от калитки, так что особняк был хорошо виден, а его самого скрывали высокие кусты, и почувствовал — быстрее, чем убедился — что дом пуст. Позвонил в дверь; не дождавшись ответа, вытащил из кармана плаща ключ.

Внутри стоял неподвижный полумрак. Было очевидно, что после его ухода никто здесь не появлялся.

Ключ в двери чердака торчал, как он его оставил, и внутри все было по-прежнему. Промелькнула малодушная мысль: а не проще ли сжечь эту стопку бумаг — Старый Шульц наверняка его поймет? Мелькнула и пропала. Можно уничтожить приметы своей жизни, но не чужой, даже если Шульцу не суждено никогда перечитать эти письма. Что там в блокнотах, дневники?.. За двадцать пять лет кто-то не выдержит — или султан, или ишак, как говорят на востоке.

Он огляделся. Если нагрянут хозяева, на чердак заглянут не сразу. Бергман достал приготовленный шпагат и перевязал крест-накрест всю пачку. Затем приподнял кресло с распоротым брюхом и торчащей пружиной, потеснил расползающиеся стопки каких-то старых газет и альманахов, пристроив шульцевский архив среди них, и опустил кресло. Посыпалась какая-то труха, и поднялось облако пыли. Макс не стал ждать, пока осядет потревоженный прах, подхватил невесомый саквояж и вышел. Запер чердак. Поколебавшись, опустил ключ во внутренний карман: пустяковая, но отсрочка.

Зачем люди, думал он по пути назад, хранят отжившие, искалеченные вещи, собственно, не вещи давно, а их полуразложившиеся трупы? В сорок первом году кресло выглядело не намного лучше, чем сейчас. Оленья морда с рогами так же лежала на диване, уставив в потолок тусклые от пыли стеклянные глаза. А книги в твердых, покрытых какими-то струпами, переплетах, а газеты эти, а старые ботинки, запорошенные многолетней пылью? Все эти бывшие вещи похоронены на чердаке задолго до войны! Отчего не выбросили, не сожгли?..

Врачу, исцелился сам: все сжег, а самое бесполезное — старую, ободранную игрушку — сохранил! Сорок три года — по-

ченный возраст для игрушечного медвежонка, единственного свидетеля всей его жизни, с трехлетнего возраста.

Сохранилась одна фотография — потому только, что оказалась заложена в книге, а не лежала в секретере. Легкомысленная небрежность вернула милые лица. Отец с матерью стояли на ровной каменной площадке, позади виднелась гора, а прямо за оградой площадки пальма топорщила верные листья. Мама, стройная, несмотря на возраст, беззаботно улыбается, опустив букет, а отец полуотвернулся от камеры и обнимает ее за плечи, словно хочет сказать что-то важное. Беззаботное лето 1931 года, о чем сообщает надпись на обороте. Карточка послана по адресу: ул. Палисадная, № 21, кв. 7. Сейчас удивительно было вспоминать, как родители уехали тем летом в Ниццу — неужто такое было возможно? Нашлась карточка так же случайно, как и сохранилась. Стоял лютый январь сорок второго, окна покрылись толстым плюшем инея. Дом казался крохотной теплой капсулой в холодной темноте, иногда раскалываемой светом проезжавших автомобилей. Книги стопками лежали на полу и на подоконнике. Он вытащил наугад томик Шиллера. Книга легко раскрылась, и Шиллер был забыт, как и стужа за оболочкой капсулы, потому что на фотокарточке было радостное, яркое лето, мама стояла в шелковом платье, ласково обтекающем фигуру, по моде того времени, и с улыбкой слушала отца — красивая, счастливая и стройная, как молодая барышня. То было ее последнее лето — и последняя красота, хотя, глядя на фотографию, невозможно было в это поверить. Она болела недолго и как-то... легкомысленно, что ли, не принимая всерьез свой недуг, поэтому отец, да и Макс, как ни горько сознаться в этом, заразились ее беззаботным

отношением. Она почти и не кашляла — это и ввело его, медика, в заблуждение; только худела и по-прежнему жадно читала, словно торопилась. Отец пережил ее меньше чем на год, хотя был отменно здоров; тоска не болезнь. Вскоре после похорон матери приехал брат отца, дядя Маврик, звал его с собой в Америку — смена обстановки, другая жизнь... Да только отец стремился вовсе не в Америку и тем более не в другую жизнь, а — туда, вслед за женой. В подобных обстоятельствах тоска — надежный друг, на которого можно рассчитывать, что и получилось. Он не болел, только молчал целыми днями, рассеянно улыбался и перебирал материнские ноты и книги, словно прикидывая, что взять с собой...

В доме, где он живет теперь, оконные стекла зимой тоже покроются инеем, а пока это просто темные окна дома без хозяина. Когда-то весь этот удобный одноэтажный домик, разделенный на две симметричные половины, принадлежал доктору Шульцу. У каждой половины был отдельный вход; калитка открывалась прямо на кирпичный тротуар. Шульц мечтал, что сын пойдет по его стопам и в будущем откроет свой кабинет. Райнер предпочел лингвистику, к тому же во Франции. Дочка чаще жила в швейцарском санатории, чем дома, и по здравом размышлении решено было продать пустующую половину. Поступок оказался очень дальновидным, потому что в 40-м году владельцы больших и малых домов не смогли продать ничего, и спасибо, если сами не оказались на улице во время повальной национализации недвижимости. Доктор от национализации не пострадал, поскольку жил с семьей в скромной квартире. Соседи-немцы, купившие вторую половину домика, перед войной отбыли в Германию, и на их

место вселился пожилой обойщик с женой — хмурая, непри­ветливая пара. Обыкновенное «Добрый вечер!» они встреча­ли враждебным бурканьем. Днем со второй половины доно­сился глухой стук забиваемых гвоздей; жена все свободное время проводила в садике за домом. Этих соседей и опасался Старый Шульц, когда в доме были раненые.

Теперь Макс остался один, в положении более чем шатком. В любой день здесь может прочно обосноваться кто угодно, и хозяйничает он до тех пор, пока одно ведомство не сомкну­ло свои усилия с другим, а это может произойти в любой мо­мент. Дом, опустевший после конфискации вещей, вид имел сиротливый и потерянный, и нужно было приручить его, как заблудившуюся собаку. И ждать. Разум отказывался осознать двадцатипятилетний срок. Это было так же абсурдно, как об­винение Шульца в шпионаже, которое могло созреть только в мозгу, изнуренном тяжелой паранойей. Следователь Пан­ченко не был ни параноиком, ни даже садистом, и сообщил Бергману, что ожидает обвиняемого, движимый одним толь­ко желанием: посмотреть, какая рожа будет у настырного свидетеля; сам он светился спокойным удовлетворением.

— Но вы же умный человек, — не вытерпел Макс (дура­ку надо грубо льстить), — вы-то понимаете, что немецкий шпион не станет спасать советских военнопленных и всю войну держать у себя еврея?

— Потому и держал, — убежденно ответил Панченко, — чтобы избежать сурового возмездия. Если бы победила Гер­мания, — следователь старался не смотреть на портрет ге­нералиссимуса, — он бы вас сразу...

И добавил укоризненно:

— А вы его защищаете, гражданин Бергман.

Сталин на портрете был изображен в полупрофиль и смотрел на окно. В вестибюле висел еще один Сталин. В больнице, в торце коридора, стоял гипсовый бюст; рядом на полу ставили цветы.

Будни перемежались праздниками. Братская республика, как и вся советская страна, громко и помпезно отмечала 1 мая и 7 ноября; скромно, но с достоинством, со звоном колоколов — Пасху и Рождество. Это называлось: мирная жизнь. Да как же еще — война-то кончилась!

Война продолжалась — на той же доске, только другими фигурами.

Следователь Панченко не получил желанной звездочки, в отличие от доктора Шульца, который *огреб срок по полной*, хотя на шпионаж не вытянул, а только на «подозрение в шпионаже», но оказался к тому же «социально опасным элементом», каких здесь было достаточно — и не только их. В молодой братской республике пышным цветом расцвело «лесное братство», и министерство госбезопасности бросило все силы на борьбу с ним, «при поддержке сознательных граждан», как заверили газеты.

Если граждане говорили о «лесных братьях», то шепотом; чаще молчали — или плакали потихоньку, как тетушка Лайма. Кому братья и отцы, кому «бандиты и предатели Родины», а кому единственный сын — свет в окошке, давно сюда не заглядывавший. Время от времени то она, то Ян ездили в деревню. Гостинцев из деревни почти не привозили — наоборот, старались сами что-то отвезти Густаву с женой, и деньги от Леонеллы оказались совсем не лишними. В деревне никогда не голодали, особенно в довоенное

время; не голодали и сейчас, а что приходилось во многом ограничивать себя и детей, так ведь не в колхозы отдавали, а своим же защитникам, «лесным братьям».

А тут и колхозы. Никто Густава не спросил, за каким чертом ему нужно в этот колхоз: записали, и все. И с другими так же. А когда он спросил, как так вышло, председатель ему посоветовал прикусить язык и добавил что-то о кулаках. Председатель пришлый, говорит немножко чудно, не так, как здесь. Партийный, конечно, а все партийные помешались на кулаках.

— Не бери в голову. Какой из тебя кулак?.. — успокоил брата Ян.

Больше успокоить было нечем, потому что боялись совсем другого. Валтер был в лесу, и оттуда нужно было уходить во что бы то ни стало: начались облавы. Одни выходили и сдавались, поодиночке или небольшими группами; другие, наоборот, прятались в самую глубь, ибо во время войны истово выкорчевывали евреев или служили в полиции. Были и такие, которые поодиночке пробирались в соседние братские республики, как можно дальше от родного дома и родных лиц.

— Я тебе что скажу, — начал Густав, как он всегда начинал разговор, — измучившись он там вконец. Когда приходил овес косить, его не узнать было: весь заросши, отощал. Побрейся, говорю, Валтер, чего людей пугать?.. Ночевать остался. Я ему баню вытопил. Ну, потом он дал волоса подравнять и бороду. Утром смотрю — нету: ушел. А через пару дней опять явился. Давай, говорит, с картошкой помогу.

Ян молча курил, слушал.

— Картошку рано, а бураки в самый раз; бураков пропасть уродилось...

Какие бураки, думал Ян. Какие бураки, если облава?..

— И я тебе что скажу, — настойчиво продолжал брат, — он до работы голодный. Копал, точно воду пил, я за ним не посперал.

— А потом? — вырвалось у Яна.

— Еще сколько раз бывал. То одно, то другое подсобит. Чужого-то не попросишь. А теперь не разберешь, кто придет; совсем страшно стало.

Густав придвинул голову и понизил голос:

— Вон осенью в соседний хутор постучали, — кивнул на заснеженное окно, — темно уж было. Ну, пустили их; четверо, то ли пятеро парней. Хозяин — да ты знаешь его, хромой Антон, — вы присядьте, говорит, сынки. Сел к столу; палку прислонил, а она возьми да упади. Ну, жена нагнулась, подняла. Сейчас, говорит, соберу что есть — и в дверь, вроде как в погреб. Да только сама к сараю, оттуда что есть духу к соседям. Едва успела сказать, что, мол, сапоги у них больно новые да чистые (заметила, как за палкой нагибалась), — и назад. Приносит сметану и сала кусок. Вот, говорит, сынки, больше ничего нету. А больше, говорят, и не надо; увели обоих.

— А теперь где?.. — выдохнул Ян.

Брат только рукой махнул.

Ходики на стене издали какой-то скребущий звук, что в прежние времена означало бой. Давно — Ян с Густавом были еще мальчишками — отец привез эти ходики из города, восхитившись мелодичным боем и рисунком: олени, скрестившие рога перед началом поединка. Детям строго-настрого было запрещено трогать часы. Дешевые ходики, как ни удивительно, оказались не капризными: исправно показывали время, не ломались и только изрядно осипли за полвека. Краска не облупилась, но рисунок потемнел, и оле-

ни выглядели не такими уж боевитыми, а больше смахивали на лошадей со вздыбленными гривами.

— Я тебе что скажу. Раз они посылают своих по хуторам, дело пропащее. Человек кусок хлеба попросит, а ты дать побоишься. Когда, скажи, такое было?..

Густав медленно провел по лицу крупной грубой ладонью, словно воду стер.

— Оставайся ужинать.

— Нет; пора мне.

Мара, жена Густава, сунула Яну мягкий сверток: «Я тут Лайме чулки связала. Говорила, у ней ноги болят, холодно у вас; так пускай дома носит».

Доехали быстро. Станция крохотная, без перрона и скамеек, с одной только билетной будкой немногим просторней газетного киоска. Единственная колея ровненько прорезывала снег и утыкалась в темнеющий лес. Упустишь поезд — жди, пока дойдет без тебя до города, постоит, заправится углем — и в обратный путь, до большой станции в часе езды отсюда, где тоже постоит, а уж потом назад. Паровоз тормозит здесь четыре раза в сутки, по два раза в каждый конец.

— Успели, — Ян шел от кассы, стараясь ступать по собственным следам, — ты не жди, я сам.

Брат покачал головой.

— Я тебе что скажу, — оглянулся, хотя, кроме лошади, никого поблизости не было, — тут народ теперь... всякий. Вон с кассиршей поговори. Муж привозит ее за час до каждого поезда и с ней сидит, печурку топит; потом обратно домой едут. Жить-то хочется.

Вдруг стало светло. Вспыхнул белым неподвижный сиреневый снег и коротко гуднул паровоз.

— Ну, Лайме кланяйся, — Густав держал Яна за рукав, — да вместе приезжайте, в любое воскресенье!..

Вагон дрожал и покачивался. Ян подложил под голову сверток, который дала Мара, и прикрыл глаза. Густав все еще сидел за столом напротив него, под старыми ходиками. Вот чуть потеплеет, надо приехать вдвоем. Первый поезд в полшестого, назад — вот этим, вечерним. Славно будет посидеть вчетвером, а часы с бодливыми оленями будут силно отсчитывать время... Прикупить надо, чего у них нет; Лайма знает. Только бы Валтер... только б мальчик уберется...

Подступала весна. Не нужно было каждое утро чистить снег или скалывать лед. Зима обреченно сползала на мостовую под колеса машин. Дворничиха добавляла в большую корзину то одно, то другое, чего в деревне не найти, как вдруг ехать стало не к кому. Грянул день 25 марта 1949 года, чьим-то стратегическим умом в недрах госбезопасности названный операция «Прибой». Мощной волной подхватил он целые семьи кулаков, не знавших, что они кулаки, а попутно многих других, «оказывавших содействие бандитам и предателям»; подхватил — и *прибил*: кого на месте, а кого — к Сибири.

Угловатая корявая четверка в календаре сменилась круглой отличницей — гладкой и гордой пятеркой. Лето, осень, Рождество — все смялось для дядюшки Яна в один ком: Лайма заболела. Два дня после сокрушительного «Прибоя» она ходила по квартирке, перекладывая с места на место какие-то свертки в корзине, приготовленной для Мары с Густавом. Заваривала кофе, но сесть и выпить забывала, если Яна не было рядом. На третью ночь зашлась тяжелым надсадным кашлем, а в промежутках подходила к окну, хватая воздух

раскрытым ртом, и не могла наддышаться. Дворник растерялся: то ли звать амбуланс, который теперь и называется как-то иначе, то ли дожидаться утра и бежать за доктором. На рассвете не выдержал — позвонил в квартиру номер семь.

Анна Шлоссберг встретила его с зубной щеткой во рту, но не удивилась, а быстро смыла зубной порошок, завязала потуже халат и спустилась в дворницкую. Несколько раз извинившись («я не врач, я медсестра...»), выслушала легкие и постаралась не выказать тревоги на лице, однако сразу вызвала «скорую», заподозрив сердечную астму. Приехавшая докторша сделала Лайме укол, отчего кашель немного утих, а потом ее осторожно внесли в машину, которая и укачала с пронзительным визгом в больницу Красного Креста, как Анна успела шепнуть дворнику.

Очень славной она оказалась, эта Анна. Выхлопотала для Лаймы место в малонаселенной палате — всего шесть кроватей, все больные тоже сердечницы, а значит, надолго, что подтвердила и черноволосая молодая докторша. Букву «г» она выговаривала как «х», и когда просила медсестру: «Халочка, снимите кардиограмму», слова звучали мягко и нестрашно. Ян узнал, что длинная бумажная лента с острыми каракулями и есть «кардиограмма»; докторша каждый раз ее разворачивает и смотрит пристально, точно газету читает. В высоких коридорах больницы стоял вечный март: стенки выкрашены были такой бледной серой краской, что от них веяло холодом. Где-то здесь работал доктор Бергман, но спросить было неловко. Да и что ему сказать?..

Он возвращался домой, ставил кофейник на ту же конфорку, куда его ставила жена, а спустя час понимал, что не затопил плиту. Девушка с серпом смотрела прямо на него

такими же ласковыми, как у докторши, глазами. Наверху, в квартире старых большевиков, что-то громко падало и катилось по полу.

На Пасху он купил небольшой букетик вербы. Половину отнес в больницу, а другую поставил в Лаймину вазу с нарисованным журавлем. В больницу Ян приезжал почти каждый день и не заметил, как серенький зябкий пушок на вербе превратился в нежную зелень. Так-то лучше, одобрительно поглядывал журавль, ишь как разрослись!

Анна Шлоссберг, добрая душа, частенько заходила, особенно когда он не мог выбраться в больницу, и всегда спрашивала, не надо ли чего. Не только она — Леонелла коротко звонила по пути на работу и непременно оставляла какой-нибудь гостинец: букет фиалок, шоколадку, а то и сыр в пакете, уже нарезанный, и на все возражения только улыбалась. Барышня с телеграфа, которую к ней подселили, остановила его в коридоре с вопросом, не помочь ли чем?.. Бабка-Боцман откуда-то прознала, что Лайма в больнице, и спустилась на первый этаж, осторожно ступая по лестнице тонкими кривыми ногами. В руках она несла стеклянную банку, доверху наполненную чем-то золотистым и аккуратно завязанную пергаментной бумагой.

— Куда поставить? — гаркнула она басом, и воробьев сдуло с карниза то ли страхом, то ли поистине боцманской силой голоса.

На протесты дворника она вскинула голову в мелких седых кудрях и возмутилась:

— Шо такое? Или для вашей жены в больнице сварят таковой куриный суп? С кнелями? Так положите уже ваши спички и берите банку!

Не дослушав его благодарное бормотание, старуха повернулась и пошла наверх, негодуяще потряхивая головой.

Миша Кравцов и шофер Кеша остановились во дворе покурить и сочувственно спрашивали о здоровье Лаймы.

— Интересно девки пляшут... — покрутил головой Кеша, Это ж никаких ног не хватит ходить — туда на троллейбусе, да пересадка... А только я подумал, что по четвергам я всегда еду на Красногвардейскую, так на обратном пути мог бы...

Дядюшка Ян не успел придумать, как повежливей отказать, потому что Серафима Степановна, развесив белье, повернулась к мужу и отчеканила:

— Сколько раз тебе повторять? Надо говорить «всегда», а не «завсегда»!

Повесила мужу на шею связку прищепок и прошла мимо, ни на кого не глядя. Кеша неловко улыбнулся, торопливо загасил окурок и пошел следом.

В течение года Лайма попадала в больницу несколько раз, как только начинался этот страшный кашель с удушьем, но для Яна это осталось одной долгой больницей, с холодными стенами и теплым голосом все той же докторши и неизбежным, как смена сезонов, золотым куриным бульоном, принять который было несравненно легче, чем предложение Кеша Головка «подбросить по дороге».

Люди скоро привыкли, что дворничиха в больнице, словно так всегда и было, но, прежде чем иссяк поток жильцов со словами сочувствия и ненужными гостинцами, Ян бесчисленное число раз благодарил за эти слова и приношения и на вопрос, не надо ли чего, неизменно качал головой.

Ничего не нужно, спасибо; спасибо, ничего.

Нужно было, чтобы рядом был сын или брат, а больше ничего и не нужно. Наверное, ласковая докторша сказала бы «Хустав» вместо «Густав»... «Вашей жене нельзя напрягаться, совсем нельзя. И никаких волнений!» — предупредила она, выписывая Лайму в первый раз. Поэтому дворник не стал говорить, как старая большевичка Севастьянова хотела прилепить в коридор на стену статью из газеты: пусть все прочтут, это очень важно. В длинной статье подробно разъяснялось, почему кулаки, а также укрыватели и пособники бандитов, подверглись справедливому и мягкому наказанию в виде высылки. Ян ровным голосом отвечал, что домоуправление не позволяет на стены ничего вешать, потому как потом не отодрать, а если и отдерешь, то придется стенку красить. За ваш счет, добавил он, не моргнув глазом и глядя прямо на круглую гребенку в волосах Севастьяновой. Именно последние слова заставили ее отказаться от просветительской затеи. Не сказал он Лайме и о том, что Миша Кравцов во дворе рассказывал, как его отец когда-то сам раскулачивал, а ссылал не он — на то органы есть. Вот вы, Ян Яныч, человек местный и сознательный, вы понимаете, что государство должно защищаться? Там у них, в деревне, круговая порука: бандитов прикармливают, а те — читали в «Правде»? — в председателей стреляют...

Лайме не надо было такое знать. Ей нельзя волноваться.

Дом продолжал заселяться.

В квартире Штейнов, и так заполненной до отказа, появилась кошка. Прежде она жила на воле и носилась по пустырю, как запорожцы по бескрайней степи; здесь-то ее впервые увидели штейновские близнецы Илька с Лиль-

кой, ведомые бабкой на чинную прогулку в сквер. Наверное, кошка была очень голодна — иначе трудно объяснить, почему она подошла, а не бросилась наутек. Дети замерли в восхищении, не осмеливаясь до нее дотронуться, а бабка, быстро прикинув все «за» и «против», вытащила из сумки приготовленные бутерброды и отщипнула кусочек, который кошка проглотила в мгновение ока.

— Хватит; пошла, пошла, приблуда, больше не дам.

Близнецы с готовностью заныли. Кошка, не обращая на них ни малейшего внимания, встала на задние лапы и вытянулась во весь рост, передними нежно хватая Боцмана за пальто.

— Дай еще! — в разной попросили Илька и Лилька.

«Дай, — молчаливо, одними глазами, умоляла кошка, — дай!»

На прогулке дети вели себя очень хорошо, только были непривычно тихими. Когда возвращались, кошка радостно выбежала прямо на тротуар, подошла к Боцману и прильнула тощим телом к худой кривой ноге.

— Возьмем ее домо-о-ой, — заныли близнецы, пока бабка отпихивала навязчивую тварь древним зонтиком, стараясь в то же время не причинить ей вреда.

В общем, понятно, что из этого получилось. Придя из своей музыкальной школы, трепетная Аля увидела на кухне длинную серую кошку, тощую, как ершик для мытья бутылок, и всплеснула руками. Она давно мечтала о собачке, белевой и пушистой, которая бы лежала на кровати и вскакивала при ее, Алином, появлении, а потом с радостным повизгиванием бежала навстречу.

— Что это?.. — простонала Алечка, хватаясь за виски, хотя голова еще не болела.

— Кицеле, — дернула плечом старуха, — с пустыря. Не приживется — уйдет; дикая она.

От страшного слова «уйдет» близнецы заорали во всю силу трехлетних глоток, чего ни одно материнское сердце не выдержало бы, а тем более голова. Так что не зря Аля хваталась за виски, не зря.

— Ша! — рывкнула бабка, но Илька с Лилькой обхватили мать с обеих сторон и не отпускали, пока старуха не вытолкала всех троих из кухни.

— Вот Яков придет, будешь знать, — пообещала она кошке и совсем уж нелогично положила на треснутое блюдце несколько хрящиков из супа.

Пришел и Яков, разделся, пригладил волосы перед зеркалом, как делал каждый вечер. Дети, обгоняя друг друга, бросились к нему и громко, возбужденно заговорили, потащили его на кухню, где кошка терпеливо ждала решения своей участи.

— Кицеле? — ласково удивился Яков Аронович. — Кицеле, ком цу мир! — и зачмокал губами.

Кошка с интересом рассматривала хозяина дома.

— Шо такоз? — возмутилась бабка, словно сама не называла гостью тем же безымянным именем. — Шо за «кицеле»? Приблуда она; гойка.

— Гойка? — развеселился не улыбочивый зять.

И кошка в первый раз подала голос. Коротко мяукнула, приблизилась к главному технологу и медленно описала круг, словно обмерив ему ноги.

— Гойка! — не поверила старуха — и тут же пришлось поверить, потому что кошка опять отозвалась, подошла и встала на задние лапы, передними легонько вцепившись в ее передник.

Соседи удивились — не появлению кошки, а странному имени, но сделали поправку на еврейский выговор и звали ее — Горькая.

Кошка в доме № 21 — явление немислимое до сорокового года. Как известно, господин Мартин Баумейстер не позволял держать котов. Однако если об этом кто-то и помнил, то один только дворник да Леонелла, причем Леонелла явно забыла странный запрет, а дворнику было не до кошек и вообще ни до чего, кроме жены. Опять же, господин Баумейстер давно превратился в воспоминание о господине Баумейстере, хозяине дома. Истинными хозяевами стали совсем другие люди, из коих лично известны были двое: товарищ Доброхотова и управдом Шевчук.

Этих двоих нисколько не интересовало ни «горькое» кошкино имя, ни такая же несладкая, судя по всему, прежняя судьба. Интересовал их только «жилой фонд», представленный пустующей до сих пор квартирой № 6, где до войны жила семья дантиста. Сюда незамедлительно должны будут вселиться другие люди, о чем товарищ Доброхотова оповестила дворника. Говорили они прямо перед входом в дворничью. Шевчук пристроил свою амбарную книгу на перилах и что-то отметил в ней, а Доброхотова обвела коридор скупающим и недовольным взглядом. Вдруг ее взгляд остановился.

— Что у вас тут? — спросила она, кивнув на дверь в привратничью.

По мере того как Ян объяснял, лицо ее все больше оживлялось.

— Отоприте, — приказала властно.

— Открыто, — пожал дворник плечами, — можете зайти, — но инициативы не выказал, чего Доброхотова, впрочем, не заметила и властно дернула ручку.

— Шевчук! — донеслось изнутри.

Управдом поспешил на голос.

— Это как же понимать? — хлопотала исполкомовша. — Выходит, у тебя тут неучтенная жилплощадь?

Шевчук забормотал, что жилплощадь эта в домовой книге не числится, на что получил громогласное: «Тем хуже!»

Велено было в двадцать четыре часа убрать дворницкий инвентарь. Шевчук — «кровь из носу!» — обязан был обеспечить печника, и Ян старался не смотреть на унылое широконосое лицо однорукого.

Явился печник — тощий жилистый мужик неопределенного возраста в плечистом пиджаке без единой пуговицы на темной фуфайке и в донельзя вытертой шапке-ушанке, которую никогда не снимал: «Голова у меня застужо́на». Требовательно осмотрел привратницкую, точно пришел покупать, а не печку класть. Печку, кстати, так и не сложил, а соорудил оригинальный гибрид — плиту с высокой и толстой кирпичной стенкой, которая и призвана была служить печкой. Процесс затянулся, потому что печник разложил в коридоре стопки кирпичей и поставил несколько ведер, заскорузлых от намертво прилипшего раствора. На предложение дворника занести все внутрь решительно отказался: «Мне простор нужо́н». В конце лета выяснилось, что «простор нужо́н» был позарез: все свободное пространство занимали пустые бутылки из-под водки. Готовая печка, она же плита, оккупировала целый угол единственной комнаты, но не дымила и грела ис-

правно. Кого-нибудь одинокого вселят, не иначе, думал Ян, прибывая номер «11А» на бывшую привратницкую.

Бесхитростное занятие было прервано приходом кругленькой молодой женщины в круглых очках на круглом лице и со смотровым ордером в руках. Женщина осталась очень довольна осмотром и несколько раз дернула фарфоровую ручку на цепочке, спуская воду и провожая ее зачарованным взглядом.

Неуютно ей будет одной, посочувствовал дворник.

Однако Клава — так звали кругленькую — была вовсе не одна, и через неделю переселилась вместе с мужем, тихим железнодорожником Федей, и трехлетней дочкой Викторией, предварительно отмыв бывшую привратницкую от следов ремонта и надраив новую плиту. Бутылки тоже исчезли, отчего квартирка стала казаться не такой уж тесной, хотя дядюшка Ян никак не мог понять, почему Дергун с блондинкой занял трехкомнатную квартиру, а этим троим досталась одна комната, которая была в то же время кухней.

К тому времени распахнулась дверь бывшей квартиры дантиста, распахнулась с громким стуком, когда начали заносить кровать. Вносили что-то еще, но дверь продолжала хлопать, дети выскакивали и сбегали вниз по лестнице, чтобы через пять минут нестись обратно, неизбежно хлопнув дверью, и в непрерывной беготне, создававшей ощущение мчащейся орды, далеко не сразу удалось определить их количество, возраст и пол. Оказалось — четверо, три девочки и мальчик, на вид от пяти до девяти лет. Одеты все были одинаково, в байковые лыжные костюмы и ботинки. Много стирок назад какие-то из этих костюмов были синими, другие коричневыми.

Соня, мать лихой «орды», была широкобедрой женщиной с расплывшейся, как у снежной бабы на весеннем солнышке, фигурой, отчего трудно было определить ее возраст, и рыжеватыми волосами. Мягкое лицо с безмятежной улыбкой и припухшими веками и вправду придавали ей сонный вид.

С ними въехал дедушка — по всей вероятности, Сонин отец: лысый, маленький и беззубый старик, с палкой, обутый в резиновый каблук. Он часто выходил на лестничный балкон покурить и всегда плевал на окурки, прежде чем бросить его вниз.

Семья носила фамилию Горобец, и главой ее оказался как раз старичок с палкой, который был никаким не дедушкой, а мужем сонной Сони, отцом четверых несовершеннолетних детей и бывшим фронтовиком. Несмотря на безобидную стариковскую внешность, Леонтий Горобец однажды перепугал телеграфистку. Та как раз спешила на работу и остановилась на площадке четвертого этажа: расстегнулся ботинок. Застегивая, она вдруг почувствовала щипок ниже спины и резко обернулась. Старый Горобец курил, стоя в дверях балкона; больше никого не было. Ия готова была подумать, что наткнулась на что-то, когда нагибалась, но в этот момент старик подмигнул.

Каждый день он куда-то уходил; ни с кем в доме не здоровался и не разговаривал; курил в одиночестве. Его жена не работала, что было понятно, часто стирала белье и что-то жарила. Все это становилось известно не из-за чьего-то любопытства, а оттого, что дверь квартиры № 6 чаще была открыта, чем закрыта, и лучше уж так, чем это постоянное хлопанье.

Непрерывная беготня детей, глухое тюканье палки и табачный дым Леонтия, едкий запах хозяйственного мыла

и клубы пара, Сонин плач, какой-то шум, перепиливаемый визгливым голосом главы семейства — все это стало называться «шестая квартира», так же как и свежий синяк на лбу у Сони, гордо несущей таз с мокрым бельем и береманный живот.

Сломался замок у парадной двери — то ли сам по себе, то ли чьими-то необъяснимыми стараниями. Два раза Ян возился — чинил его и смазывал, словно взятку давал, и все только затем, чтобы Горобец, отставив в сторону палку, саданул в дверь крепкой, совсем не стариковской ногой так, что вырванный замок повис на одном шурупе. Победитель направился к лестнице, но вернулся за палкой.

Дворник выдернул последний шуруп, подержал в руках замок — и бросил в мусорное ведро. Для чего запирать парадную дверь, если никто больше не пользовался звонком, а если он и звенел, Ян его не слышал, ибо перестал быть привратником?.. Ключ почему-то выбросить не смог — оставил его висеть на привычном месте в дворницкой.

От богатырского пинка в парадную дверь зеркало содрогнулось. Трещина в углу стала еще больше похожа на морщину. Вся нижняя половина стекла была захватана маленькими руками. В зеркале по-прежнему отражалась стена с кафельным орнаментом и доска с фамилиями жильцов, из которых многие давно уже были «не жильцы». Проходящую мимо Леонеллу Эгле зеркало приветствует легким бликом; остальных — отражает. Другие люди поселились в квартирах, где остались жить вещи тех, первых жильцов; где остались их зеркала. Даже предприимчивый капитан Красной Армии с его угрюмой женой в беретике не смогли открепить

от стены тяжелое зеркало почтенного антиквара — и вытащить его из затейливой рамы тоже не сумели; зеркало осталось висеть. Теперь перед ним причесывается директор комиссионки Дергун да красит ресницы его блондинка, придвинувшись близко-близко к толстому стеклу. За ее спиной неторопливо проходит старичок в светлом чесучовом костюме и старомодной соломенной шляпе. Приостанавливается, достает из кармана сложенный платок и промокает лоб; потом следует дальше, опираясь на трость, и скрывается из виду, словно его и не было. Да и не было никакого старичка, просто тушь в глаз попала.

Миша и Марина Кравцовы обзавелись кое-какой мебелишкой, так как от прежнего хозяина осталось больше книг, чем барахла, и это хорошо, потому что оба были страстными читателями. Низенький диванчик тоже сгодился — на нем спала подросшая Наташка.

Устраивая постирушку, Марина развешивала белье прямо в ванной, частенько забыв открыть вентиляцию. Когда Миша после работы заходил умыться, по запотевшему зеркалу шли разводы, из которых вырисовывалось худое мужское лицо с бородкой и усами, как у Дон Кихота, и сединой на висках, которая оказывалась не чем иным, как пеной с Мишиных намыленных рук.

Утром, перед тем как отправиться в школу, Серафима Степановна расчесывала волосы и заплетала свою толстую русую косу. Начинала широкими, размашистыми движениями, которые становились более скупыми и мелкими по мере того как коса кончалась, потом сучила пальцами тонкий хвостик и закручивала на затылке узел, обильно подоткнув шпильками. Перед сном вся процедура повторялась,

только вместо одной она заплетала две длинные косицы, и эта девчоночья прическа совсем не вязалась с ее пышной грудью и хмурым взглядом. Несколько дней назад лампочка в передней стала мерцать, и в тускловатом ненадежном свете, сквозь взмахи гребенки, Серафима Степановна увидела в зеркале не себя, а совсем чужую женщину. Та медленно сняла легкий шарфик, подняла руки к старательно уложенной завивке, улыбнулась — и пропала. От всей этой нелепости Серафима Степановна начала заплетать одну косу вместо двух, с досадой перекинула ее за спину и помрачнела. Слава богу, скоро каникулы; всю душу вымотали.

— Иннокентий, я сколько раз должна про лампочку говорить?!

Что-то похожее приключилось со старыми большевиками Севастьяновыми. Из обстановки господина Мартина сохранились все три зеркала — в передней, в спальне и в комнате, которая прежде называлась столовой. Здесь почему-то не было мебели и света, хотя из потолка торчали кривые провода. Спустя некоторое время появился тяжелый круглый стол, вокруг него расставили несколько старых венских стульев, а источником света служила черная настольная лампа из какого-то учреждения. Все бы ничего, тем более что в подполье Севастьяновы находились в куда более скромных условиях, но время от времени кто-то из супругов цеплялся за шнур, и лампа опрокидывалась. Когда лампу в очередной раз своротили, и она упала, осветив зеркало, старухе Севастьяновой почудилось, что оттуда насмешливо смотрит какой-то франт в смокинге, и даже бутоньерка с белой гвоздикой была ясно видна.

Есть она не стала — расхотелось, а выпила рюмку водки.

Через несколько дней появился электрик, поколдовал над торчащими проводками, в результате чего над столом повисла на витом проводе лампочка.

— Люстру бы вам надо, — посоветовал электрик, складывая стремянку, и проклял все на свете, ибо вместо ожидаемой трешки получил назидание о подлинных ценностях в виде «нашего славного прошлого» по сравнению с ничем не стоящей люстрой.

Ничего не стоящая, как же, с досадой думал он на лестнице, как можно без абажура, а нигде не купишь, разве в комиссионке, и то караулить надо...

А потом просто свет погас. Такое случалось временами и никого не удивляло — достаточно было зажечь свечку и терпеливо ждать, когда починят. Севастьяновы в это время находились в столовой, и когда вновь вспыхнула ничем не прикрытая лампочка, обесцветив колеблющееся пламя свечи, все тот же фронт в зеркале сощурился, отряхнул лацканы, повернулся и пошел прочь. Оба застыли. Старик налил две полные рюмки, и рука у него дрожала.

В прошлом году у супругов Нубердыевых родилась дочка Насима. Малышке нездоровилось, и Галия носила ее на руках по комнате. На маленькую лампочку был наброшен цветной платок, и в этом сказочном свете Галия видела в зеркале свое отражение — вернее, неясный силуэт. Казалось, что у нее на руках не один, а два младенца. Акрам так ждал сына... Это в глазах от усталости двоится, поняла Галия. Она хотела присесть в кресло, но боялась разбудить девочку, и продолжала ходить по комнате. Ничего; завтра проснется здоровенькая. Положила уснувшую дочку в кроватку, а сама задремала в кресле, откуда было видно зеркало

и в нем две незнакомые девочки, в одинаковых гимназических платьицах, с портфелями в руках.

Семья Шлоссбергов у себя в Челябинске жила очень скромно, а потому к большому зеркалу в передней привыкли не сразу. Заходишь с улицы — и видишь себя в полный рост, а иногда и тех, что в коридоре, если дверь не сразу закрыли. Например, покажется высокий сосед с огромным сенбернаром; у кого же в доме такая собака?..

Ничего противоестественного в этих явлениях не было — ведь не только зеркала, но и другие вещи помнят своих хозяев. Вначале, покинутые ими, они сиротеют и тоскуют; однако бывает, что обретают новых владельцев. И если так, то не подставит ли тумбочка подножку, не пожелав признать нового хозяина? Не закачается ли стол, расплескивая по скатерти чужой чай? Откроется ли послушно дверца шкафа — или заупрямится и заклинит намертво?..

Часто ли смотрел в зеркало госпожи Ирмы элегантный капитан, неизвестно; видела ли его жена в зеркале кого-то, кроме самой себя, тоже трудно сказать: эта пара часто куда-то уезжала, а вскоре исчезла надолго — или навсегда? Оказалось — нет, не навсегда, но квартира замерла в странном статусе под названием «бронь»: и капитана с женой не было, и вселиться никто не имеет права.

Совсем иначе было у Штейнов. Хрупкая Алечка и ее смешливая сестра Софа останавливались перед зеркалом, по выражению матери, «надо и не надо», то есть поправляли прически, надевали и снимали шляпки и... вообще. Софа первой увидела худого рыжего человека с карандашом в руке и вздрогнула.

— Он что, рисовал? — с завистью спросила Аля.

— Нет; просто карандаш держал. Мелькнул и пропал.

Стало понятно, что всему виной Софины чертежи. Еще и не такое привидится!

«Не такое» привиделось не ей, а Якову Ароновичу, причем без всякого зеркала, и вовсе не привиделось.

А незадолго до этого Аля потеряла работу. Вот так, в один день, должна была уйти из музыкальной школы. Никаких объяснений — директор вызвал Алечку, когда у нее было «окно», и сказал прямо, что ни одного «космополита» оставить на работе не может. Одновременно с прямолинейным заявлением протянул ей какой-то список, да что толку: не хватало еще, чтобы от ее слез расплылись чернила. Она встала, а директор продолжал:

— Я вам не отстающих подсовываю, Алина Борисовна, а конкурсных детей. И мне нужно, чтобы они были подготовлены. Разумеется, частным образом. Так что родители вам будут звонить, — и протянул руку.

Поэтому Аля на работу больше не ходила, зато в квартиру Штейнов часто звонили мальчики и девочки с большими черными папками на витых шнурках, и во время уроков Ильку с Лилькой в гостиную не пускали.

Сам Яков Аронович продолжал работать. Накануне общего собрания, где должны были клеймить «безродных космополитов», директор выписал ему однодневную командировку в опытный цех, здраво рассудив, что хорошего технолога надо поберечь, тем более что Штейн никаким таким псевдонимом не прикрывался, зато обувное дело знал как никто.

О чем вот уже второй год шуршат газеты, Яков Аронович знал, и директорский маневр оценил. Отметил командировку, поговорил с начальником цеха о достоинствах кожмита

и направился домой, раздумывая, появится ли когда-нибудь такой кожмит, чтоб сравнился с кожей.

Чтобы сократить путь, Штейн пересек пустырь и вышел во двор, где у входа в погреб курили Михаил с Кешей и разговаривали о том же, то есть не о кожмите, конечно, а о «безродных космополитах». Как раз на последнем слове и показался Яков Аронович. Курильщики примолкли, а Штейн кивнул, как обычно, чуть приподняв шляпу, и прямо ему на рукав упал мокрый окурок. Двое подняли головы. Яков Аронович стряхнул мерзость и пошел вверх по лестнице, глядя прямо перед собой.

Леонтий Горобец выжидательно стоял на балконе четвертого этажа. Глядя мимо него, Яков Аронович занес ногу на ступеньку, но отчетливо расслышал:

— Развелось жидовни.

Штейн повернулся, в несколько шагов очутился на балконе и вlepил соседу крепкую затрещину.

— Пададь.

Оглушенный Горобец услышал: «Падай!», а потом слово: «Вторую». Жид перекрыл ему выход с балкона, а второй «выход» был только через перила, напрямик во двор, поэтому услышав еще раз: «Вторую; ну?!», Леонтий с ненавистью повернулся второй щеккой.

Вторая затрещина оказалась такой же мощной.

— Пададь, — повторил Штейн и пошел вверх не оглядываясь.

Газеты шуршали в киосках, трамваях, на улицах и в парках, медленно, вкрадчиво и надежно внедря в сознание людей слово «космополит», дотоле употребления столь редко-

го, что никто не задумывался о его смысле. Газеты внесли определенность, и теперь космополита мог узнать любой — и труда особого не стоило, а даже интересно стало угадать по фамилии: ведь они, космополиты эти, нарочно скрывают от народа свои истинные имена; неспроста.

По правде сказать, Кеше Головко от всего этого было ни жарко ни холодно — он даже не удостоил космополитов своим любимым присловьем «интересно девки пляшут». Газет Кеша не читал и не видел в том большой потери. Какие-то обрывки разговоров начальства в уютном салоне «ЗИМа» так же плавно обтекали его мозг, ничуть не задевая, как и «ЗИМ» скользил по улицам между другими машинами, ухитряясь не оставить ни одной царапины на гладкой ролевой поверхности. Даже когда случилось непредвиденное — сняли главного, и Кеше стало некого возить, когда другие шоферы, свои ребята из гаража, едва кивали ему при встрече, Кеша не растерялся, а подал заявление об уходе — и тут же устроился в таксопарк. Стало быть, что-то в мозгах осело, но не космополиты какие-то, а то что нужно, иначе Кеша Головко не захаживал бы в таксопарк, не перекуривал бы с шоферами — иными словами, не вел бы разведку.

Ох, как недовольна была Серафима Степановна! Кеша выслушал немало упреков, главный из которых был: «теперь квартиру отберут». Отобрать не отберут, успокаивал он жену, мы не космополиты какие-нибудь... Главное, не подсадили б кого. Ну да поживем — увидим.

Иннокентий Головко верил в несокрушимую силу денег, иначе не рванул бы в таксисты — зарплата ведь шла, нашлось бы кого возить; свято место пусто не бывает. Большой плакат во дворе таксопарка «ЧАЕВЫЕ УНИЖАЮТ

ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА» ничуть его не обескуражил, потому что относился вовсе не к нему. Покатавшись первый месяц на «Победе» с «шашечками», Кеша убедился: чаевые унижают достоинство только того человека, который их не дает. Тут главное что? — не зарываться. Не быть шкуркой, как тот, с квадратной рожей, как его... Мослецов? Или Мосольцев? Да ладно, хрен с ним; хапуга и есть. Опять же, надо знать, от кого можно ждать, а от кого нет; вот случай был. Вез от вокзала женщину с ребенком. Чемодан у ней старый, задрипанный; личико усталое. Пацан тоже тихий, а как увидел, что «зеленый огонек» подкатывает и мать руку подняла, так глазенки и вспыхнули. Сели на заднее сиденье. Он звонко так: «Мам, ты говорила, у нас денег нет», а самому-то лет шесть, не больше. Испрыгался весь: «Мам, это “Победа”, слышишь?..» Те, кто на вокзале садятся и по сторонам глазют — приезжие: их везешь подольше. Коли несколько человек, то можно такого кругалю дать!..

Этих повез прямиком: ясно, что много не возьмешь. Ну, приехали; она пятерку держит сложенную и вдруг: ой, чемодан! Не переживайте, гражданочка, в багажнике ваш чемодан. Нет-нет, я сама, что вы, да не надо, ой, спасибо... и прочую дребедень. Поднял чемоданчик ихний на четвертый этаж, она в замке ключом колуается. Сейчас, говорит, одну секундочку: у меня дома есть... должны быть. Чемодан занес, поставил и чуть не положил сверху ее пятерку, да спохватился: я не Дед Мороз. Дунул вниз, включил зеленую лампочку — и дальше. Интересно девки пляшут...

Кеша охотно рассказывал, какие попадают пассажиры. Главным и практически единственным слушателем, если не считать своего брата таксиста, был Миша Кравцов. Однако

про этот чемодан и пятерку он не рассказывал никому: не хотелось.

Чаевые как-то примирили жену с его новой работой. Серафима Степановна внимательно считала деньги и сама клала их на книжку, в районную сберкассу. Ну, не все, понятное дело: часть Кеша регулярно заначивал. Заначить не хитрость — намного труднее было придумать, где их держать. Квартира не подходила: не было такого места, куда не заглядывала бы Серафима Степановна. Кеша думал о желанном тайнике по пути в таксопарк, в гараже, за баранкой и принимая чаевые, которые заранее видел в крепких руках Серафимы Степановны. Присматривался даже к сараю — не упрятать ли за поленницу, жена сюда не заглядывает. Нет, сарай нипочем не подходил, потому что орда из шестой квартиры прочно оккупировала двор и свой сарай, где шла игра в «дурака» и стоял постоянный ор, а дети есть дети: замок у Головки будь здоров, да дверь-то дощатая, ее проломить пара пустяков... Интересно девки пляшут; хоть в землю зарывай. Кеша со злостью всадил лопату в кучу угля — и замер. Во дура-а-ак... На хрена в землю, когда уголь есть! Обвел взглядом каменные стены. Да, дверь деревянная, но из таких досок, что взрослый мужик не прошибет, а эти сопляки сюда не сунутся: электричества нету — кто ходит с фонариком, кто со свечкой. Отсчитать от стенки десять, скажем, кирпичей, или... Конечно! Конечно, шестнадцать — ни в жисть не забудешь и не ошибешься; отсчитать — и зарыть. Не шибко глубоко, чтобы можно было по-быстрому добавлять пару раз в неделю.

Серафима Степановна не могла нарадоваться на мужа, хоть внешне никак этого не выказывала: что-что, а мужскую работу ей ни разу делать не приходилось. В любую по-

году Кеша без напоминания не только приносил дрова, но и безропотно спускался в темный погреб за углем. Дрова — для печки, а в плиту подкидывали и уголь тоже: и тепло, и дешево.

Второе соображение было особенно важным: Кеша мечтал о собственной «Победе». Серафима Степановна видела себя в новом пальто с каракулевым воротником и в шапочке из такого же точно меха, на переднем сиденье, рядом с мужем, и все мечты могли претвориться в жизнь одновременно, тем более что по сравнению с шестнадцатью тыщами, которые нужно было выложить за машину, пальто с каракулем и шапочка, считай, стоят копейки.

В нескольких кварталах от школы, где работала Серафима Степановна (бывшая Русская гимназия), открылся магазин тканей, так что по пути домой она делала небольшой крюк. Однако близилось лето, и у магазина выстраивались длинные очереди за жатым ситцем; до прилавка с драпом не пропихнешься.

Изо дня в день повторялось одно и то же, с незначительными отклонениями. Она входила в класс, начинался урок, и нужно было втолковывать этим тупицам самые простые вещи. Серафима Степановна была убеждена, что они просто *не хотят* понимать и так прямо и говорила: «Не понимаешь — выучи! Существительные с окончанием на “мя” склоняются с наращением “ен”, ну что здесь непонятного, я спрашиваю?!». К концу фразы ее глубокий горловой голос переходил в негодующий крик. Указательным пальцем Серафима Степановна многократно тыкала в параграф учебника, а шестиклассники старались не смотреть на огромный трясущийся бюст, но слова: *вымя, пламя, семя* и им

подобные, в компании с непонятным и жутким *наращением*, били их прямо в *темя*.

Что-то менялось в больнице Красного Креста. Год назад появился новый главный врач, из военных медиков, а прежний, вставший на защиту почти-шпиона Шульца, с трудом устроился в поликлинику маленького городка.

В административном здании каждый день вывешивалась «ПРАВДА». Суэта вокруг «космополитов» вначале показалась Бергману мышиной возней, не стоящей внимания. Настораживал откровенно издевательский тон и набившие оскомину слова: *приспешник, так называемый, истинное лицо...* Еще сильнее настораживала ханжеская терминология: пишем «космополит» — подразумеваем «еврей». Не татарин, не белорус и не эстонец — еврей. Лошадь, на которую когда ни поставишь, не ошибешься. Хлипкую надежду, что все события происходят в СССР, безжалостно прогнал: СССР давно здесь.

...Давным-давно, в позапрошлую эпоху, Натан Зильбер совал ему в руки газету: «Эйнштейн против ассимиляции». Даже слова запомнились: «Да послужит вам примером и предостережением судьба германских евреев». В то время Бергман не задавался вопросом убежденного упорства Эйнштейна; сейчас, в 1952-м, вдруг стало интересно: почему он, собственно, против? Понадобилась война, гетто за окном квартиры, гибель друга плюс изнурительное бегство от собственного еврейства, чтобы понять беспощадную истину: ассимиляция невозможна. Можно так тесно слиться с другим народом, что не только проникнешься его духом, но и сны будешь видеть на его языке, однако, услышав за спи-

ной окрик и щелчок автомата, ты побежишь — или оцепенеешь. Так было с ним в заснеженном Кайзервальде, когда мимо прошли, лениво болтая, двое патрульных солдат, а его собственные ноги вдруг перестали слушаться. Еврейство не сгорело в печке, когда он жег письма и фотографии, — оно осталось внутри, навсегда неотделимое от чувства вины за Зильбера и за тех евреев, которые сгорели в печах.

«Эйнштейн против ассимиляции»... Бездоказательное утверждение, ибо аксиома не нуждается в доказательствах. Не говоря уже о том, что ни один народ не позволит евреям раствориться в себе! И не позволяя никогда. Еврей нужен именно таким — странствующим Вечным Жидом, с клеймом транзита вместо желтой звезды.

Обход сегодня закончился быстро. Домой можно не спешить — его никто не ждет. У входа в парк стояли два киоска-близнеца — он помнил их еще мальчишкой, когда гулял с отцом. У газетного собралась небольшая очередь. Макс подошел ко второму, табачному, и купил коробку папирос. Закуривая, остановился около упитанной афишной тумбы. «Кинотеатр “Спартак” — кинофильм “Чапаев”». Вполне могло быть наоборот, угрюмо сострил про себя, кинотеатр «Чапаев», а фильм «Спартак». Сам же усмехнулся, глядя мимо афиши и нечаянно встретившись взглядом с молодой женщиной. Не зная, как истолковать его усмешку, она приготовилась возмутиться и одновременно поправила челку, в то время как Бергман неторопливо удалялся вверх по улице.

Почему-то считается, что внутренние монологи обращены в никуда, в пустоту или — в лучшем случае — адресованы вымышленному собеседнику. Будь это на самом деле так, они выдыхались бы, едва успев начаться; между тем они длят-

ся, иногда подолгу, прерываясь и возобновляясь, потому что всегда предполагается адресат-собеседник, и монолог становится общением, то есть диалогом. Собеседник может быть безмолвным или отсутствующим, находиться рядом — или далеко, иногда в ином мире, но он всегда есть, пусть не слышно его ответов, реплик или не видно одобрительных кивков.

Идеальным «собеседником» был Каро; как мне тебя не хватает! Из парка вышел парень с овчаркой, и Макс спохватился, что хотел посидеть на скамейке, но забыл, потому что мысленно продолжал говорить с Зильбером и даже видел его таким, как застал в последний раз: в измятой рубашке, взвинченный, он не садился, а непрерывно двигался по квартире, ступая по полу в одних носках, на цыпочках; видел и не мог удержаться от упрека: почему вы меня не дождались, Натан? Мы были в одинаковом положении, и я... Однако Зильбер перепробовал: нет, мы никогда не были в одинаковом положении. Вы, с вашей арийской внешностью, могли бы пережить войну в немецкой форме. Натан, я никогда не надел бы эту форму! Мягкий, деликатный нотариус опускал глаза, словно ему неловко было такое слышать, и продолжал кружить по комнате. Вспомнился непонятный карандаш, который теперь лежал в секретере, и тяжелый серебряный нож с буквами на рукоятке — загадочными, тревожными, колеблющимися, как пламя на ветру. У меня до сих пор ключи от вашей квартиры, Натан. Не знаю, почему я не оставил их там, где... где остались вы. У меня — вы не поверите — собралась коллекция чужих ключей, как у взломщика. Вашей нотариальной конторы больше нет, здесь теперь книжный магазин.

Он остановился. Продавщица ровно расставляла в витрине новые книги. Одну книгу она поставила вверх ногами,

и Бергман снятой перчаткой сделал круговое движение против часовой стрелки. Женщина замерла и настороженно посмотрела на него, потом понятиливо закивала и перевернула книгу. Названия давали исчерпывающее представление о литературных новинках: «Свежий ветер», «В гору», «К новому берегу», «Пробуждение», «Сын батрака»... Или «Сын рыбака»? Но возвращаться не хотелось, да и какая разница. Что-то похожее сегодня уже встречалось... Ну да: Чапаев и Спартак.

Давно стемнело. Ярко горели окна магазинов. В витрине «Детского мира» стоял манекен — мальчик в пионерском галстуке, с поднятым горном. Несмотря на ноябрь, он все еще был в коротких штанишках. Из магазина вышли две женщины с обувными коробками в руках, одна из них оживленно говорила: «...полуботиночки на вырост».

На угловом доме было написано: «Диетическая столовая». Прямо у окна за столиком сидел мужчина и листал меню. Сильно захотелось есть; недолго думая, Макс вошел и занял другой столик. На тарелке с хлебом синими буквами было написано: «Нарпит». Бергман пробежал глазами меню и, дойдя до многообещающего: «Макароны по-флотски», отложил.

— Эскалоп, пожалуйста. И бутылку нарзана.

— Нету. Кончились эскалопы, — официантка терпеливо держала карандаш, — рагу есть баранье, гуляш по-венгерски...

— Тогда шницель.

— Тоже нету. Поджарку могу принести, если хотите. Прямо сейчас сделают.

Поджарка оказалась щедрой горкой скворчащего мяса в круглой керамической форме, которую официантка поставила перед ним на широкой тарелке, предупредив:

— Осторожно: горячая.

Мясо внутри было нежным и чуть терпким, так что не нужно было ни горчицы, ни перца.

Доставая бумажник, не удержался от вопроса:

— У вас всегда так вкусно кормят?

— Всегда, да не всех, — официантка значительно улыбнулась, — в это время кухня уже закрывается, так что вы пораньше приходите. А завтра не моя смена, я работаю день через день. Спросите в гардеробе: Люся есть? — вам и скажут.

Чаевые она приняла с такой неловкостью, что стало ясно: не привыкла. Бергман поблагодарил и вышел.

Официантка медлила, собирая посуду и одновременно пытаясь разглядеть его на улице, да куда там, вон темень-то какая. Культурного человека сразу видать, это уж как есть. А он еще интересный, хотя в годах, конечно. Зато холостой: женатые в столовую не пойдут, они в это время на диване с газетой лежат. Задержалась в гардеробе, критически окинула взглядом свою плотную фигуру и осталась довольна: Люсенок, держи нос по ветру, приличного человека прикармливать надо, не подозревая, что благодарный едок отошел далеко, в мыслях же и того дальше, и думает не о ней вовсе, а продолжает мысленный разговор, только теперь не с Натаном, а со Старым Шульцем, тем более что подходит к его дому.

Такие *внутренние разговоры* хороши еще и тем, что не всегда замечаешь, кто задал вопрос, ты сам или собеседник; и так же легко спутать, кто на него ответил. Я могу ошибиться, доктор, но такое, по-моему, уже было в сороковом году: гнусные карикатуры в газетах, откровенно антисемитские шутки... Это был первый советский год, доктор! Сейчас — новый виток, если угодно; достаточно открыть «Кро-

кодил». Я его не читаю — видел в палатах у больных. Люди пересмеиваются, шутят, и далеко не все шутки беззлобны, словно где-то открыли клапан и сказали: можно! Евреи, как выясняется, первые торгаши, хапуги и спекулянты; откуда это, доктор?..

Шульц вздыхал, снимал очки (у него ведь не могли отобрать очки в лагере?), крутил их за дужки. Что вы хотите, это же машина. Вот вы сами упомянули клапан; так и есть, вот ведь какая клюква. Пар нужно регулярно выпускать — иначе машина взорвется. Открыли клапан под названием «вредители», потом — «кулаки»... После войны — вы сами видели — пепелище, мерзость запустения. Стало быть, опять нужно найти клапан и открыть. Нашли — немцы и шпионы, к сему ваш покорный слуга. Да, но... Нет-нет, дослушайте меня; итак, клапан найден, немцев-шпионов и просто немцев пересажали. А теперь, когда немцы у них кончились, нужен новый клапан, и кто подойдет на эту роль лучше, чем евреи? Вот такая клюква...

Первое письмо от Шульца и письмом-то назвать было трудно: короткая записка, ценность которой заключалась в обратном адресе. Бергман торопливо собрал и отправил посылку, а новое письмо пришло не скоро, но зато было длинным, да и написано совсем иначе, словно никто над душой не стоял. Старый Шульц благодарил за посылку и общал, что работает в лазарете, и Макс вздохнул с облегчением. «Разговаривать» с Шульцем стало легче: он снова виделся таким, как Макс привык его видеть: в белом халате и шапочке.

Проходил две опустевшие комнаты. Трудно было привыкнуть к нежилой темноте, где в свете уличного фонаря на

стенах видны были прямоугольники, отчего стены походили на негатив пустой улицы со слепыми домами. Интересно, куда они девают мебель? Имущество осужденного подлежит конфискации, ожил голос следователя Панченко, и то, что осужденный укрывал вас во время войны, не является смягчающим обстоятельством. Почему, кстати, вас не призывали в ряды Красной Армии, товарищ Бергман? — Меня отправили в рабочий батальон на левый берег, рыть траншеи. — И... что же? — Я подчинился приказу. Макс пожал плечами и закурил, как тогда, у Панченко в кабинете. — А потом? — Потом в город вошли немцы. — Вы могли обратиться в военкомат... — Когда я пришел в военкомат, там никого уже не было.

...Не было ни души — Макс по очереди открыл все три двери. Комната, где проходила комиссия, была пуста. В двух остальных он увидел несколько письменных столов с криво задвинутыми ящиками. Косой солнечный луч воткнулся в чернильницу с откинутой крышечкой, заглянул в тесный анилиновый колодец, позолотил стружья на пересохших краях и, соскучившись, сполз на пол. Бергман запомнил эту чернильницу, мраморный сосуд для карандашей, похожий на погребальную урну, полные пепельницы и газету, прижатую массивным дыроколом. Телефонный аппарат был сдвинут на самый край и чудом не падал; Макс зачем-то передвинул его, задев пресс-папье, которое вздрогнуло и закачалось сонной лодочкой. Телефонный провод был выдеран из стенки. Сквозняк гонял по полу шелестящие обрывки копирки, которые он поначалу принял за пепел, если б солнце не высветило жирный глянец. В крохотном закутке с унита-зом и раковиной из крана торопливой скороговоркой ка-

пала вода. В раковине валялся размокший окурок. Бергман прикрутил кран и вышел.

Бессмысленно рассказывать об этом следователю, так же как бессмысленно было объяснять, что он не выбирал между действующей армией и гетто — армия сделала выбор за него. Причин не докопаться; доктор Ганич тоже почему-то не подошел Красной Армии...

Он привык не включать свет в пустых комнатах — только в дальней, «у себя», и на кухне. Здесь после конфискации остался старый буфет — настолько неказистый, что не был включен в опись. Небольшой стол и два стула со спинками, похожими на теннисные ракетки, Макс купил в комиссионном магазине, но стол поставил не в центре, как было у Шульца, а почему-то у окна, и только потом понял, почему: так было в Кайзервальде. Леонелла ставила на клетчатую скатерть две кофейные чашки и пузатую детскую кружку с каким-то смешным рисунком.

Самое простое — зайти проведать, случайно оказавшись неподалеку от бывшего дома — оказалось невозможным, хотя бывал ведь там, бывал, когда пытался узнать, куда девались люди из дома призрения. На той скамейке, где сидели обычно с Натаном, долго сидел один и курил, иногда бросая взгляд на окна пятого этажа. Поймал себя на мысли, что плохо помнит лицо ее мужа; наверное, узнал бы при встрече, но за это время из дома вышла только незнакомая статная женщина с портфелем и худощавый однорукий мужчина. Странная пара. Не хотелось думать, что они живут в квартире Зильбера. Снова взглянул вверх — и вздрогнул: на окне Натановой гостиной сидел кот, ритмично наклоняя и поднимая голову; одна лапа была поднята в приветствен-

ном жесте. Вылизывается, не сразу догадался Макс. Раньше в доме котов не держали. Появилась мысль зайти к дворнику — и тут же исчезла: не хватало только встретиться с этой медсестрой, которая считает его своим благодетелем.

Другое дело — случайно встретить Леонеллу в городе; такое ведь происходит сплошь да рядом. В «Детском мире», например, когда она будет покупать *полуботиночки* для Бетти. Или в книжном. Трудно представить, что ее заинтересует «Просвет в тучах» или «Сын батрака» — на том чердаке она выискивала авантюрные романы. Подумать только, девочке уже одиннадцать лет! Она бы его не узнала — дети скоро забывают...

Нет клетчатой скатерти, нет звонких чашек. Стол в наполовину прирученном доме без хозяина стоит так же, как чужой стол стоял в чужом доме. Рано или поздно, если пощастливится, встретишь в своем городе чужую жену с мужем и дочкой и скажешь все положенные слова, а пока ты просто сидишь на узком длинном сундуке, где мог уместиться Зильбер, если бы ты пришел вовремя.

Доктор, мы говорили накануне, он согласился! Взвинчен был, конечно, перевозбужден, однако нормален, я ручаюсь. До сих пор не могу понять, как он решился... Шульц, давно знавший эту историю, качал головой: не он — война; война его убила. Не грызите себя; война убивала по-разному. Проводил по лысине и лицу большой ладонью, снова надевал очки. К Новому году надо отправить ему посылку. Шоколад, витамины, теплое белье. Бергман плохо представлял себе лагерь: при каждой попытке перед глазами возникали фотографии немецких концлагерей, с истощенными узниками в полосатой одежде, и среди них вдруг возникала плот-

ная фигура Старого Шульца в белом докторском халате, вот ведь какая клюква...

Догорел огонь в печке, впереди была ночь.

Однако настоящая ночь наступила через полтора месяца, ярким и холодным зимним днем 13 января нового, 1953 года. Ночь была объявлена во всех центральных газетах и называлась: *«Хроника ТАСС. Арест группы врачей-вредителей»*. Вместо врачебной пятиминутки всех созвали на митинг, где главный при гробовом молчании зала прочитал газетный текст. Из-за высокого роста доктор Бергман сидел далеко, смотрел на оратора и думал обо всем сразу: так останавливается время, если это происходит в Москве после эпохального нюрнбергского суда, хотя черепа никто не измеряет и не нужно надевать желтые звезды, да и флаги висят другие, но кто исчислит стада ишаков, которые полягут, прежде чем померет султан; и как вовремя я отправил Шульца посылку.

Кафе называлось «Театральное», хотя ничего напоминающего театр внутри не было. Оно скорее было похоже на поезд с отдельными купе, в каждом из которых был стол и два диванчика. На зимние каникулы их седьмой «А» ездил в Ленинград, и больше всего Роберте понравился сам поезд, хотя ей не повезло: она оказалась в одном купе с их «классной», Серафимой Степановной. Хорошо еще, что Херувима (так ее все зовут, и мальчишки уверяют, что это от слова «х...р») целый вечер шныряла по другим купе — проверяла. В поезде было очень уютно, но Роберта никому об этом не говорила, даже Лариске, с которой они сидели за одной партой с первого класса, потому что Лариска все время трещала: «Эрмитаж, ах, Эрмитаж!...». В сочинении Робер-

та написала, что самое сильное впечатление на нее произвел домик Петра Первого. Наверное, он нарочно уходил из Зимнего дворца, сидел там и посматривал из окошка, как ведут себя подданные.

В «Театральное» их пригласила певица Альма из оперного театра, мамина приятельница. Она очень пожилая, но не разрешает Роберте называть ее «тетей Альмой»: во-первых, я тебе не тетя, милочка, а во-вторых, ты уже взрослая барышня... Сколько ей, милочка? Это — к маме, которую она тоже зовет «милочкой» и очень редко — Леонеллой. Смотреть на Альму всегда интересно: она шикарно одевается, Херувима сдохла бы от зависти. Она как-то хвасталась перед физичкой новыми полусапожками: «На заказ, конечно. Муж такую очередь выстоял!». Физичка завистливо пригрюнилась, а потом встрепенулась: «Непрактично, Симочка: замша; не для нашей зимы», — и с облегчением отошла. Они с Лариской стояли в пионерской комнате, а дверь была приоткрыта. Не-е-ет, за Альмой Херувиме ни в каких полусапожках не утнаться, в какую бы очередь она своего Кешу ни поставила. Альме шьет портниха из оперы, а там не только петь умеют. Сама-то Альма не хуже Серафимы, но с виду ни за что ни скажешь, а на сцене и подавно. Несколько лет назад они с мамой ходили на «Евгения Онегина». Сначала Роберте неловко было смотреть на Альму, и она боялась, что засмеется: было видно, как сильно артистка крашена, поэтому она просто сощурилась, так что остался один силуэт в светлом платье до полу и чарующий юный голос:

Пускай погибну я, но прежде
Я в ослепительной надежде

Блаженство темное зову,
Я негу жизни узнаю!

После спектакля они пошли, как мама сказала, «к Альме в уборную», и Роберта страшно сконфузилась, а мама рассмеялась, рассказала Альме, и обе хохотали, а она стояла дура душой, потому что это оказалась никакая не уборная, а обыкновенная комната с тремя высокими зеркалами, кучей вешалок и двумя ширмами. Татьяна брала с туалетного столика одну баночку за другой и стремительно превращалась в Альму, хотя на ней все еще было длинное Татьянино платье, и чудилось, что она вот-вот запоет:

Я пью волшебный яд желаний,
Меня преследуют мечты... —

в то время как певица авторитетно продолжала говорить Леонелле:

— ...Кольдкрэм, только кольдкрэм. Потом салфеточкой аккуратно снимаете — и лицо как новенькое!

Нет, лицо Альмы не было похоже на новенькое. Должно быть, она сама об этом знала, потому что схватила пуховку и, поминутно оборачиваясь то к Леонелле, то к зеркалу, громко шептала:

— Меня преследуют. Буквально, — поворот к зеркалу, — самым настоящим образом подсиживают, — снова к зеркалу, на этот раз за тушью, — не поверите, милочка: девчонка, вчера из консерватории... — Серdito плюнула в крохотный пенальчик, распялила глаз и начала медленно водить щеточкой по ресницам, — я уже не говорю, что не на что смо-

треть, это ладно, хотя... Но голос, голос... — поморгала, прилизив глаз вплотную к зеркалу, — голос-то *кастрюльный*, верите, милочка?..

И все-таки перевоплощение волшебной Татьяны в привычную Альму и кулинарная возня с лицом ничему не мешали. Роберта смотрела во все глаза на усталую расплывшуюся женщину, и та спохватилась:

— Тебе понравилось, детка?

Не успев подумать, прилично это или нет, девочка кинулась обнимать пожилую юную Татьяну и неловко ткнулась в обильные плечи, пропахшие пыльным тюлем, пудрой и рабочим потом.

С тех пор они в театре бывали часто, и по настоянию певицы Роберта начала петь в хоре Дворца пионеров, но это все не считалось, потому что...

— Милочка, тебе взбитые сливки с шоколадом, да? — Артистка повернулась к Леонелле. — Здесь чудесные сливки, ей понравятся.

Тетушка Лайма сама взбивала ей сливки смешным пружинным венчиком, и Роберта любила смотреть, как небольшое озерцо белой жидкости послушно танцует под Лайминой рукой, но самый интересный момент — превращение в пышный легкий сугроб — всегда пропускала. Это пока тетушка Лайма не заболела. Ян иногда брал Роберту с собой в больницу. Лайму было очень жалко, она так тяжело пытала, словно не на кровати лежала, а поднималась к ним на пятый этаж. Когда медсестра приходила делать укол, Роберта выходила и слонялась по коридору. Там стояла высокая каталка с худенькой подушкой, а на стене висела стенгазета: «ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ПО КАРДИОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ». Все ужасная скукота, как на физике. И непонятно: они что, соревнуются, кто больше больных вылечит? Или кто лучше?.. Она выучила коридор наизусть, как письмо Татьяны к Онегину, только Пушкин там слегка переиначил — Алья пела не так, но Лариска говорит, что оперу сочинял не Пушкин, и даже фамилию сказала, так что Роберта пошла прямо в библиотеку (не в школьную — в районную, там книжек полно) и попросила почитать, так ей выдали «Мойдодыра». За то, что Лариска наврала с три короба, она не разговаривала с ней на алгебре и на физкультуре.

Было почему-то обидно, что тут сливки были наряднее, чем Лаймины, к тому же с шоколадными опилками, а Лайма плюхала на край чашки ложку варенья. Да и подавали сливки не в чашке, а в красивых вазочках на ножке, а ложечку отдельно на блюде; так вот ложечку Роберта сразу уронила на пол, а когда встала, около их столика стоял какой-то дядька и целовал Алье руку. Та воскликнула:

— Георг, вы несносны!

И пыталась выдернуть руку, но не по-настоящему, а как Людка Примак, когда мальчишки хватают ее за руки, а она визжит, но сама смеется. Этот Георг возил усами по Альминым пальцам, но смотрел на маму. Та, к счастью, ничего не замечала, потому что медленно водила ложкой вокруг горки сливок в своем «кофе по-варшавски». Георгу кто-то помахал, и он наконец отошел.

— Какой баритон... был, — тихо заговорила певица, склоняясь к маме, — божественный, бесподобный. Во время спектаклей барышни его букетами забрасывали. Мы пели в «Кармен», — она понизила голос до шепота, — успех су-

масшедший, каждый вечер аншлаг... — Альма мечтательно улыбнулась. — Поверите, милочка, дамы сходили с ума. Мужчины тоже, — добавила торопливо, — но это старый роман, знаете... Сейчас уже легенда. Он всегда был такой куртуа, даже когда мы были вместе...

Такое слово стоит запомнить, чтобы Лариске нос утереть. Если спросит, то не отвечать прямо, тем более что хорошо бы точно узнать, что оно значит, и так ли уж обязательно, чтобы пальцы тебе мусолил. Хозе похоже на куртуа, а куртуа на что-то еще... На Лавуазье, вот! Закон Лавуазье, там еще Ломоносов был при чем-то. Хотя щекастый румяный Ломоносов, пухленький, как Клава с первого этажа, вряд ли был куртуа.

— ...совершенно безнадежно, — продолжала шептать Альма, все так же наклонившись к маме, — его держали, пока он держался. Но знаете, милочка, это в драме можно пить сколько влезет, а у нас нельзя: голос уходит. Вот так и он...

Кто «он», можно было легко догадаться: Альмин куртуа. Он сидел за дальним столиком с какими-то людьми, а сейчас как раз приподнялся и крикнул официантке: «Шартрез, одну!».

Тоже загадочное слово.

Сливки кончились, и Роберта осторожно приступила к «наполеону». Нежная золотистая штукатурка осыпалась на блюдце и на скатерть, но ложке не поддавалась, только крем выползал по сторонам. Воспользовавшись тем, что певица на нее не смотрит, девочка наклонилась и откусила, придерживая пирожное ложкой, и теперь чинно жевала, вяло прислушиваясь к беседе.

— Сколько же можно? — возмущалась Альма, — вы ведь молодая женщина, милочка, так нельзя. Ну, между нами: сколько вам?

— Увы, — кратко ответила мама, — сорок уже стукнуло, — она быстро отпила кофе, — а я все привыкнуть не могу.

Альма засмеялась и полезла в сумочку. Роберта быстро сунула в рот остатки верхнего слоя и глотнула кофе. Певица долго смеялась нежным смехом, и два пушистых зверька на ее шее чуть вздрагивали и смотрели прямо на девочку круглыми требовательными глазками.

— Чудный мех, — улынулась мама, — вам очень к лицу!

— Спасибо, милочка, — Альма с достоинством повела плечами и снова начала что-то настойчиво втолковывать маме, а Роберта все время ждала, что мех вот-вот коснется сливок или эклера, — оба зверька хищно нависали над столом и вытягивали носы — и все же ни разу ничего не задели!

Опять вспомнилась поездка в «колыбель революции», как Херувима называла Ленинград. В «колыбели» был страшный холод и ветер, особенно на этом... Зевсовом поле. Они с Лариской стояли, держась под руки, чтоб теплее, мальчишки начали прыгать, но Херувима рассвирепела и забулькала — она говорит, точно горло полощет, — что это неприличное поведение, тем более в таком месте... Правда, она сама ужасно замерзла: нос стал красный, а руки она держала в карманах (мама всегда говорит, что именно это и есть неприлично). Там было много экскурсий, и еще какая-то тетка стояла, а с ней военный, в штанах с красными полосками и таком же каракулевым колпаке, как у Херувимы, Лариска первая заметила, и они долго хихикали. Так на тетке воротник похой был на Альмин, только пышнее и с одной головой...

Потом они пошли в столовую, и нос у Серафимы еще сильнее покраснел, и щеки тоже.

— ...о ребенке, совершенно верно, — продолжала певица уже громче, — как раз сейчас и время, а то когда же? Какое счастье, что у вас такая дочка; сколько ей уже?

— Пятнадцатый год, — улынулась мама.

— Ну вот! Ну вот, я же говорю: пристроиться. Вы обязательно должны пристроиться, но только чтобы человек достойный... — И снова перешла на шепот: — Без мужчины, милочка, хоть волком вой.

Услышать добродушный смех приятельницы было много лучше, чем заметить уязвленно поджатые губы. Собственное благополучие не лишило Альму способности слышать другого. Леонелла знала, какую цену певица платит за свое благополучие. Прекрасный голос, артистичность и популярность у публики оставляли Министерство культуры глухим и слепым, когда речь заходила о награждениях.

— Это решает другое ведомство, милочка, — устало объясняла она Леонелле. — Вы же видите, кому они дают. Я никогда у них не стану ни народной, ни хотя бы зас... заслуженной артисткой. Позволяют петь — и на том спасибо. Я даже — не поверите, милочка, — рада, что отец не дожил: он так гордился мною...

Отец Альмы был известным юристом во времена республики, но Леонелла никогда не расспрашивала, поскольку такой интерес предполагает ответную откровенность, а рассказывать о своем происхождении... нет, только не это.

К собственному возрасту Леонелла относилась, как умный подчиненный к взбалмошному начальнику, стара-

ьясь не попасть под горячую руку. Мало ли начальников-самодуров; сегодня устроит разнос, пригрозит всяческими карами, вплоть до увольнения, а завтра благодушно и не глядя подпишет требуемую бумагу: живи, мол.

С зеркалом отношения были совсем не такие. Никакого сочувствия от него не дождешься — говорит, что видит, и надо иметь мужество присмотреться и прислушаться. Плевать ему на паспорт, хоть он и был главным сообщником Леонеллы, маленьким дерзким жуликом, но жуликом поневоле, ибо главной обманщицей была сама хозяйка.

...Когда в середине мая 41-го началась выдача новых паспортов, удостоверяющих советское гражданство, Громов настойчиво уговаривал ее поменять паспорт. Дома Леонелла достала серую книжечку и долго изучала цифру: 1900. Что ж, овчинка стоит выделки. Решительно окунула перо в черную тушь и осторожно добавила маленький загнутый черенок под последним нулем; потянулась к пресс-папье — и отдернула руку: пусть высохнет. Несколько раз отводила взгляд — и снова возвращалась, привыкая к новой дате, что оказалось на диво легко. Ни в тот момент, ни на следующий день, когда молоденький лейтенант протянул ей новую книжечку и торжественно поздравил с «новым, советским паспортом», Леонелла не испытывала ни малейшей вины: это мой возраст, и если я украду у себя девять лет, то караул никто не закричит. Зеркало заговорщицки улыбнулось. В новом паспорте, на гладкой хрустящей страничке, чужой равнодушной рукой была выведена новая дата. Стало быть, «по новому стилю» (она тихонько засмеялась) ей тридцать два года, но об этом знает только она. Роберт... едва ли. Метрику она сожгла, и с нею сгорели девять лет, которых никто не хватится.

Да, пятнадцать лет назад она была хозяйкой своего возраста; с тех пор они давно поменялись ролями. Сегодня, в пятьдесят шесть лет «по старому стилю» — от этой поправки уже не избавиться никогда — нужно было особенно тщательно подкалывать волосы: вдруг кто-то заметит на виске седой волос. Пришлось купить баночку кольдкрема: по утрам под глазами вспухали небольшие подушки. «Главное — шея, милочка; шея и руки», — твердила Альма. Леонелла и сама безошибочно замечала женщин, которые внезапно начинали носить легкие шелковые шарфики. На всякий случай купила и себе, дымчато-лазоревый, хотя необходимости в нем пока не было. Руки... руки ей сберегла тетушка Лайма. Она не только готовила и мыла посуду, но и Бетти приохотила к домашней работе: «Как можно, госпожа Эгле, вы так много работаете...». Девочка вставала раньше матери, чтобы сварить ей кофе. Как-то темным утром Леонелла вышла, затягивая пояс халата, и вздрогнула, увидев за стеклянной кухонной дверью знакомый виолончельный силуэт Мариты. Дверь открылась, и Бетти отпрыгнула назад:

— Ой, как ты меня напугала! — и рассмеялась с облегчением, точь-в-точь как смеялся Роберт. — Я чуть кофейник не опрокинула.

Бетти стремительно, как показалось матери, выросла из всех платьев. Скучное послевоенное время, когда все дети были одинаково одеты в обноски той или иной аккуратности, осталось позади, хотя и тогда Леонелла наряжала дочку, по выражению дворничихи, «что куколку». Школьная форма демократически уравнивала всех детей, но от Леонеллы не ускользнуло, что парни из ремесленного училища по со-

седству провожают Бетти заинтересованными взглядами, а ведь ей только четырнадцать... Может быть, Альма права: будь в доме мужчина, за нее было бы не так страшно. Вернее, страх разделили бы пополам. Это если отец, одернула она себя, а посторонний... Она знала только одного человека, который подошел бы на эту роль: лицо Макса, бережно сажающего девочку на плечи, забыть невозможно. Так ведь когда это было...

Беспокоило и то, что Бетти в основном предоставлена самой себе. Теперь, когда Лайме случалось быть дома, девочка после школы подолгу сидела с нею и с удовольствием хозяйничала под Лаймины благодарные причитания. Много времени дочка проводила со своей подружкой. Леонелла присматривалась к этой девочке с первого класса и не могла понять, почему Бетти выделила ее из всех других? Тощая, тихая и пронырливая первоклассница подросла, но оставалась подросток без всяких признаков цветения, для которой легко было купить одежду в «Детском мире». Лариска всегда пытливо разглядывала их мебель, светильники и большой портрет в простенке. Леонелла встречала ее приветливо, но никогда не чувствовала себя по-настоящему непринужденно. И, как выяснилось, не зря.

— Мама, а почему у нас нет фотографий? Ну... твоих родителей. И папиных. У Лариски дома целый альбом, большущий такой...

Рано или поздно вопрос появился бы и без Лариски — не может быть, чтобы маленькая проныра что-то разнюхала, даже если шныряла по ящикам бюро: ничего там не было, да и вопрос Леонелла предвидела и подготовила ответ: война; бомбежка. Никого в живых не осталось, ни моей мате-

ри, ни отца. А у папы... его родители умерли до войны, они в другом городе жили.

Вот это, о родителях Роберта, полностью соответствовало действительности, а полуправду говорить легче, особенно после многих репетиций, иначе трудно было бы выдерживать простодушный, доверчивый взгляд и слова:

— Бедная мама.

Больше об этом не говорили. Девочка приняла грубую театральную декорацию, сооруженную на скорую руку, за чистую монету. Это лучше, чем если бы она узнала, что одна только жалкая пьянчужка могла бы рассказать, кто был отцом Леонеллы, случись ей упомянуть; однако она замерзла ночью в чужом амбаре. Нет, смерть во время бомбежки куда гуманней. Когда-нибудь девочка спросит об отце, но ответить будет проще.

Училась Бетти не плохо, но, в отличие от подружки Лариски, как-то равнодушно. Только учительница математики на каждом родительском собрании ее нахваливала. Соседка Серафима, встречая Леонеллу на лестнице, говорила озабоченным голосом одно и то же: «Подтянуться надо по всем предметам: в вузах серьезный конкурс, — и слова перекатывались у нее в горле, как крупные горошины. — Пишет грамотно, а на литературе ворон считает».

Два раза в неделю, когда Роберта пела в хоре, они вместе возвращались из Дворца пионеров. В один из таких дней разговор невзначай коснулся тройки за сочинение.

— А у всех почти тройки, — беспечно ответила девочка, — потому что книжки скучные. Вот у нас дома... Я знаешь сколько раз «Тарзана» читала? Или этого... У него фамилия такая змеиная — Декобра; «Сын палача», помнишь?

Или «Миллионы Гризельды». Я давала Ие читать, так она всю ночь не спала. Она сразу сказала, что это — вещь. И никакого Данко с горящим сердцем. Херувима так надрывалась, как будто это ее собственное сердце, хотя ты можешь представить, что она свое сердце возьмет и вырвет?

И сама расхохоталась. Отсмеявшись, продолжала говорить, быстро и пылко, что Серафиму все ненавидят, потому что она злая, зато как выпендривается и наряжается, но у нее все равно ничего не выходит, взять хотя бы газовый шарфик: он должен нежно обвивать шею и взлетать от дуновения ветерка, как у тебя, а Серафима что ни навернет на шею, выглядит, словно горло болит.

Неужто эта Серафима не чувствует, как дети к ней относятся? И чем она платит им, если... если чувствует?

— В библиотеке — знаешь, у троллейбусной остановки? — продолжала дочка, — так вот, там Горького завались, но я искала что-то... стоящее. Кого, ты думаешь, я там встретила? — она выжидательно замолчала.

— Не знаю, — улыбнулась Леонелла. — Серафиму Степановну?

— Да ты что! Вальку.

В ответ на недоуменный взгляд пояснила:

— Вальку, из шестой квартиры. У них там вообще такое... как «На дне» у этого Данко, то есть Горького, а Валька там единственная нормальная девчонка. Мы столкнулись у полки, и Валька меня спрашивает: «Ты Стендаля любишь?» А я такого не знаю, его даже Лариска не читала. Тогда Валька потащила меня на «сэ», я взяла «Красное и черное». Пока я в школе, то Ия читает, она меня уже обогнала, а я дочитала до когда он приходит к мадам де Реналь...

Помолчала, явно вернувшись мыслями к неведомой маме, потом спросила:

— Мам, а ты любишь Стендаля?

К счастью, они как раз проходили мимо кондитерского магазина.

— Давай зайдем? Купим Лайме шоколадку...

Каждое воскресенье супруги Головки куда-то выезжали. Первым во двор спускался Кеша и неторопливо отпирал гараж, где некогда стояла красавица «Олимпия», а теперь была прописана серая Кешина «Победа». Малыши, до сих пор мирно копошившиеся в песочнице, и ребяташки постарше, в том числе головорезы из шестой квартиры, тут же сбегались и с молчаливым сопеньем обступали раскрытые двери гаража, пока не раздавался чей-то нерешительный голос: «Дядь Кеш, прокати...». Если к этому времени в дверях еще не показалась монументальная фигура Серафимы Степановны, Кеша открывал дверцы и коротко говорил: «Сигай! Но только до ворот и обратно». «Сигали» все, кто успевал, чтобы хоть несколько минут насладиться непередаваемым «машинным» запахом, тайком крутануть блестящие ручки и поерзать на роскошных сиденьях. Стучалось такое редко, потому что Серафима Степановна бдила, чтобы не случалось вообще, и строго выговаривала мужу:

— Чтобы в последний раз, Иннокентий. Опять обивку чистить от соплей. Куда родители смотрят, интересно?..

Если и приходилось иногда чистить обивку, то занималась этим вовсе не Серафима Степановна, а сам Кеша. Да и чего там чистить, делов-то... Был бы свой, так хоть все сопели на сиденье выложи, слова бы не сказал. Жене, конечно,

не говорил; она не виновата. А кто виноват, скажите? Интересно девки пляшут... Может, она потому и не любит чужих детей, что своих нету? Как-то намекнул: может, тебе на курорт какой съездить надо или... Вот на этом «или» пришлось заткнуться, да она еще неделю ходила туча тучей. А как подумать, до сорока лет дожили — и ни парня, ни девки. Зато «Победа». Здесь мысли принимали другое направление: как бы эти башибузуки из шестой квартиры чего не учудили гвоздем по крылу, с них станется.

Кончились задушевные перекуры с Мишкой Кравцовым, в одночасье кончились; а жаль. Сколько раз Кеша говорил себе не спорить о политике, ну ее в болото.

...Кравцов был в тот день мрачный и какой-то потерянный. Молча тянул свою «беломорину», потом без предисловия бухнул:

— У нас на заводе один взял и партбилет положил.

— Куда? — не понял Кеша.

— На стол! — рывкнул Кравцов. — Прямо на собрании. Доклад Никиты зачитали; все молчат. А что скажешь?.. Ну, а этот подошел к столу, вытащил книжечку — и хлоп!

— А че сказал?

Мишка пожал плечами:

— Так что говорить-то? Я потом, когда собрание кончилось, его нашел, я его хорошо знаю. Ты, говорю, не горячись, говорю; надо разобраться. А он мне: «Я Сталину, как отцу, верил. Воевал за него. В партию пошел, чтобы — с ним вместе. А они... Они всё знали, это ж Никита не вчера написал! Знали, слышишь? И такое вот... делали!» — И пошел к проходной.

— А ты?

— Что — я. Я Сталина верю. Партбилетом не бросаюсь. Я потом сам читал ту газету. И получается, — он смотрел на Кешу, словно считал в уме что-то трудное, — что Сталин... нарушал революционную законность. И никаких «врагов народа» не было.

Он замолчал. Папироса потухла, и понадобилось несколько спичек, чтобы раскурить ее снова. Горелые спички Михаил засовывал обратно в коробок, валетом к новым.

— Как... врагов народа не было? — не поверил Кеша.

— А вот так: не было. И вредителей не было.

— Интересно девки пляшут... Может, и кулаков не было, и шпионов?

— С кулаками тоже... перегибов хватало. Кто кулак, а кто...

— Че-то я не понимаю, — перебил Кеша, — это что же, завтра напечатают, что кулаков, мол, тоже не было? Вот ты говоришь, врагов народа не было, или там вредителей... А чего ж тогда мы отступали, когда Гитлер попер? Это разве не враги народа, не вредители подстроили?

Затянулся, снял пальцем табачинку с языка и продолжал:

— Я помню, три года назад ты еще этих, — он кивнул на окна пятого этажа, — космополитов защищал. Так, может, врачей тех тоже не было, что людей травили? Не, ты скажи!

— Конечно, не было! Я могу тебе показать — специально газету сохранил, апрель пятьдесят третьего, число не помню. Их всех напрасно держали.

— Интересно... — начал Кеша, и Кравцов уже приготовился к пляшущим девкам, но услышал другое, — интересно у тебя получается: пока Сталин, значит, был живой, так и кулаков, и вредителей, и всех гадов вот так держали! — Кеша вытянул ядреный кулак, — а как помер, так все они

что, героями стали? Всех, стало быть, отпустить, коли «напрасно держали»?

— Отпустить, — угрюмо ответил Мишка, — не виноваты они.

— Невиноватых не содют!.. Че-то вот ни меня, ни тебя не посадили, верно? Потому что мы невиноватые. Мы с тобой воевали, а эти, — он ткнул неразжатым кулаком вверх, где бабка-Боцман как раз открывала кухонное окно, — эти в Ташкенте отсиживались.

Кравцов задохнулся от негодования. Кеша смотрел на него, чуть сощурился, а сверху неслось пенье сверхъестественной красоты:

Летите, голуби, летите,
Для вас нигде преграды нет...

Михаил вытащил новую папиросу, но не закурил, а начал разминать в пальцах; медленно заговорил:

— Ну да, в Ташкенте. Который прямо под Сталинградом находится. Где армией командовал генерал-майор Крейзер, а полковником был Соломон Кац. А сколько солдат... В одном окопе со мной... Я Семке Левину и Борьке Фишману сам копал могилу; их родители в другом Ташкенте грелись — в минском гетто.

Замолчал, однако папиросу не закурил, продолжал держать. Оба одновременно повернули головы к льющемся звукам:

...В лучах зари и в грозной мгле,
Зовите, голуби, зовите
К труду и миру на земле.

— Я против ихней нации ничего не имею, — неохотно обронил Кеша, — а только на войне ни одного... — проглотил слово, — не встречал.

— А ты на каком фронте воевал? — спросил Кравцов и удивился, что раньше разговор об этом не заходил.

— Я шофером был, — Кеша сбил мизинцем пепел, — майора возил. Сегодня здесь, завтра... где прикажут.

— В каких войсках-то? — допытывался Мишка.

Еще один щелчок — и в руке у Кеши осталась погасшая папироса. Внимательно глядя на нее, а не на собеседника, он коротко ответил, точно ящички рухнули:

— НКВД.

С того разговора прошло два месяца, и Кеша нет-нет да и возвращался к нему. Он сказал, что думал, и добавить было нечего. Мишка-то гусь какой: курить не стал, а просто повернулся и пошел домой. А ведь не еврей — тех сразу видеть; однако ж заступает, как за дорогих родственников. Мешало другое: Мишка знал то, о чем он, Кеша, не знает, а вот что именно, теперь можно только гадать, потому что он перестал курить во дворе. Сколько раз он видел костлявую Мишкину фигуру — свесится в окно и курит. Кеша нарочно возился в гараже — вдруг выйдет; потом плюнул и перестал ждать. Встречаясь на лестнице, бросали друг другу: «Здорово!» — «Здорово», вот и весь разговор.

А тут еще, как снег на голову, соседи подвалили, прямо в их квартиру, здарсьте-пожалуйста, какая-то баба со взрослым сыном. Серафима — умница, встала в дверях и вежливо так: я, говорит, без официального лица не могу вас допустить в квартиру, извините. Баба пожал плечами: «Прошу

прощения», и — задний ход. А как ушли — началось: я-тебе-говорила-не-надо-было..., и Кеша не успел чихнуть, как сидел уже в выходном костюме в приемной исполкома, послушно вспоминая, что и в каком порядке следует говорить.

Приемная была битком набита, но Кешу это только обрадовало: надо послушать, что люди говорят, хотя говорили разное и по-разному.

- пять человек на двенадцати метрах...
- она говорит: нет оснований, мол...
- у меня и документ есть...
- вот так антресоли, над самыми дверями...
- а на ночь стол собираем, ставим раскладушку...
- он ей: я в Москву писать буду!..
- с маленьким ребенком в подвале...
- сначала прописали — думали, быстрее дадут...
- утром складываем раскладушку, ставим стол...
- кто говорит, надо в лапу дать...
- они антресоли в общую площадь посчитали, видал?!
- нет оснований, говорит...
- а теперь пять человек на двенадцати метрах...
- подвал, с маленьким ребенком...
- ходил-ходил, тихий такой, все молчком...
- а он помер, так теперь опять нет оснований...
- вот так дверь, а сверху антресоли...
- так он отдельную квартиру получил, где хлебный...
- в лапу дал, само собой...
- двенадцать метров на пять человек...

Кеша чувствовал себя, как одетый в бане среди голых. Галстук впивался в шею, но он боялся пошевеливаться. Назойливые голоса звучали то громче, то тише, особенно ког-

да речь шла о «лапе», в которую следовало дать. Серафима и это предусмотрела («конверт не открывай, так и положи!»), и теперь ему казалось, что сквозь плотный габардин каждому виден чертов конверт. Иди знай, берет она или не берет, в который раз прокручивал в голове Кеша, ведь если бы брала, че они тут сидели бы?.. И с неожиданной злостью представил жену: сидит в халате, проверяет тетрадки, а я тут парься. В этот момент секретарша громко назвала его фамилию, и Кеша двинулся тяжело и обреченно, словно за дверью сидел инспектор ОРУДа.

Домой он возвращался быстро, в злом и веселом настроении. Серафима Степановна что-то учуяла и потому медлила с вопросом, но Кеша все равно ответил: *нет оснований* проживать вдвоем в четырех комнатах, и все тут. И где работал, не имеет значения, больше вы там не работаете; вопрос исчерпан. Последнее слово он донес до жены не без труда и повторил с неосознанным удовольствием, после чего шваркнул на стол конверт, который не велено было открывать, и отправился пить пиво, что было само по себе из рук вон, а вернулся одновременно с появлением новых соседей, которых сопровождал на этот раз однорукий управдом.

На следующий день они вселились «на законном основании», лишив супругов Головку кабинета и девичьей комнаты. По правде говоря, в девичьей стояла только гладильная доска, а в кабинете сохранился узкий старомодный письменный стол госпожи Нейде, за которым Серафиме Степановне все равно было тесно, так что тетрадки она проверяла в столовой. Кеша озабоченно сновал между столовой и кабинетом: здесь, в нише за печкой, где лежат дрова, он всегда держал «маленькую».

Лидия Павловна Краневская с сыном Антоном приехали из Москвы. Лидия Павловна, энергичная дама лет сорока, была высокой и худощавой, седеющие русые волосы укладывала греческим узлом, носила черный или темно-серый костюм с шелковыми блузками и считалась одним из лучших архитекторов — специалистов по реставрации старинных зданий. Десятилетний Антон, хоть и студент, выглядел обыкновенным долговым шалопаем, и когда не был в университете, валялся на только что купленном диване или тренькал на гитаре. Ладно бы на баяне или аккордеоне; так нет — на гитаре, как цыган! И мать, и сын курили, но если Лидия Павловна почти все время проводила на работе, то Антон по большей части торчал дома. К нему повадились ходить дружки, такие же бездельники, по мнению Серафимы Степановны, как он сам. Стиляги. А уж песни, песни... По радио такое не поют. Сидят и гундосят про какого-то Леньку Королева: не поют, а просто слова проговаривают. Ни складу ни ладу.

Июньским воскресным утром Лариса Ганич собирала вещи, как всегда делала перед выездом на дачу. По радио звучал «Школьный вальс», хотя выпускники уже отвалировались и разъехались — кто-то, может быть, и на дачу, куда Ганичи в этом году, увы, не едут, зато Лариса с дочкой едут в Крым, и не на каникулы, а надолго. Маленькая Ирма, родившаяся за неделю до войны, будет учиться в восьмом классе не здесь, а в Евпатории, лежа в гипсовом корсете, и как долго продлится эта временность, никто не знает. Костный туберкулез диагностировали поздно; если бы три года назад, обошлись бы корсетом, выездами на курорт —

да в ту же Евпаторию. Однако три года назад доктор Ганич, уходя по утрам на работу, вовсе не был уверен, что вернется домой, особенно после разговора в отделе кадров, куда его вызвали прямо из кабинета.

Помнил тот день, как сегодняшний. Больные в коридоре примолкли, увидев его выходящим из дверей с тоненькой блестящей штучкой в руках, и все смотрели как завороченные, когда доктор сунул ее в нагрудный карман халата, на манер авторучки.

Кадровик не спешил. Приветствия он, очевидно, не услышал — рылся в ящике письменного стола, потом читал найденную бумагу, подписывал ее, ставил печать... Крутанул ручку сейфа, зашелестел бумагами. Ганич рассмотрел узкое выбритое лицо, опущенные уголки губ, скромный светлый зачес, аккуратно распределенный по сторонам пробора — справа побольше, слева поменьше — и крепкую грудь в пиджаке с орденской планкой. Подавив раздражение, начал было:

— Если я вам не нужен...

Кадровик перебил:

— Заходите, товарищ Ганич, садитесь. Имею к вам вопрос, — полистал бумаги в папке, — смотрю вот... Вы ведь в тысяча девятьсот сорок первом году, — кадровик тщательно проговорил каждое слово, — подлежали военному призыву; ведь так?

Вопрос был риторическим, но Ганич ответил:

— Да. Был призван и зачислен рядовым в территориальный стрелковый корпус.

— Воевали?

Кадровик знал ответ, но выжидательно смотрел на Ганича голубыми девичьими глазами.

— Нет, не довелось; корпус был передислоцирован и частично расформирован.

— Во-о-от как, — заинтересованно протянул кадровик, — и по какой же причине вас... — сделал паузу, поправился: — по какой же причине вы не попали в действующую армию?

— Рядового не ставят в известность о причинах. Вам лучше бы справиться в военкомате.

Вадим встал. Что-то звякнуло в кармашке. Скосив глаза, он увидел шпатель, удивился, вынул — и засунул обратно. Поменять квартиру, уехать в маленький город, вот как Гольдберг; куда угодно. Да хоть в поликлинику на полставки; плевать.

— Одну минуточку, — кадровик опять потянулся к сейфу, — попрошу вас заполнить анкету, — и протянул бланк, второй рукой указывая на пустующий стол с приклепанным зеленым картоном.

— В январе текущего года, — Ганич изо всех сил сдерживал ярость, — я заполнял точно такую анкету. За полтора месяца в моей жизни ничего не изменилось. А теперь я должен вернуться к своим прямым обязанностям.

При его появлении возбужденно гудевшая очередь притихла и загудела снова, как только он закрыл за собой дверь кабинета. Наверное, больные почувствовали его настроение, потому что послушно исполняли весь ритуал: вовремя открывали и закрывали рот, полоскали, сплевывали, после чего с облегчением покидали дерматиновое кресло.

Он был уверен, что на следующий день увидит на стенке приказ о своем увольнении. Приказа не было. Не было его и на третий день, а вечером Лариса села, как обычно, на подлокотник кресла и положила руку ему на лоб:

— Перестань маяться — напиши заявление *по собственному желанию*, прямо с завтрашнего дня. Как-нибудь проживем.

Пятого марта Вадим пришел на работу с заявлением в кармане, но забыл о нем начисто, потому что начался все-народный траур по корифею всех наук, включая стоматологию, и люди плакали отнюдь не от зубной боли. Когда же скорбь пошла на убыль, никто не настаивал на заполнении анкет, заявление *по собственному желанию* больше не совпадало с желанием, и никуда не надо было ехать.

...Ехать нужно было послезавтра, и не в абстрактный маленький городок, а в Евпаторию. Лариса предполагала снять какое-то жилье — сдают же курортникам; а там, быть может, и на работу куда-нибудь устроиться, в любой санаторий.

Сколько ни собирай вещи, непременно что-то забудешь; а где билеты?! Билеты у Вадима, и он поминутно проверяет, не потерял ли. Сын досрочно сдал сессию, приехал помочь и всем мешает, но и смешит всех, разбавляет смехом общую тревогу. Никогда не скажешь, что брат и сестра: у Юлика русые волосы и карие глаза, он по-спортивному крепок; Ирма — черноволосая и худенькая, а сероглазое лицо усыпано веснушками, которые огорчают ее сильнее, чем больной позвоночник. Почему, почему, в который раз задавал себе вопрос Ганич, дети медиков так тяжело болеют?! Был бы жив отец, он бы заметил, распознал; но старый педиатр умер за год до «дела врачей», когда девочка была здорова...

Так быстро пролетели последние полтора дня, словно закрыл на минутку глаза, а открыл уже на перроне, куда сей-

час подадут киевский поезд; в Киеве предстояла пересадка на Евпаторию. Зато прощание тянулось долго и бестолково, так что, когда проводник в третий раз предложил «провожающим покинуть вагон», стало даже легче.

На перроне Вадим и Юлик вели себя, как все провожающие: махали, тревожно поглядывали на флажок проводника и шевелили губами, настойчиво и безмолвно артикулируя слово «пишите», а стоящие внутри вагона так же безмолвно кричали: «Пишите!», словно это не говорилось бесчисленное число раз.

Наконец, поезд тронулся, и чем быстрее он набирал ход, тем медленнее махали поднятые руки.

В это время на параллельный перрон прибыл поезд из Ленинграда. В числе пассажиров оказалась женщина с обветренным лицом, девочка лет четырнадцати и высокий юноша, судя по всему — брат. В руке он нес старомодный кожаный чемодан, явно помнивший лучшие времена. Женщина с детьми ничем не напоминали жителей Северной Пальмиры и, судя по одежде, прибыли из более холодного климата. Их никто не встречал, кроме родного города, который тоже не вышел навстречу, а, наоборот, словно попятился в недоумении, сконфузившись от вида бедных родственников.

Приехавшие выполнили только часть того, что полагается делать всем прибывшим: сдали чемодан в камеру хранения и сели в такси. Правда, они с интересом оглядывались по сторонам, что входит в кодекс поведения, однако поехали, вопреки ожиданиям таксиста, не в Старый Город и не к набережной, а на ничем не примечательную улицу. Жен-

щина попросила остановиться около пустыря; на чай, впрочем, дала. Выпустив пассажиров, «Победа» с «шашечками» развернулась, прямо под знаком «БЕРЕГИСЬ АВТО», и показала обратно к вокзалу.

— Не понимаю, — Ирма переводила взгляд с пустыря на дом, — здесь ведь... здесь стоял еще один дом?..

— Наш дом, — Эрик смотрел не на пустырь. Взял мать под руку, вторую протянул сестре и двинулся к дому.

На тротуаре мелом были нарисованы «классики». Девочка лет десяти, с аккуратными черными косами, бросила битку — круглую баночку из-под крема. Еще две девочки — одна совершенно восточного вида, с раскосыми глазами и черной прямой челкой, и вторая, со светло-русой кудрявой головой и сползающим бантом — стояли рядом. Баночка заскользила по асфальту в сторону газона, и кудрявая закричала:

— Все, теперь моя очередь!

Почти одновременно сверху раздался зычный бас:

— Илька, Лилька! Домой! Шо такоэ?..

Девочка отбросила черные косы назад и пошла к крыльцу, с любопытством оглянувшись на приехавших. Остальные тоже не спешили возвращаться к «классикам», но Ирма уже вошла и стояла напротив доски. *Нейде — Шихов — Гортынский — Ганич — Бергман — Стейнхернгляссер — Зильбер — Буртс — Эгле — Строд.*

Зеркало сверху слегка запылилось, словно облачко пробежало: его давно не касалась тряпка тетушки Лаймы. Так, под слоем пыли, легче было недоумевать, отчего это офицер Национальной Гвардии пришел без формы, и что за очаровательная барышня держит его за руку? В это время лицом

к зеркалу поворачивается... пожилая Ирма Строд; конечно, это она! — и медленно отводит прядь волос со лба, как делала всегда, а потом тем же неуловимым движением чуть-чуть напускает ее на лоб. Госпожа Ирма, конечно; а лейтенант... никак это сын? Эрик; большой маленький Эрик, и копия отца, подумать только...

По лестнице спускается пожилая пара с собакой. Мужчина с седыми усами в одной руке держит поводок, в другой сетку с пустыми бутылками. Женщина приостанавливается у зеркала и поправляет круглую гребенку в волосах, но смотрит не на гребенку, а на зеркальное отражение стоящих людей. Дог нетерпеливо натягивает поводок, сетка задевает стенку, бутылки недовольно звякают, и старуха Севастьянова так же недовольно роняет:

— Проходной двор.

Вот и встретились с домом. На обветренном лице Ирмы видна морщинка, очень похожая на трещину в углу зеркала. Остается подняться наверх — вот их фамилия на доске, никто не стер; подняться и посмотреть... только взглянуть — на дверь, которую они закрыли за собой, уходя пятнадцать лет назад. Потом можно уезжать. Куда угодно, хоть бы и обратно в свой таежный поселок.

Именно так все и получилось бы, если бы из квартиры, которую до войны занимал дворник, не выскочила девочка в матросском костюме и с волосами до плеч. Она крикнула:

— Я мигом, тетушка Лайма!

И остановилась, виновато ахнув: незнакомый парень потирал ушибленный лоб.

— Ой! Я нечаянно...

Не выдержав, прыснула и рассмеялась стоящая рядом с парнем девчонка, примерно того же возраста, что она сама, решила Роберта. С ними была еще женщина, крепко державшая парня за плечо. Женщина повернулась к ней:

— Простите... Ян, дворник, здесь живет?

— Да! — не удивилась девочка, опасливо глянула на уши-бленного, обернулась и прокричала: — Это к вам, дядюшка!

Внучка, догадалась Ирма. Ну да, у них сын был.

Роберта, сконфуженная и красная, помчалась в молочный магазин, дверь в квартиру дворника закрылась, и можно было только гадать, что за нею происходит.

Дом взбудоражен. Беззубая входная дверь по-соседски прошамкала поразительную новость подъезду — под большим секретом, разумеется. Подъезд удивился громко и гулко, сквозняк разнес новость по обеим лестницам, и началась форменная путаница. Это кто же вернулся, жена дантиста? Нет, то Лариса Ганич, они давно съехали, вот как соседний дом разбомбили. А вернулась госпожа Ирма, Ирма Строд, у нее муж в Национальной Гвардии служил. Стройный такой, высокий. Как же, как же, доносится с черной лестницы, помню: у них кухарка рыбу отменно готовила. Не-ет, не у них — рыбу на четвертом этаже готовили, а Ирма на пятом жила, мне ли не знать, гудит вентиляционная труба; как раз у госпожи Ганич. Не кухарка — золото; сейчас таких нету... Можно подумать, хоть какие-то есть, ехидничает черный ход; говорят, нашу дверь совсем заколотят, чтоб ходили только по одной лестнице. Да-а... мечтательно продолжает гудеть вентиляция, а как она запекала щуку, эта кухарка, в таких, помнится, маленьких

горшочках, м-м-м... Поставит горшочек на тарелку — и не-сет трубочисту. Постойте-постойте: это какому же трубочисту? Известно какому — Каспару. Это которого потом?.. Ему, кому ж еще. Другие разве трубочисты? Так... одно название. Халтурщики, вставляет чердачное окно, халтурщики. Вот Каспар был...

Дом возбужден. Он окончательно проснулся. Они возвращаются, говорит дом. Привычно хлопает дверь шестой квартиры, с сожалением вспоминая, как доктор Ганич бесшумно закрывал ее по утрам, как днем выходила его жена, затворяла дверь и поднималась вверх, к своей приятельнице Ирме, которая сейчас сидит за столом у дворника, и — странно представить — они больше молчат, чем говорят. Лайме нельзя волноваться, ей нужен покой, и Роберта не позволяет ей суетиться.

Во дворе, под разросшимся каштаном, взрослый Эрик курит которую по счету папиросу. Какой двор стал маленький, снова и снова удивляется Эрик. Он видел, как легко Майка, его сестра, познакомилась с девочкой в матроске, и завидовал, что не умеет болтать так же непринужденно, как она; отчего-то очень хотелось, чтобы *та* вышла, хоть на минутку...

Они возвращаются, неторопливо шелестит каштан.

Возвра-ща-а-а-а-ют-ся, поскрипывает дверь погреба.

Возвра-возвра-возвращаются, свистит ветер на чердаке, запутываясь в чьих-то развешанных простынях.

Они возвращаются, подтверждает счастливый номер счастливого дома: двойка с облезшей позолотой стеснительно склоняет головку, но гордо выпячивает грудь, зато

единица задирает нос выше некуда и твердо стоит на своем.

Они возвращаются.

Нет, не все: никогда не вернутся *Нейде* — *Гортынский* — *Стейнхернгляссер* — *Зильбер*, с горечью шепчет доска; да и господин Мартин... Он даже имени своего не оставил, господин Мартин Баумейстер. Зеркало заволакивает тень. Никогда не вернется муж Леонеллы, господин Роберт Эгле; не вернется лейтенант Строд... Зато его жена с сыном и дочкой вернулись: они ушли втроем — и втроем вернулись. Когда Лайма вытирает зеркало, то исчезает пыль, но остается самое главное: отражения тех, кто ушел, остается — отпечатком, который сохранится навсегда. Иначе как объяснить, что зеркала со временем тускнеют?..

Девочки разговорились намного быстрее, чем Ирма с Леонеллой. Говорят, англичане для разгона беседуют о погоде, а вовсе не о прописке и не о политике. Погода стоит самая что ни на есть дачная, говорить о политике обе избегали; оставалась прописка. Да что толку говорить о том, чего нет и быть не может? В квартире прописаны совершенно другие люди, какой-то военный с женой, и хоть не живут, но квартира под бронью, что бы это ни означало. Не лает, не кусает, в дом не пускает. Говорилось о каком-то «квартирном отделе», куда непременно следовало пойти, о домоуправлении — там сохранилась домовая книга, где обозначена их прежняя прописка в квартире, ныне бронированной, словно речь шла о сейфе.

Пока Леонелла разливала кофе, Ирма незаметно разглядывала бывшую соседку — они с Ларисой частенько пыта-

лись угадать, сколько же ей лет на самом деле. Между окнами висел портрет, на котором была изображена Прекрасная Леонелла — да-да, вот эта все еще красивая женщина с кофейником в руках. Время не обманешь.

— Сливки? — спросила нынешняя Леонелла.

Ирма наклонила маленький кувшинчик и улыбнулась:

— А помните, как молочник по утрам?..

Оказывается, можно беседовать не только о погоде. Поговорили о детях, как обычно говорят далекие, давно не видевшиеся люди, когда разговор превращается в обмен банальностями: быстро летит время; вылитая мама, вылитый отец. О доме говорить оказалось проще: о жильцах, об уехавшем — к лучшему или к худшему — хозяине, о том, как уютно горела печка в гостиной, когда в окна ломился мороз и, щелкая зубами, отступал. Не касались только самого главного. Для этого обеим нужно было настроиться друг на друга — и на разговор; не получалось. Ирма беспомощно вертела часики на запястье. Пятнадцать лет она мечтала, как вернется в город и войдет в дом. Мечта сбылась. Можно выпить кофе с настоящими сливками, но нельзя объяснить, что сейчас самое желанное место для нее — ненавистный поселок в далекой тайге. Как удивительно устроен человек...

— Я не умею уговаривать, — Леонелла потрогала кофейник и отдернула руку, — однако на вокзал вы всегда успеете. А мне... я получила извещение, что муж умер, но больше ничего не знаю, все эти годы. Бетти думает, — она понизила голос, — что он погиб на войне.

— Бетти? — удивилась Ирма.

— Роберта.

У Ирмы в памяти осталось растерянное лицо Роберта, когда он оглянулся в последний раз. До этого — смутные воспоминания о нескольких встречах на лестнице: приподнятая шляпа, «добрый вечер», приветливая улыбка; или это был нотариус?.. После этого — поезд, когда плакал больной Эрик, они с Бруно по очереди держали его на руках, а потом... Потом Роберт оглянулся в последний раз. Знать бы, что в последний, взгляделась бы пристальной, запомнила бы лучше; так ведь она смотрела на мужа, которого Роберт как раз поддержал за локоть и уже не отпускал, иначе Бруно упал бы прямо на землю. Роберт тоже не видел своей дочери. Румяная смешливая девочка — как сказали бы раньше, юная барышня — ничем не походила на стеснительного и скучноватого господина, но Леонелла смотрела — и ждала чего-то.

— Как же я не догадалась: она ведь очень похожа на отца, — уверенно солгала Ирма, — тот же овал лица и глаза, точь-в-точь...

Ритуальные слова светской беседы прозвучали не так, как вначале: на нее смотрела не только Леонелла, но и Роберт — вот так, вполоборота, как тогда: оглянулся — и замер, не отводя взгляда.

Она сама не заметила, когда начала говорить обо всем сразу, сама себя перебивая, нарушая всю последовательность событий, да и не мудрено: пятнадцать лет прошло. Как ехали сюда: сначала в общем вагоне, потом, из Ленинграда, — в плацкартном. О смерти мужа; о рождении дочери. О «чокнутой» Марии Федоровне — добром ангеле, которая передавала Роберту в лагерь сахар и маргарин. О том, как трескались руки от ледяной воды, болели, не давая заснуть,

потому что трещины кровоточили. О жизни в бараке, словно об этом можно рассказать...

На кухне что-то жарилось, слышались голоса девочек и юношеский баритон. Остывший кофейник стоял на столе и, выжидательно задрав носик, тщетно вслушивался в разговор.

Наступившая осень сменилась зимой, зима старательно принарядила город и привела Новый год, а Новый год принес горе: второго января умерла тетушка Лайма. Умерла не в больнице, а дома, в своем любимом кресле, напротив картины с пареньком у заснеженного камня, которую так любила.

Лайма удивилась бы, насколько кладбищенский пейзаж напоминал ту картину, с той лишь разницей, что вместо простых камней здесь стояли памятники, косо заштрихованные снегом.

Провожали трое: Ян и Леонелла с дочкой. В стороне стояли рабочие с лопатами. По сигналу старшего, маленького пожилого мужичка в заношенном ватнике и причудливой фетровой шапке, начали ровно опускать гроб. Какие длинные полотенца, удивилась Леонелла, и как слаженно эти люди делают свое дело.

Ян стоял с непокрытой головой, в наглухо застегнутом пальто, стоял и молча удивлялся: ведь знал, знал, что в любой момент Лайма может умереть, и уверен был, что привык к этой мысли, а значит, горе не застанет его врасплох. Потом, когда ей делалось лучше настолько, что отпускали домой, отпуская и где-то внутри; страх успокаивался и засыпал. Оказывается, можно привыкнуть к ожиданию, но не

к самой смерти. С дерева упал легкий клочок снега и сел на плечо. Ян не шелохнулся.

Когда начали закапывать, Леонелла опять поразилась, как согласованы все движения рабочих. Из четырех могильщиков двое ушли; оставшиеся молча бросали землю ровными быстрыми тихими взмахами. Закончив, отошли. Маленький стащил шапку; второй торопливо последовал его примеру. Ян расстегнул пальто и решительным жестом отвел руку Леонеллы. Бетти плакала.

— Спасибо вам, — говорил рабочий, — земля-то замерзши, а покойник — он ждать не может, — сунул деньги в карман и кивнул напарнику.

Тот расправил еловые ветки на свежем холмике. Леонелла машинально перевела взгляд с его рук на лицо — и уронила цветы. Нет; не может быть. Так не бывает.

Человек недоуменно взглянул на нее, нахмурил ровные шнурочки бровей так, что они почти сошлись у переносицы, потом натянул глубоко на лоб вязаную шапочку и пошел вслед за товарищем. Замедлил шаг, обернулся и еще раз посмотрел на женщину — та как раз собирала рассыпанные розы; укололась. Подбежала дочка.

— Савельич, — донеслось спереди, от тропинки, — идешь, что ли?

Дома Леонелла зажгла свечу. Надо бы спуститься к дворнику, но не было сил. Лицо горело, а тело бил озноб. Батареи едва грели. Затопила печку, подождала, пока займутся большие поленья, потом достала из бюро толстую пачку чистых почтовых открыток и медленно скормила огню.

Конечно, это никакой не Громов, а просто-напросто похожий человек. С бородой к тому же. Савельич, она сама слышала; а Громов был Константин Сергеевич. А даже если... Что — если, спрашивала сама себя, зная ответ. Да, могло быть и так: пересидел войну на кладбище, потом не рискнул явиться к своим. Главное, спрятался от нее... среди покойников. А что Савельич... Если сумел спрятаться сам, то имя скрыть не хитрость.

Озноб прошел. Лицо горело еще сильнее от печного жара, но казалось, от стыда за собственные терзания: обмирала от страха за него, ждала — и снова мучилась страхом: жив ли? Где? А он сбежал — и жил! Зато Роберта больше нет. Тот, сбежавший, отнял у нее мужа; если не он, так другие, в таких же фуражках. Отнял у нее, у дочери, у Ирмы... а у скольких еще?

Пусть остается среди мертвецов; сам хуже мертвого.

Руки тоже наконец согрелись. Закрывает бюро. Скорее всего, обыкновенное сходство; чего не бывает в жизни. Хотела бросить в печку растрепанную книжку «Марта идет в школу», но передумала: Бетти ее очень любила.

Макарыч отсчитал Тихону половину.

— Подумай, только дочка с внучкой. Больше никого из родни. А може, далеко живут или что...

Напарник невнимательно кивнул и направился к сто-рожке. Печурка погасла. Топить не хотелось. Лег, набросив на одеяло ватник для тепла и скоро согрелся, хотя долго не засыпал. Нужно было вспомнить что-то важное, но мешала головная боль. Она растеклась по всему лбу и не давала уснуть. Тихон поднялся, намочил полотенце, чуть отжал,

чтобы не лило, и осторожно улегся на спину, положив мокрое полотенце на лоб. Несколько раз переворачивал его, и в какой-то момент боль зазевалась самую малость; он задремал. Во сне продолжал вспоминать то, что ускользало, но все внимание отвлекала женщина — она укладывала на свежую могилу ветки сирени. Почему сирень, удивлялся Тихон, откуда сирень — январь на дворе, но ясно видел пышные лиловые гроздья на снегу.

Весну дядюшка Ян провел в хлопотах. Несколько раз пришлось съездить в деревню, пока наконец не добился толку от сельсовета. Ездил он по воскресеньям, а сельсовет у них вроде домоуправления: тоже отдыхать любит.

Домоуправление, к счастью, поближе, да и дело попроще: отдать однорукому заявление. Шевчук начал уговаривать, однако дворник покачал головой. Нет.

— Где ж я замену тебе найду? — вконец расстроился управдом, но заявление подписал.

А замена тут как тут, сама нашлась, и ходить далеко не надо — прямо за стенкой дворницкой квартиры, где прежде располагалась привратницкая. Клава рассудила, что справиться с работой дворника не хуже старика, которому давно пора на покой. Когда же управдом заметил, что скалывать с тротуара лед не женское дело, та ответила пулеметной очередью слов, что, мол, у нас все равны, что мужчины, что женщины, да и сколько там его, этого льда; что сама она давно в коммунальном хозяйстве работает — белье в прачечной принимает-выдает, а если придется лед колоть, так муж мой, Федор, по крайности подмогнет, так что Шевчуку ничего не осталось, как подмахнуть еще одно заявление, на этот раз Клавино.

Ни дворник, которому осталось доработать последние две недели и упаковать немногочисленные вещи, ни управдом Шевчук не знали, как давно и трепетно Клава ждала своего звездного часа, до которого теперь оставалось каких-то две недели. Пускай однорукий льдом пугает — песочек и соль у нее найдутся; кому надо, стороной обойдет, ну, а по крайности и Федя постучит ломиком. В прачечной, известное дело, легче, хотя чужие подштанники пересчитывать тоже не сахар, однако ж главное было не ломик и не подштанники, а — квартира. Что ж, Виктории вот уже девять будет, малышу только-только три исполнилось, и хоть Федя на своей железной дороге давно стоит на очереди, чтоб квартиру получить, тут жилплощадь сама в руки идет. Клава представляла, как из нынешней комнаты сделает «залю» (плиту можно отгородить или завесить), а там, где сейчас живет дворник, будет спальня, тем более что кухня отдельная. Все как у людей, по крайности.

Она враз уволилась из постылой прачечной и что ни день заглядывала в ближний магазин тканей — прикупить тюля на занавески в новую (точнее, во вторую) квартиру, а потому не обратила внимания на маленькую изящную женщину, которая вначале пришла со смотровым ордером, а во второй раз уже с пропиской. Без всякого тюля.

Надо бы караул кричать, звать на помощь, и Клава бросилась в домоуправление: где же правда?! Шевчук сначала не понял, а потом единственной рукой развел: так это не ко мне — иди в квартирный отдел. Кинулась Клава туда, да с чем пришла, с тем и ушла, да еще нахлебалась всякого. Мол, вы что же это, на двух стульях сидеть хотите? Вам пре-

доставили жилплощадь, вы изъявили согласие... И пошла-поехала.

— Так ведь квартира-то дворницкая! — завопила Клава.

Ей тут же и разъяснили, что дворник выписался, а освободившаяся жилплощадь предоставлена матери-одиночке, в порядке очереди; вопросы есть?..

Мать-одиночка вселилась без всякого ребенка, зато с каким-то солдатом, и вселилась так стремительно, что дворник даже мебель не успел забрать. Старик приходил несколько раз, целовал замок и ждал на лестнице, пока явится эта одиночка. И главное, без скандала и шума, все с улыбочкой. Слов Клава не поняла, а только ясно было, что красотке страсть как не хочется мебель отдавать. Где ж, интересно, ейный ребеночек?..

Ян распорядился очень просто. Отдал Леонелле обе картины и уговорил приютить столовый гарнитур с люстрой. Оставил свой адрес: если вдруг объявится... Оба знали, что речь идет о господине Баумейстере, и оба были почти уверены: не объявится.

Корзинку с Лайминым рукоделием попросила Бетти, и Ян с радостью отдал. Отвез на хутор несколько узлов с хозяйственной утварью. Сговорился с Мишей Кравцовым перетащить мебель наверх — он хоть и худой, но жилистый, однако перед этим мебель пришлось выдирать из цепких изящных рук новой жилички.

Дворницкое хозяйство передал соседке Клаве.

Зашел попрощаться к Шевчуку, пожали друг другу руки.

— Кто у тебя в деревне-то? — не удержался управдом.

— Сын, — ответил Ян.

Осталось самое трудное.

Обошел примолкший дом — даже шестая квартира затихла неведомо почему. С пустого балкона четвертого этажа попрощался с каштаном. На крыше сарая неподвижно сидела кошка Гойка и смотрела прямо на него. Снизу, из открытого окна, слышались звуки гитары. Юношеский голос медленно подбирал слова:

...на кухне кран
И снял ключи с гвоздя,
В холодный сумрачный туман...
...холодный сумрачный туман...

Хорошо поет парень из второй квартиры, напрасно учительша жалуется. Бывший дворник облокотился на перила, что-то неслышно бормоча. Весь дом, от чердака до подвала, прислушивался — то ли к его бормотанию, то ли к песне:

...Горит невыключенный свет
И капает вода...

Через час мой поезд, оправдывался Ян, опаздывать нельзя, а то поезда редко ходят.

Ты вернешься?

Нет.

Гитара забренчала более уверенно:

Когда уходит человек
На час иль навсегда,

Горит невыключенный свет
И капает вода,
Хоть он закрыл на кухне кран
И снял ключи с гвоздя,
В холодный сумрачный туман
Поспешно уходя.

Внизу Ян задержался у зеркала, помедлил несколько секунд, потом надел шапку и взялся за ручку двери.

А как же я?..

Зеркало пытливо смотрело, как высокий старик с гладко зачесанными седыми волосами протянул руку к двери — и остановился.

Кто-нибудь вернется.

Голос становился громче, а гитара, наоборот, зазвучала приглушенно:

...В тумане скрылся человек,
Ушел он налегке,
Но след остался на траве,
Перчатка на песке,
А дома — недопитый чай
И сигаретный дым...
Ушел на день или на час —
Назад пришел седым.

Успел. Сегодня понадобился билет только в один конец. Обрывки странной песни перестали звучать, только когда подошел к хутору. Отпер дверь, вошел. Не снимая пальто, завел старые часы, и когда раздалось хрипловатое тюканье,

снова ожила гитарная мелодия, но слова не складывались — помнил только про ключи и туман, да что назад вернулся.

Через несколько минут Ян уже поднялся по невысокому косогору. На кладбище никого не было, снег сошел, и пробивалась уверенная молодая травка. Остановился у небольшого холмика под простым некрашеным крестом и снял шапку.

— Здравствуй, сынок.

ЧАСТЬ 5

Либеральные шестидесятые ничего не изменили в судьбе Старого Шульца. Человеку легче полететь в космос, чем выйти из лагеря, если в обвинительной статье имеется слово «шпионаж», с горечью думал Макс. Правда, письма стали приходить чаще. На почтовом ящике была наклеена только одна фамилия: «Бергман». Этого хватало, чтобы квартирные власти зашевелились. Начали появляться какие-то инспекции, и, что характерно, всякий раз их состав менялся. Так тянулось полтора года, а потом, вызванный телефонным звонком среди ночи, Бергман прооперировал женщину с запущенной фибромой матки, едва ли не превышающей размеры самой матки. Муж больной оказался какой-то важной райкомовской шишкой — его немногословная благодарность выразилась кратко, но весомо: квартирные инспекции внезапно прекратились.

Жизнь вне работы становилась все более кудей и почти стариковской, как решил бы Макс, если бы речь шла не о нем, а о ком-то другом. Точно так же, наблюдая себя со стороны, удивлялся иногда одиночеству этого шестидесятилетнего человека — вот как сейчас, когда знакомый силуэт

отразился в широкой витрине «Военторга». Макс остановился и поправил шляпу. Человек в витрине одновременно сделал то же движение, только левой рукой, словно двое добрых знакомых обменялись приветствием. Здравствуйте, господин Бергман. Любезности можно опустить. Вы все еще один.. Если бы с вами шла женщина, она окинула бы требовательным взглядом ваше общее отражение и, отпустив на минуту вашу руку, поправила бы шляпку. Или шапочку, или просто волосы. Дамы перестали носить шляпки, и Макс не заметил, когда это произошло, словно шляпки сдуло, как ветер сдувает осенние листья с деревьев.

Сейчас трудно было представить, что некогда этот молодой шестидесятилетний человек был изрядным повесой. Бравада и цинизм в любви, которые господствовали среди студентов-медиков, его отталкивали, хотя к своим связям он относился примерно так же, как к деньгам: легко и просто, не затрудняясь счетом и не сожалея о тратах. Как-то раз, проснувшись позднее обычного, он обнаружил на подушке, все еще хранившей вмятину от головы, маленькую золотую сережку, и опустил в карман пиджака, намереваясь сегодня же вернуть, но замер, с зубной щеткой во рту: кому?! Мятный вкус порошка обволакивал рот, в голове было холодно и пусто, словно зимний ветер выстудил комнату. Помнил изящное маленькое ухо и рыжеватую прядку волос, которую барышня заправляла за ухо, но прядка тут же выскальзывала, чтобы прильнуть к щеке. Помнил нежную припухлость розового соска, как у широкобедрых красавиц Тициана. Смятение пронизало холодом, как мята: он, со своей тренированной медицинской памятью, не мог вспомнить имени, хотя накануне не был пьян — просто не

потрудился запомнить, и это было самое страшное. Барышня была из круга его знакомых; чья-то кузина?.. Несколько недель после того утра он пытался поймать ожидающий взгляд, услышать шутовское напоминание или намек; тщетно. Значит, рыжеволосая чаровница тоже не помнила его — другого объяснения не было. Летом повстречал на взморье приятеля, который с гордостью представил ему свою невесту, чье имя Макс к тому времени вспомнил, но невольно взглянул на уши, оснащенные парой серег. Барышня улыбнулась с приветливым равнодушием и знакомым движением поправила волосы.

Бергман не любил вспоминать об этом. Мужчина в стекле нахмурился и поднял воротник. «Военторг» незаметно остался позади, и он стоял перед магазином подписной литературы, где объявлено собрание сочинений Голсуорси. Непонятно, сколько лет пройдет, пока напечатают последний том. Можно и не дожить, кольнула неприятная мысль. Прямо перед ним в глубокой витрине китайской стеной тянулся ряд коричневых томов с золотым тиснением: ЛЕНИН. Впереди сутулился гипсовый бюст автора. Кому хватит жизни прочитать сорок пять томов?

По тротуару за спиной Бергмана шли прохожие. Двойник с витринного стекла смотрел на мелькающие женские лица, которые казались одинаковыми, как повторяющийся тисненый профиль вождя на книжках. Тогда, в молодые годы, точно так же мелькали и бесследно исчезали, не запоминаясь, имена и лица ласковых подруг, оставив мозаику, где перемешались завиток волос, родинка, след помады на чашке, забытая сережка. Между тем жизнь, помимо работы, составляется из все более коротких вечеров, а когда нако-

нец встречаешь женщину, чье имя не можешь забыть, она живет совсем другую жизнь, где тебе нет места.

От людского потока за спиной отделилась женская фигура и медленно направилась к нему. Бергман не сразу осознал, что Леонелла внутри магазина, машинально обернулся и только потом бросился к двери.

Когда видишь человека каждый день, разговор начинается легко и непринужденно, но с перерывом в семнадцать лет не может не вырваться фраза: сколько лет, сколько зим! — хотя знаешь точно сколько. Для разгона можно поговорить о погоде, по примеру англичан, тем более что Леонелла только что подписалась на Голсуорси, а семнадцать лет назад, когда виделись в последний раз, тоже было прохладно.

Леонелла взяла его под руку так естественно, словно делала это каждый день. Они свернули на бульвар с шелестящими под ногами листьями; дальше начинался Старый Город. Зажглись фонари.

Кафе носило какое-то модное космическое название; Макс не запомнил. В ранний вечерний час внутри было малоллюдно, и они заняли столик у окна.

Он заметил, что Леонелла поменяла прическу. Челка и короткие, только-только прикрывающие уши, волосы делали ее моложе. Голубой вязаный шарф, родственник шапочки, шел к ее глазам, усталым, но не постаревшим. Или Бергману так казалось? Чтобы не смущать пристальным рассматриванием, переводил взгляд на картину, где над каналом сквозь туман темнел знакомый мостик, то на столик — вместо скатерти он был наивно украшен бумажной салфеткой, вырезанной по трафарету наподобие снежинок, которые вырезают под Новый год.

Кофе оказался горячим, и Бергман по-мальчишески радовался, что можно продлить неожиданную встречу. Буфетчица принесла для Леонеллы шоколадное пирожное, похожее на аккуратную могилку. Сходство усугублялось тонкой пластинкой шоколада, опирающейся на холмик из крема.

Говорила главным образом Леонелла — вернее, отвечала на его вопросы, и каждый ответ если не приближал их друг к другу, то зачеркивал, по крайней мере, год за годом время — от Кайзервальда до сегодняшнего осеннего вечера, так что можно было притвориться, будто виделись совсем недавно.

— ...да уж невеста, — продолжая говорить, Леонелла копнула пирожное ложечкой, — двадцать один год; я никак не могу привыкнуть.

Вошли двое парней, по виду студенты, и с ними девушка в туго перетянutom пальто. Стало громко и холодно.

— Дверь кто будет закрывать? — протяжно крикнула буфетчица, но Макс уже поднялся и шагнул к выходу.

— Бетти, должно быть, в институте? — спросил, вернувшись за столик.

— Техникум окончила. Работает по распределению на «Искре». Тоже экономист, как отец.

Про Роберта он уже знал. Леонелла рассказала о приезде соседки Ирмы с детьми и бесплодной попытке вернуться в дом.

— Ей объяснили, что квартира, мол, ведомственная. По моему, дело не в этом — просто не хотят прописывать.

— А где она сейчас?

— Устроилась работать на взморье, в какой-то дом отдыха; ей с дочкой комнату дали. Сын пошел на завод — там хотя бы общежитие.

И добавила:

— Она очень славная, Ирма. Я совсем не знала ее прежде.

Я люблю вас, хотел сказать Бергман, но сказал другое:

— Разве мы знали что-то друг о друге... прежде? Правда, я был знаком с доктором Ганичем, дантистом. Вы встречаете его? Они на четвертом этаже; вот квартиру забыл...

Выяснилось, что Ганич давно живет где-то в другом месте. Учитель тоже, хотя учитель появлялся и собирался переезжать, но что-то помешало, видимо...

— Давайте, еще кофе закажем? А то мне это пирожное не одолеть, — Леонелла засмеялась.

Как он мог столько лет жить без ее смеха?!

— С тех пор как Лайма умерла, — Леонелла подцепила шоколадную розу из крема, — и дядюшка Ян уехал, дом очень изменился. Вот придете, сами увидите. Если бы не привычка, я тоже сменила бы квартиру, честное слово.

Народ прибывал — в основном, молодые пары. Он подал Леонелле пальто. Дважды проверил, не выронил ли случайно из кармана блокнот: там был записан номер телефона, который он и так сразу запомнил.

На улице было темно, холодно и безветренно. Ветка клена перечеркивала тусклый фонарь, на ветке неподвижно торчал лист со скрюченными, точно обуглившимися, краями. Из-за угла вывернуло такси. Внутри пахло табачным дымом. Как назло, все светофоры приветливо включали зеленый, поэтому доехали печально быстро. Милая, подумал он, подавая Леонелле руку.

Очень не хотелось уходить.

— Так смотрите же: мы с дочкой будем ждать!

А вот возьму и позвоню, подумал Бергман. На Рождество, например.

Он поднял глаза на освещенные окна и спросил:

— Скажите, а... кто теперь рядом с вами, где жил нотариус?

Леонелла досадливо поморщилась:

— Представьте: опять жида.

Каждое лето Штейны отправляли детей к родственникам на Украину. Родственники — пожилая бездетная пара, Дуся и Наум, души не чаяли в близнецах и сразу же начинали их безудержно кормить. К этому действию супруги истово готовились весь год, и, если бы не быстротечность трехмесячных летних каникул да беготня с соседскими детьми, по недосмотру тети Дуси, боявшейся отойти от плиты, страшно представить, чем бы это могло кончиться. Любящие родственники регулярно приезжали в гости к Штейнам, обычно ближе к зиме. Примерно за неделю до этого события с антресолей снимали портреты тети Дуси и дяди Наума, обтирали пыль и вешали в гостиной. Глаз быстро привыкал к родным упитанным лицам, и казалось, портреты висели всегда. Когда родственники уезжали, портреты отправлялись обратно на антресоли, и какое-то время взгляд недоуменно блуждал от одной акварели со Старым Городом к другой, словно пытаюсь отыскать за тонкими стрельчатыми шпилями солидные, полнокровные лица тети Дуси и дяди Наума.

В год своего четырнадцатилетия Илька и Лилька подняли бунт на корабле и категорически отказались от поездки на Украину. Яков Аронович едва успел подать заявление, чтобы получить две дачные комнатки на взморье. «Главное — све-

жий воздух, — часто повторяла Аля. — Летом у меня учеников нет, а детям необходим свежий воздух». На самом деле она была обеспокоена не столько свежим воздухом, сколько сомнительной, на ее материнский взгляд, компанией — дочкой новой дворничихи, которую видела уже болтающей с Илькой, а где Илька, там и Лилька, и чем балду гонять с этой... Викторией, лучше бы поехали к Дусе с Наумом.

Виктория была ровесницей близнецов, но школу бросила и пошла ученицей на трикотажную фабрику. Она часто слонялась во дворе или стояла в дверях черного хода. Виктория завивала волосы, носила пышные юбки, туго стянутые в талии, которая, надо признать, у нее наличествовала, равно как и все остальное. Чаще всего она стояла, прислонившись к двери, лузгала семечки и смотрела в одну точку круглыми зелеными глазами. «Здрассьть», — говорила она и привычно стряхивала с юбки подсолнечную шелуху. Около нее постоянно вились лоботрясы из ремесленного училища, которые теперь беспрепятственно заходили во двор, так что дача на взморье оказалась как нельзя кстати.

Летом в квартире Штейнов стало непривычно пусто: Аля с детьми жила на даче, Яков Аронович целый день работал, и бабка-Боцман, непривычная к бездеятельности, коротала время вязанием, яростно отгоняя кошку, норовившую улечься на начатый свитер: «Шо такоэ? Для тебя положено?..». Младшая дочь Софа давно вышла замуж и уехала с мужем на Дальний Восток. Старуха вздыхала, откладывала спицы и бралась писать письмо.

Телеграфистка Ия тоже вышла замуж, но кошмарные видения Леонеллы, связанные с этим событием, не оправдались, потому что Ия переехала к мужу. Прощаясь, нежно

расцеловалась с обеими и так пылко приглашала в гости, что невозможно было усомниться в искренности приглашения. Да и вообще соседи становятся намного симпатичней, когда перестают быть соседями.

Изредка появлялся капитан очень дальнего, по-видимому, плавания, всегда нарядный и подтянутый, неуязвимый для времени; в последний раз возник из морских далей под руку с новой женой. Следует отметить, что не только с новой, но и с молодой — хорошенькой блондинкой, с пухлыми губами, припухлыми веками над голубыми глазами и хриловатым голосом. Капитан не задержался и в этот раз, а скоро отправился в очередной рейс, за что Мишей Кравцовым был наречен Летучим Голландцем.

Шумно разрасталось население шестой квартиры. Беременная Соня поделилась с дворничихой заветной мечтой: «Матерям-героиням совсем другая площадь положена, не говоря что пособие. Кабы я скоко раз не скинула, жили бы, что цари». Горобец, давно оставивший привычку курить на балконе, тоже надеялся на какое-то пособие и ждал очередной годовщины великой Победы, которая — он точно знал — должна была одарить фронтовиков неслыханными льготами. Теперь он проводил основное время в сарае, изредка поглядывая на ненавистные окна «жидовни», и силился понять, откуда Штейн прознал, что он служил в похоронной команде?..

Насколько оглушительно гремела шестая квартира, настолько же тихо и незаметно жила соседняя, под номером семь. По всей вероятности, это определялось вечным ларингитом Шлоссберга: даже ученики, которых Иосиф Моисеевич натаскивал у себя дома по математике, начинали гово-

рить почти шепотом. Его жена вышла на пенсию и уже три года нянчила внучку — единственное существо, непринужденно говорившее в полный голос, — громче, чем диктор телевидения. Никто в доме не заметил, как тихая застенчивая Инна стала матерью-одиночкой.

Молчаливый и строгий Дергун больше не заведует комиссионным магазином, да и вообще ничем не заведует, ибо содержится под следствием. Блондинка пропала еще раньше, и можно было только гадать, кто будет здесь жить дальше, а пока на дверях повисли печати.

Милые улыбчивые Нурбердыевы здесь больше не живут: они переехали туда, где разводят тонкорунных овец — тех самых, о которых технолог знал практически все. Поскольку присутствие этой семьи в доме было почти не ощутимо, то никто, казалось, не должен обратить внимание на отъезд; однако говорили о них часто. Завязались споры, куда именно они уехали: Миша Кравцов утверждал, что в Казахстан, поскольку как раз там разводят этих, каракулевых; дворничиха Клава говорила, что знает точно — к татарам, потому как там все бабы такие шаровары носят, как Галя; в то время как Кеша Головка, насупившись, твердил одно и то же: чучмеки везде устроятся, что вовсе не проливало свет на нынешнее место пребывания Нурбердыевых. В квартиру номер четыре, где жила семья скорняка, вселился сутуловатый человек интеллигентного вида с неожиданной фамилией Устал.

Когда новые люди вселялись в дом, Клава обязательно заходила познакомиться, а то как же. Вот и когда старый дворник съехал, сколько уж лет назад — сынишка еще в ясли хо-

дил — постучала в соседнюю квартиру, для которой так и не пригодился купленный тюль.

Мать-одиночку звали Таисией. Если по имени судить, так из простых, не то что эта верхняя или тощая Краневская, что с Москвы, а вот по разговору не понять, точно по радио выступает. Соседка оказалась ее ровесницей. Клава пригорюнилась и долго рассматривала в большом коридорном зеркале свою полнотелую фигуру, перетянутую пояском халата. А зато у меня Федя есть, — и перестала втягивать живот.

Буквально через неделю у Таисии появился муж — именно фактический муж, как объяснила Клава старухе Севастьяновой, а не хахаль; солдатик по фамилии Лазаревич. Да уж видно, что не Иванов...

Соседи приняли новых жильцов настороженно. Человек в солдатской форме таскал с собой огромный футляр с каким-то музыкальным инструментом, похожим на улитку, и всех приветствовал одинаково: «Здравия желаю!». Его миниатюрная и элегантная жена никому из женщин не понравилась именно миниатюрностью и элегантностью, а также привычкой курить во дворе и громко смеяться, откинув голову, что не мешало Мише Кравцову и Кеше присоединяться к ней. Каждый перекур Таисия начинала непринужденно и заранее улыбаясь: «Иду сегодня из министерства, вижу: мама рóдная, что на улице творится...». Что «творилось» на улице, не имело значения — важна была ее причастность к министерству. Кеша Головка набычился и намекнул, что он тоже когда-то... из министерства, причем не шел, а ехал, но вмешательство Серафимы Степановны положило конец его участию в перекурах. За ним устранился и Миша, зато вскоре возродилось былое братство двоих курильщиков,

теперь уже у подъезда. Новую соседку, с легкой Мишиной руки, стали называть *фифой министерской*, для краткости просто Фифой. Прозвище быстро прижилось.

Каждый день (или почти каждый) Клава обходила дом, охотно останавливаясь перекинуться парой слов с кем-то из жильцов. Бабка-Боцман как-то угостила ее малосольными огурчиками, и с тех пор Клава стала засаливать сама только так. Пробовала сочувствовать телеграфистке: тесно, мол, в девичьей, но та разговора не поддержала. Чучмечку Галию научила вязать двойную «косичку» и показала, как сбрасывать петли, чтобы получался ровный край. С Соней Горобец всегда было о чем покалякать и выпить чайку. Соня кивала на табуретку, в то время как сама, сидя на другой, кормила младенца. Хлопала дверь, дети вбегали, хватали кусок батона, Соня сердито топала ногой: «Жрать идите, кому сказано!», ребенок у груди вздрагивал, замирал и широко, так что становились видны белки, раскрывал глаза, а вслед за этим начинал плакать; опять хлопала дверь, и Соня безмятежно продолжала:

— С родительского комитета опять приходили. Мы, говорят, три раза покупали вашим детям форму и тапочки, а они физкультуру пропускают. А я-то что могу поделатъ, — Соня выдернула из влажного ротика сплюснутый сосок, потом снова сунула в рот, и личико трудолюбиво задвигалось, — что я могу поделатъ, когда эти тапочки на них горят — они ж целыми днями во дворе гоняют!..

Клава покладисто кивала: в самом деле горят. Чайник у Сони стоял на подставке с удивительно знакомым рисунком — Клава где-то видела такое, но вспомнить не могла, и продолжала всматриваться.

— Тут мой как раз заваливается, выпивши уже, — Соня помолчала, глядя на растерзанный батон, и продолжила: — А как он в сарай, эти ко мне: у вас что же, муж пьющий? Ну я и говорю: а кто непьющий?

— Слышь, — рассеянно прервала Клава, — а где ты достала подставку такую под чайник?

— Не признаешь? — засмеялась Соня. — Да этих плиток тут навалом, полный дом! Кто-то из мальчишек отколупнул от полу для смеха — не с нашей площадки, ты не подумай! — ну, а я под чайник приспособила. Она ж вечная!

На обратном пути Клава присмотрелась: действительно, в нескольких местах плитка на полу треснула, так что, если поддеть аккуратненько соседнюю... Не на нашей площадке, конечно, а поближе к чердаку, по крайности. Очень симпатично смотрится; что и подтвердилось в скором времени, когда вся кухня стала нарядней от керамических подставок.

Случалось, что Соня сама заходила к Клаве по соседскому делу: то мука кончилась, то луковицу попросить, а то и пятерку до полочки. Только-только начали привыкать к новым деньгам. Клава ловко выживала из-под клеенки на столе голубую бумажку:

— Раньше, по крайности, можно было с десяткой на базар сходить, а теперь? Много ты купишь на рубль?

Выходило, что совсем мало.

— При Сталине, по крайности, цены снижали. А этот только кукурузу сдидит.

О ценах при Сталине Клава не помнила, но слышала, как на крыльце говорили Кравцов с Кешей, зато кукуруза в телевизоре каждый день, а в бакалее стали хлопья кукурузные

продавать — ни тебе еда, ни ему закусь, что твои семечки, подметай не подметай, хрустят под ногами.

С библиотекаршей Мариной, Мишиной женой, даже если той случалось быть дома, говорить было не о чем, хотя Клава пробовала. «С десяткой на базар? — удивилась Марина, — новыми или старыми?» Узнав, что старыми, недоверчиво покрутила головой. Так что с ней только «здрасьте» — и все. Кроме того, Клава побаивалась: заразные. Мало что говорят: вылечились, а там иди знай.

...На следующий день после вселения нового жильца Клава громко постучала в дверь четвертой квартиры. Не то чтобы звонок не действовал, а просто Клава считала себя хозяйкой дома и потому была уверена: звонить — не хозяйское дело.

За щелью приоткрывшейся двери появился рукав махрового халата и замаячила намыленная щека. Спокойный голос спросил:

— Слушаю вас?

— Я Клава, дворница, — улыбнулась Клава, — с первого этажа...

— Не помню, — озадачился голос.

— Да я вчера-то не успела к вам подняться, — снисходительно объяснила Клава, — я ведь, по крайности, сразу прихожу.

Дверь захлопнулась, потом наполовину открылась. В проеме показался человек лет пятидесяти, в купальном халате и с полотенцем на шее. Одной рукой он держал ручку двери, другой — пояс халата; над намыленными щеками криво торчали очки. Так, очки в очки, они какое-то время смотрели друг на друга.

— Я извиняюсь. Клава я, дворница...

Человек пожал плечами:

— Да-да; спасибо. Только не помню, чтобы я вас вызывал. Дворничиха растерялась: вызывают милицию, а не дворника. Чудной какой-то. Убрала улыбку.

— Так наша квартира на первом этаже, по крайности.

— По какой?

— А?

— Моя на втором, — терпеливо пояснил Устал, — а я спрашиваю: *по какой крайности?*

Подождав ответа и не получив его, он сказал: «Прошу прощения», кивнул и захлопнул дверь. В промежутке между кивком и последним действием Клаве послышалось: «Бред какой-то».

Бред какой-то, пожаловался Георгий Николаевич зеркалу, взбивая новую пену. Так удачно все складывалось: первой и второй пары сегодня нет, семинар в двенадцать тридцать, а потом дипломники. Вагон времени. *По крайности*, влез Клавин голос.

С кем Клава не любила разговаривать, так это со старыми большевиками, и старалась как можно быстрее проскочить их площадку. Как назло, именно их встречала особенно часто — да и как иначе, если они почти все время проводили дома? К воспоминаниям о «нашем славном прошлом» прибавились рассуждения о «нашей славной молодежи» и о моральном кодексе строителей коммунизма, при котором — подумайте, Клава! — будет жить нынешнее поколение; мы в подполье и мечтать об этом не могли! Старуха поворачивалась к мужу за подтверждением. Тот кивал, стараясь не ды-

шать на дворничиху. Клава томилась, но прервать почему-то стеснялась и робела, а на все рассуждения согласно трясла кудряшками и с тоской думала, что «наша славная молодежь» сейчас крутит шашни с ремесленниками во дворе и только норовит улепетнуть на танцы, а чтобы полы помыть — так только из-под палки. Из крепкой хватки Севастьяновых Клаву спасало жалобное подвывание стареющего пса, который красноречиво переминался на площадке.

Был еще один момент, не прибавлявший Клаве любви к старым большевикам: старуха Севастьянова вела себя как хозяйка дома или, как она сама говорила, «чувствовала ответственность», по каковой причине завела речь об «общественном рейде» по квартирам. Предполагалось, что рейд будет возглавлять она сама. Клава злорадно подумала, не предложить ли старухе начать с нового жильца, но все произошло иначе.

Началось с того, что старая большевичка, столкнувшись с Фифой, вдруг торжественно поздравила ее с отдельной квартирой, присовокупив, насколько важны для нашей славной молодежи хорошие жилищные условия. Таисия расхоталась во все горло: ничего себе новая — несколько лет живем! Все равно приятно было называться «нашей славной молодежью», и она пригласила собеседницу «заглянуть к нам как-нибудь», что старуха Севастьянова и выполнила незамедлительно, в сопровождении мужа и собаки. Последней плелась Клава.

— Как уютно... — растерялась Севастьянова, оказавшись прижатой к детской кроватке, — просто замечательно. Не правда ли? — повернулась к мужу.

Если б спросила у Клавы, так ничего замечательного тут не было: старый диван, кое-как сложенная раскладушка, прикусившая алюминиевыми челюстями что-то белое, дешевый трельяж, книжная полка и стол — такой маленький, что непонятно было, как за ним могли усесться четверо.

— Это же комната как раз под нашей, — старуха начала теревить мужа, одновременно тыча рукой в потолок, и пояснила остальным: — У нас в этой комнате собака живет. Слева гостиная, а вот так — столовая... А здесь, вы знаете, раньше...

Она не договорила. Из кухни вышел мужчина в галифе и нижней рубахе, с кружкой в руке.

— Собака? Вот в этой самой комнате?

Он яростно смотрел на Севастьянову.

Клава тихонько попятилась в прихожую. И правильно сделала: старик тоже двинулся к выходу и тянул за рукав жену, их обоих тянул пес, а хозяин перешел на крик:

— При буржуях дворник жил, а при советской власти собака! Когда мы вчетвером!.. И ребенок болеет! Просто замечательно!

Продолжения Клава не слышала. Правда, не было больше разговоров об «общественном рейде» — что ни говори, а гора с плеч.

Серафиму дворничиха тоже избегала. Вначале по причине хронических двоек Виктории, ибо каждая встреча оборачивалась назиданием: «У нее ветер в голове», «Простых вещей не понимает и не хочет учить» и т. д. Когда Виктория покончила со школой, Серафима Степановна перестала интересоваться бывшей ученицей, а Клава, в свою очередь, перестала побаиваться учительницы. Отношения стали са-

мыми обыкновенными, добрососедскими. Например, Клава могла подсказать, когда в бакалее или в дальнем гастрономе что-то вкусенькое дают. Серафима Степановна благосклонно принимала эти знаки внимания, а недавно сама доверительно сообщила дворничихе:

- Сегодня захожу в «Ткани», а там такой пеньюар...
- Почему метр? — оживилась Клава.

Когда человек стареет, он становится меньше ростом. С домом такого не происходит, однако с каждым днем он чувствует себя меньше: дети выросли.

Дети росли незаметно и быстро, и вот уже шутник и остроумец Миша Кравцов превратился в «дядю Мишу», Клава стала «тетей Клавой»... «Дядя Миша, а Наташа выйдет?» — это в прошлом, Наташке пятнадцатый год, как и Клавиной дочке, как близнецам Ильке и Лильке. Конечно, она выйдет, только девочки не будут прыгать через скакалку, а худой и длинный, как стручок, Илька великодушно подарил свой самокат на подшипниках малышне из шестой квартиры.

У дома своя точка отсчета: при дядюшке Яне — и после него. Каменную стенку, отделяющую двор от пустыря, построили при нем. Примерно тогда же, в конце пятидесятых, снесли во дворе старые сараи и поставили новые. Двое — или трое? — новых детишек появились в шестой квартире, да старшая дочка вышла замуж и сразу же родила девочку... Или сначала родила, а потом замуж вышла? Там все происходит так громко, что не сразу поймешь, в какой последовательности. Леонтий Горобец свалился с крыши сарая и сломал палку — это случилось в последнее лето эпохи дядюшки Яна.

Появлением Фифы, матери-одиночки, началась новая эпоха: она внедрилась прямо в квартиру дворника. Почему, кстати, «мать», удивлялся дом, ведь у нее нет детей, только муж в солдатской форме?

Так, чего доброго, и меня назовут одиночкой, вставила, высунувшись из номера, единица с потускневшей позолотой. Только если разобьется наше счастье, шепнула двойка и мазнула лебединым хвостиком единицу по носу, ведь мы всю жизнь вместе — и ни единой трещинки! А сколько раз нам ставили рогатки... я хочу сказать — целились из рогатки...

Заладили свое, проскрипела доска, иронически переглянувшись с зеркалом; и вернулась к разговору о Фифе. Все у нее как-то навыворот, сами посудите: сначала появился маленький ребенок, а потом большой. Помните, откуда-то взялась девочка и катала коляску с братиком?

Поудивлялись и привыкли; время летит все быстрее. Особенно заметно по девочкам. Косички становятся длиннее, зато платья короче, но не потому, что девочки из них вырастают, а — мода такая. И что интересно: когда девочки становятся совсем большими, они отрезают косы, вот как Лариска, Робертина подруга, или две старшие барышни из шестой квартиры.

Теперь их надо называть девушками: «барышни» — так больше не говорят, поправила грамотейка-доска. Черная лестница горячо поддержала: конечно, не говорят, вон у молодежи спросите. А не верите — радио послушайте: *девчата да девчонки*. Слышите?

А у нас во дворе
Есть девчонка одна —
Среди шумных подруг...

Парадная дверь колебалась, легонько поскрипывая на сквозняке, и наконец дом с протяжным вздохом согласился: верно, верно, не всякую девушку барышней назовешь...

Дети растут, и растет башня — знаменитая Соборная башня. В газетах — еще при дядюшке Яне — писали, что для реставрации башни в Город съехались лучшие специалисты-архитекторы из Москвы, Ленинграда и братских союзных республик; настоящий Вавилон!.. *«Не дрогнула рука немецко-фашистского захватчика, пославшего роковой снаряд...»* — читал дворник, удивленно крутя головой: он помнил другие газеты, которые негодовали оттого, что не дрогнула рука жидобольшевиков. Потом Ян уехал. А башня продолжала расти — медленно-медленно, и дом нетерпеливо привставал на цыпочки, стараясь рассмотреть, на сколько она выросла. Дом чувствовал свою причастность и немножко тщеславился тем, что во второй квартире живет архитектор Краневская Л. П. — о ней тоже писали в газетах. Как жаль, что не слышно больше гитары ее сына! Антон окончил университет и уехал, вскоре после дядюшки Яна.

Башню начали строить при нем, а потоп случился, когда его уже не было. Не всемирный, конечно, но по мощности вполне сравнимый, потому что залило угольный погреб, да так, что ступеньки, ведущие вниз, полностью скрылись под водой, как захлебнулись. Чаще всех спускался туда Кеша Головки. Он же и предупредил Клаву: интересно, мол, девки пляшут — мокро в подвале. Клава раскричалась: сами натащили туда снегу да грязи, а теперь я должна ишачить в потемках?!

— Так ведь текет!

— А на это управдом есть, — отрезала дворничиха.

Что и подтвердилось через несколько дней, когда трубу прорвало по-настоящему и дом ощутил себя почти ковчегом. На палубе суетились пожарные в неуклюжих костюмах, однорукий Шевчук и Кеша — инициативный доброволец, не успевший, из-за Клавиной беззаботности, вовремя изъять свою заначку, и сейчас с тоской наблюдавший, как насос откачивает черную угольную воду, и вместе с ней его трудовые денежки вылетают в трубу, в самом буквальном смысле слова.

Кончился потоп; башня продолжала расти.

Роберта вышла замуж за сотрудника-инженера. В девичью никого не вселили, да теперь и едва ли вселят: молодая семья. Зять уважительно относится к Леонелле, пожилой артистке со следами былой красоты, но мечтает о размене квартиры.

У Севастьяновых, старых большевиков, умерла собака. В остальном время их щадит: то ли большевики действительно люди особой закалки, то ли водка помогает. В дни годовщины Октября за ними присылают машину и везут на торжественное собрание, где все говорят о нашем славном прошлом; возвращаются с холодными горшками альпийских фиалок.

С появлением новой телефонной книги чаще других стали раздаваться звонки в квартире номер четыре. Георгий Николаевич снимал трубку:

— Слушаю.

— Устал? — спрашивала трубка.

— Да.

— Ну, иди отдохни, — советовали со смехом.

Отдохнешь тут... Примиряло только то, что он не был одинок — завкафедрой научного атеизма Голодный страдал еще больше и малодушно выключал телефон — хотя бы на время ужина. Иногда Георгию Николаевичу казалось, что он слышит голоса своих студентов. Чаще других звонила девушка — он узнавал ее по смущенной паузе на слове «отдохни», словно ей было неловко употреблять единственное число. Разговор никогда не имел продолжения, но Георгий Николаевич как-то поздоровался с Вежливой Барышней, как он ее про себя называл, и звонки на какое-то время прекратились.

На четвертый этаж, где жил заведующий комиссионкой Дергун, въехала семья не то сварщика, не то электрика; оказалось — электросварщика, с двумя детьми и китайской болонкой.

Федя, Клавин муж, по-прежнему терпеливо стоял в квартирной очереди на железной дороге. Сын только-только поступил в ремесленное; красotka Виктория вышла замуж, а через год развелась и вернулась обратно, уже с ребеночком. Дворничиха жаловалась Соне:

— У их на железной дороге только паровозы двигаются, а очередь — ни-ни. А мне, выходит, по крайности, между детьми и внуками не продохнуть.

Сонины квартирные планы так и не осуществились: она не дотянула до почетного звания матери-героини, зато дочери исправно рожали и охотно подбрасывали ей своих малышей.

Соборная башня продолжала расти, но газетам стало не до нее — газеты наперегонки клеймили агрессию израильских милитаристов, и по радио часто звучала патриотическая песня «Летят перелетные птицы».

— Жидовня проклятая, — цедил сквозь немногочисленные зубы Леонтий Горобец, адресуясь не то к бабке-Боцману, несущей к помойке мусорное ведро, не то к создателям песни, — жидовня, вашу мать...

Серафима Степановна и Клава с одобрением наблюдали, как старая большевичка приклеивает на стенку объявление: «ОСУДИМ ИЗРАИЛЬСКИХ АГРЕССОРОВ». Осудить предлагалось в помещении домоуправления в 19.00, вход свободный. Бумажка никак не хотела держаться на кафельной стенке. От стараний с головы Севастьяновой два раза сползала круглая гребенка.

— Деньги за вход берите, — предложил Миша Кравцов, возвращавшийся с работы, и неожиданно сорвался: — Не позорьтесь вы, в самом деле; снимите свою афишу!

От неожиданности дрогнула рука, и бумажка повисла на одном уголке; обернувшись, старуха Севастьянова вновь обрела величественный вид:

— Вы что же, не понимаете, какой удар по мировому обществу наносит...

— Какой удар? — прервал Кравцов, — какой удар? Пятьдесят тыщ евреев гоняют триста тыщ арабов! Не лезьте вы в это...

Клава с путливым любопытством смотрела, как старая большевичка бросилась за Мишей, громко и торжественно перечисляя заслуги тех, кто делал революцию, а сейчас...

— Ну и кто вас просил? — с досадой бросил Кравцов и пошел вверх не оглядываясь.

Башня росла — медленно, очень медленно. Каждое утро дом просыпался и первым делом проверял: выросла? Это казалось очень важным, ведь раньше, когда башня еще не

была разрушена, они все, поименно названные белой краской на черной доске, жили здесь. Один выстрел убил господина антиквара, но не мог погубить самую высокую башню Европы, нет! В то же время пуля, поразившая старого лекционера, попала в тот день и в башню — а значит, ранила Город. Потом, с каждым ушедшим человеком, появлялась крохотная трещина в башне, пока вся она не вспыхнула смертельным огнем, следом за нею — Город... Сколько лет пришлось ему залечивать раны и лечить ожоги?

Так, может быть, теперь, когда башня воскресает из руин, — может быть, теперь они начнут возвращаться? Они вернутся?..

* * *

Экая странная штука — время! И как славно, что стрелка часов движется по кругу, у которого нет ни начала ни конца, отчего создается иллюзия, что и время бесконечно, как будто не отмерен каждому, будь то человек, дом или ветка сирени, свой век. Песочные часы делают время наглядным: вначале песчинки никуда не спешат и скупно, как отсыревшая соль, просачиваются сквозь тоненькую — не продохнуть — перетянутую талию. К середине жизни, когда кажется, что достигнут некий баланс, можно расслабиться и отдохнуть, обнаруживаешь вдруг, что окружность циферблата по-прежнему дразнит бесконечностью, в то время как минуты, часы и целые годы стремительно валятся вниз, словно тоненькая талия раздалась под могучим напором. Жуткая символика — остающееся наверху пространство и растущий внизу холмик песка — не дает

забыть о времени, неотвратимо несущемся в бездонную воронку пустоты.

Совсем недавно вроде бушевали беспокойные шестидесятые, со всеми этими, понимаете ли, бути-вуги, и даже самые положительные учащиеся прямо в помещении школы шушукались о сексе, по поводу чего Серафима Степановна возмущенно клокотала в учительской, что, слава богу, двадцать два года замужем, а ни о каком таком сексе не слыхала, под согласные кивки одних и сердобольные взгляды других коллег. Совсем недавно Клава ей очередь занимала в магазине за лавсаном, синим в крапинку, который Серафима Степановна тут же отдала в ателье индпошива; а теперь про лавсан все забыли — им кримплен подавай, тридцать рублей метр, да поди достань. Вот чем плохи были чулки со швом? Аккуратно и строго, шов сидел, как нарисованный, так нет: какие-то колготки придумали, а размеров нормальных промышленность не выпускает. Вдобавок чулки теперь не везде и купишь.

Чулки, может, и не купишь, весело думал Кеша, зато в гараже новый «жигуленок». Он закуривает сигарету с фильтром и спускается вниз, мурлыча себе под нос: *«Шагане ты мое, Шагане...»*. Какой бы смысл Кеша ни вкладывал в эти слова, ясно одно — девки свое отплясали, а Серафима может себе дуться сколько угодно: чтобы «Волгу» купить, надо подкалымить. Главное — не зарываться и вид иметь солидный: свежая рубашка, приличная куртка — мол, окажу любезность, могу подбросить по пути. Много кто левачит — жить-то надо: у кого семья, у кого... *Шагане ты мое, Шагане...* Вот как вчера подхватил одного: интеллигент, в берете, сум-

ка на плече висит. Хотя немолодой, а по виду здоровый, прямо качок. Сначала, говорит, в Лесопарк, там подождете. Ну, приехали. Ограда, сад, а в глубине дом шикарный, никакой дачи не надо. Тут как раз их обошла черная «Волга» и остановилась прямо у калитки. Шофер выскочил расторопно и открыл дверцу, как поступал в свое время Кеша, когда работал известно где. Пассажир не двигался и внимательно смотрел, как из черной «Волги» выходит хозяин. Вот оно что. Кеша тайком посмотрел в зеркальце. Жалко мужика. Хотел пу-стить пыль в глаза: сам-то пожилой, а баба молодая, небось; динамо ему крутила. А тут муж...

— Шеф, куда теперь?

Бергман сказал.

— Курить можно у вас?

Шофер кивнул, закурил сам и начал рассказывать что-то — судя по интонации, веселое, но Бергман не слушал.

Итак, в Кайзервальде он побывал (до сих пор не привык называть его Лесопарком), и побывал неудачно. Первого и единственного взгляда хватило, чтобы понять: такому человеку ничего не объяснишь. Не из-за казенной «Волги», не из-за сановитости облика и не от того, с какой предупредительностью распахнулась перед ним дверь, когда он подошел к крыльцу, но от равнодушной уверенности, которой веяло от всего облика хозяина, Макс не вышел из машины и не позвонил, как репетировал в мыслях много раз, а поехал дальше. такому оскорбительна мысль, что кто-то осмелился здесь жить раньше, и он попросту вызовет милицию.

С гладкого асфальта свернули на короткую песчаную улицу. Он расплатился и вышел.

— Шеф, — шофер высунулся в окно, — может, подождать?

Нет, ждать не надо. Этот путь он должен пройти пешком — один. Бывший Макс здесь не был — Макс нынешний не мог не сделать этого. Лучше поздно, чем никогда.

Он был на Старом кладбище только один раз, когда хоронили деда. Толстая кирпичная стена лучше всего сохранилась со стороны узкой Еврейской улицы, такой крутой, словно она не спускалась, а падала к Московской, и только плотно уложенные булыжники, казалось, удерживали ее на месте. С другой стороны мягко катился по асфальту троллейбус. Кирпичная кладка стен была почти полностью разрушена, упрямые остатки торчали, как редкие зубы в стариковском рту. Сколько лет этим деревьям? Ребятишки бегали среди обломков, собирали каштаны и кидали друг в друга. На плоском замшелом камне курили двое небритых мужчин, у ног стояла бутылка с зеленой наклейкой. Студенты в синей форме выбегали из высокого здания напротив; над входом висело красное полотнище: «МИРУ — МИР».

Бергман не заметил, как институт остался позади — теперь он медленно шел по главной улице бывшего гетто. Вправо и влево отходили, как ветки от ствола, улицы и улочки, тесно застроенные домами и домишками, как комнаты бывают заставлены лишней мебелью: вдруг пригодится. Каменных домов было очень мало — в основном деревянные, многим из которых даже древнеримская роскошь водопровода была не доступна, судя по колонкам во дворе. Девочка лет четырнадцати как раз набрала воду и сейчас шла с ведром, поминутно оглядываясь на пожилого дядьку с фирменной сумкой и расплескивая воду. В любом из этих домишек мог жить я. Вот здесь, на главной улице, строили

колонны. Людей выгоняли из жилищ и организованно отправляли кого на смерть, кого на работу, тоже ведущую к смерти, а отнюдь не к освобождению. В четырехэтажном каменном доме на углу до войны находился родильный дом. Попав в гетто, он сделался еврейской больницей; вы могли работать здесь, доктор Бергман. Услужливое воображение подсунуло ему белый халат со звездой, похожей на прилипший яичный желток. Откуда, кстати, они брались, эти звезды, юденрат выдавал или люди сами должны были их вырезать и нашивать на одежду?.. Из гастронома напротив вышел лысоватый мужчина в очках, с «дипломатом» в одной руке и бутылкой кефира в другой; остановился, прислонил «дипломат» к стене, открыл его и уместил бутылку внутрь; закрыл. Вот они живут, хлопают оконными рамами, набирают воду из колонки, покупают кефир, ждут на остановке троллейбус, но кто помнит, что здесь стояли в два ряда столбы с колючей проволокой? Натан, война когда-нибудь нас отпустит? Меня — отпустила, прищурился Натан, склонив овечий профиль; вас — никогда. Хорошо тем, кого не мучит собственная вина, кому позволено не помнить — или не знать совсем — о колючей проволоке и мерзнущих людях на мостовой, тем более что нет ни проволоки, ни мостовой — она давно укатана гладким асфальтом, и теперь можно просто жить, как живут эти люди и как жил бы ты сам, если бы хватило духу войти в свой дом, куда как раз направляется человек с «дипломатом». Макс положил сумку на скамейку, где они когда-то сидели с Зильбером, и вытащил сигареты. Пустырь по диагонали пересекала заасфальтированная дорожка. На торце дома, когда-то обезображенном черным ожогом бомбежки, красовался огромный плакат с изобра-

жением улыбающейся пары и призывом: «ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ!».

Занавески на окнах Леонеллы были плотно задернуты. Кошки, которая сидела на окне зильберовской гостиной, сегодня не было, как не было и занавесок.

Бергман встал, подхватил сумку на плечо. Скорбный путь он прошел налегке, как прошел бы турист, если бы нашелся экскурсовод. И все же хорошо, что это сделано; лучше поздно, чем никогда, повторял он, а впереди было только «никогда», завтра он уезжает. Осталось проститься с родителями, но это другое кладбище.

Макс не удивился, увидев около дома знакомые «Жигули» и шофера, который его привез. Шофер тоже не очень удивился:

— Едем, шеф?

Уехал доктор Бергман, давно в доме не живший, разве что белой фамилией на черной доске. Уехал, увозя в сумке через плечо старого игрушечного медвежонка, закутанного в шерстяной носок, обернутую в газету «ПРАВДА» Библию с мрачными картинками, в которой были вложены фотография беззаботной пары на фоне горы и пальмы и его собственное письмо Шульцу со штампом поперек конверта: «АДРЕСАТ УМЕР», а также старинный нож для разрезания бумаг со странными знаками на рукоятке — не то узор, не то каракули. Простой карандаш с затейливым названием лег на дно кармашка.

Уехали Штейны, давно, оказывается, жившие в доме. Уехали, увозя по два чемодана на каждого члена семьи, как разрешил всесильный ОВИР, и трудно было узнать бабуку-

Боцмана в сухонькой старушке, наряженной в норковую шубу, тем более что такая же норковая шапка прихлопнула воинственно торчашую проволоку волос, а басистого ее голоса дом не слышал — если она с кем-то прощалась, то уж не с Леонтием Горобцом, которому случилось встретить последнее шествие Штейнов по лестнице. Увы, кошки с ними не было — и не потому, что кошке с таким именем нечего делать в пункте назначения, а просто кошка завершила один свой жизненный путь и начала новый — как, собственно, и ее хозяева.

Горобец опять курит на балконе четвертого этажа. Теперь он называет «проклятой жидовней» своих соседей по лестничной клетке, тихих Шлоссбергов. Те делают вид, что не слышат, но ищут обмен.

Долго ли пустовала квартира Штейнов, кого и когда вселили в нее, дом не заметил, поскольку мало-помалу утрачивал интерес к живущим сейчас и все чаще вспоминал тех, кто обитал здесь прежде, — точь-в-точь, как происходит со стариками, устающими от мелькания новых лиц, экстравагантных мод, чужих словечек, и хочется вернуться в самое безопасное, что тебе принадлежит: прошлое. Дом погружался в приятную дрему, из которой его не могли вывести ни сквозняки, ни разбитое балконное стекло где-то наверху, ни хлопающая дверь шестой квартиры. Правда, когда новый жилец — кто он, электросварщик? — с четвертого этажа разбудил Клаву среди ночи, а управдома утром оттого, что протекли потолки в двух комнатах — у меня дети, соображаете вы или нет? — да, в тот день дом очнулся от дремы. Странно, действительно: ведь квартира этажом выше была необитаемой, потому что красавец-капитан не

появлялся несколько лет. Когда отперли его дверь, Шевчук только за голову схватился: потолок в центральной комнате просел, как старая корзина, не способная более вместить ни осенние ливни, ни таинственные озера чердака, который открыли вслед за капитановой квартирой. Снова управдом хватался за голову единственной рукой, беспомощно взвывая: «Шо ж ты со мной делаешь...», а Клава, которой этот вопль был адресован, с готовностью зачастила, что она не дура — горбатиться за пиисят рэ да за пьяными лужи подтирать; скажи спасибо, что мой муж дрова обеспечил на весь дом, пиленые-колоные, а мне что, больше всех надо?.. Жена сварщика охотно делилась подробностями: смотрю, вроде капает, ну, я вытерла, а потом, смотрю, опять... Однако все голоса заглушались Клавиными возмущенными криками про пиисят рэ, больше всех надо и пиленые-колоные — такими возмущенными, что с головы сполз платок, явив миру бигуди, круглые, как овечки.

С того дня по лестнице часто ходили люди в перемазанной одежде и с длинными лестницами, зазвучало непонятное слово *капрмонт*, а про чердак стали говорить нехорошее, и мало кто из женщин отваживался развешивать там белье.

Грустно, грустно: чердак лучше всех помнит веселого, обаятельного трубочиста Каспара — не было кухарки, которая не испробовала на нем загадочный женский взгляд: вниз — в угол — на «предмет», как не было ни одного лакового блюда, не испробованного трубочистом. Вот его любимое чердачное окно, где он сидел в полдень с толстой фаянсовой кружкой, осторожно придерживая тарелку с дымящимся чем-то; ах, Каспар, Каспарчик... Давно нет куха-

рок, но вздыхает вся черная лестница, хоть не с кем поделиться вздохами, ибо ход на черную лестницу давно заперт и забит досками для надежности, потому как никаких рук не хватит убирать, как утверждает Клава. Теперь все ходят только по парадной, но Клава не намерена за всеми убирать, зато жалуется Соне, что, когда по черной ходили, легче было с уборкой.

Миша Кравцов перенес инфаркт, но не тяжелый; однако курить бросил.

Время от времени в квартире Георгия Николаевича звонит телефон, и это не только деловые звонки, но и традиционные хулиганские, хотя Устал не обижается и ничего не предпринимает.

На тротуаре перед домом изредка появляются нарисованные мелом «классики», но девочки — чьи-то дочки и внучки — быстро теряют к ним интерес. Дети собираются у крыльца, обмениваются жвачками и подолгу крутят в руках разноцветный кубик какого-то Рубика, но дом Рубика не знает — должно быть, он живет в другом доме.

Больше ничего не меняется. Существительные на «мя» по-прежнему склоняются с таинственным наращением, водка подорожала, но в квартире старых большевиков все так же опрокидываются и катаются по полу пустые бутылки. Правда, это больше никого не беспокоит, ведь Фифа со взрослым сыном давно переехала в какой-то новый район, но задолго до этого радостного события похоронила мужа, а еще раньше исчезла ее хмурая дочка, но когда именно это случилось, дом не запомнил. В маленькой квартирке дворника (вернее, Фифы) теперь живет человек средних лет, чей-то разведенный муж, а более ничего о нем не известно.

За Леонеллу дом спокоен: она никуда не уедет. После больницы ей больше не надо ходить на работу, да и вообще никуда: лифта как не было, так и нет, а ноги Леонеллу не слушаются. Каждый день приходит пожилая синеглазая медсестра, которую Леонелла упорно называет Лаймой, делает ей сосудорасширяющий укол, необходимые процедуры, затем пересаживает в кресло, придвигает его к открытому балкону и уверяет Роберту, что есть надежда, есть — инсульт инсульту рознь.

Соборная башня наконец построена. На верхушке уселся золотой петушок, дерзко сверкающий в закатных лучах солнца. Дом горд, что кусочек тени от башни падает и на него... по крайней мере, ему так хочется думать. Башня построена, но Лидия Павловна Краневская не уезжает — предостоят еще долгие реставрационные работы внутри собора. Когда же отделку закончили, имя Краневской Л. П. было вычеркнуто из списка награждаемых чьей-то властной рукой, и обладатель руки заявил во всеуслышание, что собор и башня есть наше собственное национальное достояние и хватит нам, дескать, оглядываться на Кремль — не те времена.

Времена наступили совсем другие. Строители башни не рассеялись по всей земле, как тогда, в древней легенде, да и башня стоит прочно, зато союз нерушимый республик свободных зашатался и стал разваливаться. Все это называлось не очень понятными словами *национальное возрождение* и украсилось знакомыми красно-бело-красными флагами.

Ранним осенним полднем симметричного 1991 года к дому подъехала машина. Высадив двоих пассажиров, машина

не уехала, а осталась ждать, и водитель достал из «бардачка» роман модного писателя Пикуля.

Пассажиры, двое мужчин, стояли на тротуаре, негромко переговариваясь. Один из них, гладко выбритый и моложавый, с живым улыбчивым лицом, в расстегнутой куртке на клетчатой подкладке, с любопытством оглядывался по сторонам. Старший, на вид лет семидесяти, лысый, очень худой и загорелый, отчего на костистом лице особенно ярко белела маленькая борода и усы, сунул руки в карманы длинного светлого пальто и негромко произнес:

— Асфальт; странно. Здесь была брусчатка.

— Как в Старом Городе? — отозвался младший. — Я же говорю, похоже на Вену. Этот дом, отец?

— Да. Пусть они договорят, не будем мешать.

Старик внимательно вглядывался в дом. Глаз произвольно соскальзывал на пустое пространство рядом, где — он помнил — стояло унылое желтое здание. Снесли?..

У крыльца дома № 21 беседовали две пожилые женщины. Одна, толстенькая, маленького роста, в тесном пальто и вязаной шапке, из-под которой торчали серые завитки, с интересом смотрела сквозь круглые очки на собеседницу, высокую и худую, в ватнике и теплом платке, которая говорила простуженным голосом:

— Она мне: «Шура, не вижу порядка!». Я и смотрю — курт, прамо на окне.

И торжественно замолчала.

— А ты? — не выдержала толстенькая.

— А я и говорю: убероте!..

Дом, в свою очередь, устался пыльными окнами на приехавших, и легкое дуновение — как вздох — пролетело

по коридору: господин Мартин! Господин Мартин приехал, с каким-то стариком...

Между тем старик, который был не кем иным, как господином Мартином Баумейстером, продолжал рассматривать дом. Кто из нас старик, ты или я? Широкое крыльцо расколото поперек. В трещине видны следы цемента, ничего не сумевшего сцементировать, и жесткие пучки пожелтевшей травы. В двери сохранилось только одно стекло — на месте второго была вставлена корявая фанера. Звонок не действовал, да и необходимости в нем не было: дверь распахнулась легко, как тумбочка в дешевой гостинице.

Он остановился у мутного зеркала и чуть наклонил голову, словно в приветственном кивке. Повернулся к доске, и, пока глаза скользили по фамилиям, в памяти легко всплывали лица старых жильцов: *Нейде — Шихов — Гортмынский — Ганич — Бергман — Стейнхернгляссер — Зильбер — Буртс — Эгле — Строд.*

— Я извиняюсь, — вклинился из-за спины женский голос.

Господин Мартин обернулся. Сын подошел ближе, и оба вопросительно смотрели на женщину в вязаной шапке.

— Я извиняюсь, — повторила она, — вы, по крайности, к кому будете?

— Добрый день, — старик наклонил голову, молодой кивнул и улыбнулся. — Я хотел бы видеть Яна, дворника.

— А его нету давно, — был ответ.

— То есть как — «нету»? — опешил старик.

— Уехавши он. А я Клава, дворница; вы к кому же будете?

Конечно; старик давно на пенсии. Если мне восемьдесят пять, то ему... хорошо, если жив.

— Куда? — не удержался от вопроса, — адрес он вам оставил?

— Мне евоный адрес без надобности, — с достоинством ответила Клава, — знаю, по крайности, что в деревню он уехавши, к сыну. А я дворница.

Старик больше не слушал. Он легко прошел мимо Клавы, ступая так, чтобы не споткнуться на полу с выщербленной мозаикой, и толкнул дверь во двор. Каштан, некогда молодой, вымахал в высокое дерево, достающее ветками — он поднял голову — до третьего этажа. Интересно, остался кто-нибудь из прежних жильцов?

— Папа, ты устал. Вернемся в гостиницу.

— Взгляни, — вместо ответа старик взял сына за локоть, — вон справа, на втором этаже — видишь? Мои окна, кухня и девичья. А кабинет и гостиная со столовой выходят на улицу.

Помолчал и кивнул:

— Ты прав, Крис. На сегодня хватит.

Хватит, конечно. Только два дня назад они спустились с самолетного трапа (то, что Swissair совершает рейсы в его родной город, только подстегнуло желание поехать), а вчера он показал сыну дом, где жил его дед, отец Мартина.

В Кайзервальде (он давно называется Лесопарком) было очень тихо и малоллюдно. Когда съехали с асфальта и под колесами такси зашелестел гравий, Мартин на миг прикрыл глаза: сейчас. Сейчас покажется дом.

— Какой изысканный *Stadtbezirk*, — одобрительно заметил Кристофер. — Как это сказать?

— Район; раньше говорили — предместье.

— Я бы с удовольствием жил на этой вилле, — продолжал сын, — прекрасный стиль!

Старик кивнул шоферу. Машина остановилась.

— На этой вилле, — ответил Мартин, захлопнув дверцу, — жил твой дед. Здесь прошло мое детство.

Нет, голос не дрогнул — сел. Он прокашлялся и толкнул калитку.

Можно много лет — полвека — знать, что в родном доме живут чужие люди, и пытаться представить себе их лица, голоса и привычки, но всякий раз, закрывая глаза, все равноходишь в гостиную, где за белым роялем сидит крестный, в кресле отец вкусно затягивается сигарой, а крестная хлопочет над кофейником. Уже уплывая в сон, ты пробегаешь отцовский кабинет, где на стене висит портрет матери — ее настоящий облик почти стерся из памяти, и кажется, она всегда была только такой, как на этом портрете, хотя ты помнишь мягкий синий бархат платья, — спешешь по лестнице вверх, чтобы успеть нырнуть на чердак, где в груди смешного хлама непременно отыщется что-то интересное. То же самое повторилось сегодня, словно Ян, с его профессорской осанкой, должен был встретить его на крыльце, а за ним поспешила бы хлопотунья тетушка Лайма, как пятьдесят лет назад, когда ни в одном сне не мог бы привидеться кошмар с бельмастой парадной дверью и выщербленным полом, это что же надо было с ним делать...

Мартин сразу понял, что в особняке кто-то жил, но сейчас не живет никто: в доме был особый стылый, нежилой воздух. Кем бы ни был этот «кто-то», он облегчил Мартину возвращение, хотя бы и ценой пропавшего рояля, вместе с кожаными креслами.

— Какая сирень здесь... была, — сказал он, распахнув обе двери в сад. — Обрежь мне сигару, Крис.

— Папа, тебе не нужно курить.

— Поэтому я и прошу сигару. У шофера такие вонючие сигареты, что необходимо противоядие.

Он показал темноватое пятно на паркете:

— Там стоял рояль.

— Разве ты играешь?

— Нет; моя мать, я помню, любила играть. И крестный.

Помолчал и добавил:

— Элга чудесно музицировала.

Крис не помнил матери, но часто, особенно в детстве, просил рассказать о ней. Элги не стало так быстро, что Мартин не успел привыкнуть к ее новой роли и продолжал называть по имени, что сын и перенял.

От сигары закружилась голова. Не следовало курить, конечно; мальчик прав. На чердак, пожалуй, не хватит сил. Завтра; время есть.

По дороге в гостиницу он рассматривал город. Обилие разномастных киосков и мелких лавочек не удивляло, их и прежде было много; удивили скудость и однообразие товаров. Поменялись вывески, как и должны были поменяться за пятьдесят один год. Однако сильнее всего поразили человеческие лица — замкнутые, настороженные, зачастую откровенно враждебные, а также жалкий — и в то же время вызывающий — вид молоденьких проституток в гостинице. Он поймал себя на том, что избегает говорить с Кристофером по-немецки, и сын понял, не задавая вопросов. Но Боже, каким линиялым и обшарпанным предстал Город! Он походил бы на дешевую выгоревшую открытку, если

бы не яркие заграничные рекламы, которые в Швейцарии Мартин не замечал вовсе, в то время как здесь они резали глаз. *Не латайте ветхую одежду новой тканью...* Нет, не в этом источник раздражения, а просто разум отказывается принимать перемены. То же самое произошло в отцовском особняке, затем на Палисадной: хотелось застать, вопреки беспощадной логике времени, все как было: аромат отцовской сигары, фортепьянный аккорд, лицо Яна в окне при-вратницкой.

Зачем он приехал? Недвижимость была только поводом, безусловно понятным для немногочисленных друзей и родных, в том числе для сына. Зачем ему эти дома? Средств вполне достаточно, а в восемьдесят пять о смерти думаешь часто и без паники. С открытой ладонью покидаешь этот мир или со сжатыми кулаками, ты ничего с собой не уносишь. Сыну? Крис неплохо обеспечен. Даже ему Мартин не сумел объяснить истинную причину, хотя всякий раз, когда читал маленькому сыну книгу о мальчике Кристофере Робине, вспоминал, как он сам был в молодости хозяином дома, как заселил его симпатичными обитателями. Где эти люди?.. Все меняется: на той улице была бульжная мостовая, и Мартин помнил звук лошадиных копыт. Недвижимость... Два дома, если учесть, во что обойдутся услуги адвоката, не говоря о ремонте, не стоили того, чтобы лететь сюда, отрывать Кристофера от семьи и от бизнеса, однако сын — он видел — заразился его собственной тягой. Или боялся отпустить его одного? Сейчас Мартин опасался, что сын будет разочарован. Национальное возрождение... Первое, что он увидел, выйдя из самолета, — яркий плакат с грубой орфографической ошибкой. По всей вероятности, борьба за го-

сударственный язык не распространяется на территорию аэропорта... Возрождение национальной независимости пока что, на его скептический швейцарский взгляд, напоминало бессмысленное кипение, как похлебка из камней, которую мать поставила на огонь, уверяя голодных детей, что варится мясо; он нашел когда-то эту легенду там же, на любимом чердаке, в старом забытом альманахе. Когда эти голодные дети перестанут — или устанут — петь хором, они поймут, что камни никогда не превратятся в мясо. Впрочем, надо прожить здесь больше чем три дня, чтобы взглянуть пристальнее.

В сущности, он давно знал о массовых расстрелах и высылке в Сибирь, о национализации собственности. Знал, что отец никак не мог уцелеть, знал и был готов к этому. Сколько раз он перечитывал записку, которую хранил в конверте из плотной кальки! Однако прошлой ночью проснулся внезапно, словно кто-то властно постучал в дверь, хотя все было тихо, и протянул руку к лампе.

*«Ни в коем случае не возвращайся.
Меня задерживают объективные обстоятельства.
Все полномочия у господина Реммлера.
Обнимаю, всегда тобой,
Отец».*

Конечно, это никакая не ошибка, не пропущенный в спешке предлог — отец сказал то, что хотел сказать: «живу тобой», ибо для него не было никого дороже сына. Как сейчас у него, Мартина, нет никого дороже его сына. Понадобилось полвека, чтобы суметь прочитать слова любви — или

нужно было приехать сюда, в город, где они были написаны.

Мартин встал и подошел к окну.

Город спал и не знал, что детство может длиться очень долго, а потом наступает момент, когда оно кончается, оставляя человеку, даже очень старому, только светлую печаль.

Город спал. В темноте с высоты не было видно его неряшливой обтрепанности, а просто толпились бесчисленные влажные крыши, похожие на кривые ступеньки, тянулись ровные проборы бульваров, мелькали разноцветные огоньки, и над всем возносилась башня. Башня тянулась высоко вверх, чтобы петух первым увидел солнце и возвестил рассвет.

Дом тоже спал и видел стариковские сны, в которых появлялись давно исчезнувшие лица, оставшиеся разве что в помутневших зеркалах, в одном из которых только что мелькнул веселый трубочист, черный, как осенняя ночь, только улыбка сверкнула, как через семнадцать лет засверкают монетки с его изображением — ведь трубочист приносит счастье!

Дом спал и не слышал, как звонил телефон — человек сразу снял трубку:

— Слушаю.

— Я... не разбудила вас?

Георгий Николаевич узнал голос Вежливой Барышни — и обрадовался:

— Куда же вы пропали? Вы давно не звонили, — он улыбнулся.

— И больше не позвоню, — она помолчала, — я уезжаю, рано утром. Мне хотелось попрощаться с вами и... попросить прощения за все мои глупые звонки.

В трубке стало очень тихо.

— Алло? — встревожился голос. — Вы... Почему вы молчите? Вы сердитесь?

— Нет, — человек сморгнул несколько раз, — я вовсе не сержусь. Я... плачу.

Сейчас спросит: «Почему?»

— О чем? — спросила она.

— О том, что никто не придет назад.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1	7
Часть 2	43
Часть 3	145
Часть 4	283
Часть 5	449

Литературно-художественное издание

Елена Александровна Катишонок

КОГДА УХОДИТ ЧЕЛОВЕК

роман

Редактор

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Корректор

Ирина Машковская

Подписано в печать 28.02.2011.

Формат 70x108^{1/32}. Усл. печ. л. 21,7. Бумага писчая.

Гарнитура Charter. Печать офсетная.

Тираж 3 000 экз. Заказ № 210.

«Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25

<http://books.vremya.ru>

letter@books.vremya.ru

(495) 951 55 68

Отпечатано в соответствии с качеством


предоставленного оригинал-макета

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru> e-mail: book@uralprint.ru

Елена Катишонок



когда уходит
ЧЕЛОВЕК

